

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

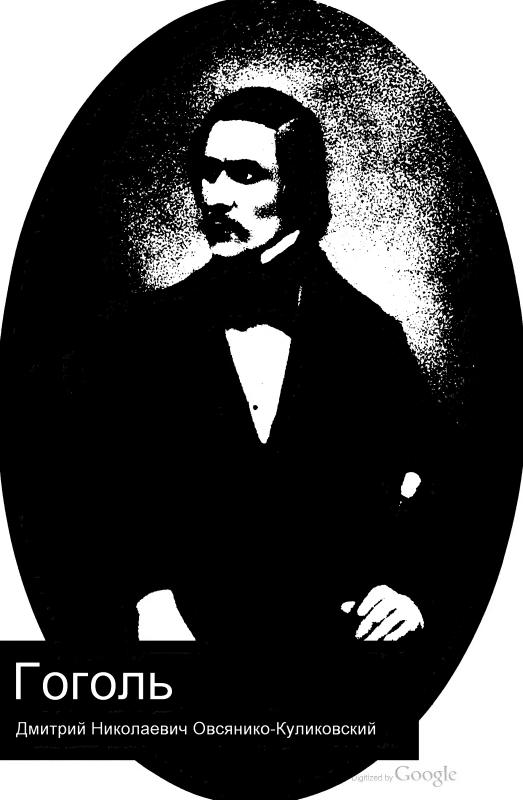
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



E GIFT OF ning B. Brown

Библіотека "СВЪТОЧА"

подъ редакціей С. А. Венгерова.

№№ 28—32

Серія "Исторія и теорія литературы" № 3.

12. II

Проф. Д. Н. Овсянико-Куликовскій.

782

гоголь.

, 2-ое дополненное изданіе.

Съ фототипическимъ портретомъ гоголя.





С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія т-ва "Общественная Польза", Б. Подъяч. № 39.

891.78 G60 096 1907 Berning Brown 8-26-94

⁶⁻⁹⁴Библіотека "СВЪТОЧА"

подъ редавціей С. А. Венгерова.

№№ 28-32

Серія "Исторія и теорія литературы" № 3.

Проф. Д. Н. Овсянию-Куликовскій.

12.11

гоголь.

2-ое дополненное изданіе.

Съ фототипическимъ портретомъ гогодя.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія т-ва "Общественная Польза", В. Подъя **1907**.

Первое изданіе этой книги (Москва, 1908) было лишь оттискомъ статей, пом'вщенныхъ въ "В'єстник Воспитанія" въ 1902—1903 гг. Нын книга выходитъ въ исправленномъ и дополненномъ вид кром поправокъ и н'вкоторыхъ добавленій въ текст, она заключаетъ въ себ вновь написанные отд'ялы—"Введеніе" и "Приложеніе"

Предлагаемый трудъ является опытомъ психологическаго діагноза извъстныхъ сторонъ натуры, ума, дарованія и генія Гоголя, именно тъхъ, въ которыхъ, какъ я думаю, наиболье ярко и полно выразилась оригинальная, сложная и загадочная личность великаго писателя.

Прилагаемый портретъ выдёленъ изъ снятой въ Риме, въ 1844 году, дагеротипной группы. Гоголь снятъ на этой группе вместе съ русскими художниками, жившими тогда въ Вечномъ городе.

ВВЕДЕНІЕ.

Біографическій очеркъ и обзоръ литературной дѣятельности Гоголя.

I.

Николай Васильевичь Гоголь-Яновскій происходиль изъ старинной украинской фамиліи. Его отецъ, Василій Аванасьевичъ (род. въ 1780 г.) женился въ 1808 г. на Маріи Ивановив Косяровской, дочери харьковского губериского почтмейстера. Ихъ первенецъ, будущій великій писатель, родился въ м. Сорочинцахъ (Полтав. губ.) 19 марта 1809 г. До десяти лъть онъ учился дома (въ деревнъ), а послъ того, въ 1819 г. его помъстили, вмъстъ съ младшимъ братомъ Иваномъ 1), у учителя Спасскаго, въ Полтавъ; братья готовились къ поступленію въ гимназію. Въ 1820 быль открыть въ Нажина лицей высшихъ наукъ, кн. Безбородко, при лицев была и гимназія, куда Гоголь и поступиль въ 1821 г. Въ 1828 г. онъ окончиль курсъ (гимназіи и высшихъ наукъ), не давшій ему сколько-нибудь серьезгыхъ знаній. Въ декабрв (того же года), запасшись рекомендаціями, онъ отправился въ Петербургъ искать службы.

¹⁾ Онъ всморъ умеръ.

мѣстомъ) и внезапно возгорѣвшаяся любовь заставили его "бѣжать отъ самого себя", и наконецъ, что во всемъ этомъ явно сказывается перстъ Провидѣнія... Неудачи, о которыхъ онъ говоритъ, едва ли могли побудить его къ бѣгству "отъ самого себя". Неудача съ "идилліей" (о чемъ онъ умалчиваетъ) также не была достаточнымъ основаніемъ для бѣгства. Что же касается любви, то, какъ это дознано, онъ просто выдумалъ ее: никакой любви не было ¹). Здѣсь впервые мы встрѣчаемся съ одною изъ тѣхъ выдумокъ, какихъ не мало находятъ въ письмахъ Гоголя...

Итакъ, онъ вдругъ бросилъ все и увхалъ. Онъ отправился моремъ и 1-го августа (1829) быль уже въ Любекъ, откуда опять пишетъ матери, приводя уже новую причину отъезда: онъ быль болень, на лице и на рукахъ обнаружилась сыпь, доктора посовътовали ему "пользоваться водами" въ Травемюнде, въ 18 верстахъ отъ Любека. Позже его пріятель А. С. Данилевскій, съ которымъ онъ жилъ въ Петербургъ въ одной квартиръ, сообщалъ, что никакой сыпи у Гоголя не было, и что онъ повхалъ тогда вовсе не лечиться, а думаль совстмъ покинуть Россію и утхать въ Америку. Тъмъ не менъе бъглецъ все-таки побывалъ въ Травемюнде, откуда черезъ три дня вернулся въ Любекъ. Изъ Любека онъ поехаль въ Гамбургъ, а оттуда направился въ обратный путь-въ Петербургъ-опять искать мъста и пробовать свои силы на литературномъ поприщъ. Всего пропутешествоваль онь три місяца. Страсть къ странствованіямъ на сей разъ была временно удовлетворена: Гоголь вернулся освёженнымъ...

¹⁾ Въ указанномъ письмъ (24 іюля 1829) онъ говоритъ: "Наконецъ... какое ужасное наказаніе! Ядовитъе и жесточе его для меня ничего не было въ міръ! Я не могу, я не въ силахъ написать... Но я видълъ ее... нътъ, не назову ея... Она слишкомъ высока для всякаго, не только для меня... Нътъ, это не любовь была... я по крайней мъръ не слыхалъ подобной любви. Въ порывъ бъщенства и ужасныхъ душевныхъ терзаній я жаждалъ, кипълъ упиться однимъ только взглядомъ..."

Хлопоты по прінсканію міста возобновились, и въ слівдующемъ, 1830 году, Гоголь поступаетъ на службу въ министерство удбловъ. Литературныя занятія идуть своимъ порядкомъ. Въ "Отеч. Зап." (Свиньина) онъ помъщаетъ первый опыть "малороссійской повъсти"—"Басаврюкъ или Вечеръ наканунъ Ивана Купала" (февр. и мартъ 1830 г.), безъ подписи. Въ альманахъ "Съверные Цвъты" онъ печатаетъ отрывки изъ исторического романа, въ "Литературной Газетв"—главу изъ повъсти "Учитель", статью "Нъсколько мыслей о преподавании дътямъ географии", статью "Женщина" (1831). Съ тъмъ вмъсть завязываются у него связи съ литературными кругами. Плетневъ знакомитъ его съ Пушкинымъ и Жуковскимъ и покровительствуетъ ему на педагогическомъ поприще (въ томъ же 1831 г. Гоголь оставляетъ службу въ министерствъ удъловъ и получаетъ мъсто преподавателя исторіи въ Патріотическомъ институть). Льтомъ 1831 года вышла въ свътъ отдъльнымъ изданіемъ І-ая часть "Вечеровъ на хуторъ близь Диканьки". Незадолго передъ твиъ знакомство Гоголя съ Пушкинымъ уже перешло въ интимныя, дружескія отношенія. Пушкинъ сразу оцениль дарованіе Гоголя и полюбиль его, какь новую надежду русской литературы, какъ ея будущую славу. Великій поэтъ не упускаль случая, гдв только можно было, помочь начинающему писателю, ободрить, поощрить самолюбиваго и заствичиваго "хохла". Онъ же, вмъств съ Жуковскимъ, въ томъ же 1831 году ввели Гоголя въ домъ А. О. Росеттъ (потомъ, по мужу Смирновой), гдъ собирался интимный кружокъ писателей и цвътъ мыслящаго общества. Извъстныя "Записки" гостепріимной хозяйки ("Записки А. О. Смирновой", изданіе редакціи "Сіверн. Вістн.", С.-Петерб. 1895), такъ долго лежавшія подъ спудомъ и обнародованныя лишь въ 90-хъ годахъ, даютъ намъ наглядное представление о беседахъ и спорахъ, какіе велись въ этомъ кружке, где первыя роли были распредълены между Пушкинымъ, Жуковскимъ, кн. Вяземскимъ, А. И. Тургеневымъ и др.

Для Гоголя это была настоящая школа. И это быль лучшій, счастливъйшій періодъ его жизни, когда развитіе его геніальнаго дарованія шло впередъ гигантскими шагами и столь же быстро росла его слава, и когда въ общеніи съ лучшими умами тогдашняго Петербурга, и прежде всего съ Пушкинымъ, онъ имълъ возможность отвлечься отъ въчнаго самоуглубленія, обогатить свою мысль новыми идеями, набраться новыхъ, освъжающихъ впечатлѣній и, наконецъ, просто пополнить пробълы своего образованія.

А. О. Росеттъ уже слышала о Гоголъ. Онъ интересовалъ ее и какъ писатель, и какъ "хохолъ". Александра Осиповна была уроженкой Малороссіи и сохранила привязанность къ своей родинъ: "Я непремънно хочу видъть этого упрямаго хохла, поговорить съ нимъ объ Украйнъ, обо всемъ, что мнъ такъ дорого. Я просила Плетнева сказать ему, что я также хохлачка..." ("Записки", ч. І, стр. 41)—пишетъ она, и вскоръ заноситъ въ дневникъ, что "наконецъ-то Сверчокъ и Бычокъ 1), мои два арзамасскіе звъря, привели ко мнъ Гоголя-Яновскаго..." (41).

Въ мартъ 1832 года выпла 2-ая часть "Вечеровъ на хуторъ". Лътомъ того же года Гоголь предпринялъ поъздку въ Малороссію. Проъздомъ въ Москвъ онъ познакомился съ Погодинымъ, С. Т. Аксаковымъ и знаменитымъ актеромъ М. С. Щепкинымъ. Съ этими лицами онъ сохранилъ дружескія связи до конца жизни. Вернувшись въ Петербургъ осенью, Гоголь принялся за обработку задуманныхъ имъ новыхъ произведеній, продолжая въ то же время свою преподавательскую дъятельность въ патріотическомъ институтъ. Онъ набрасываетъ планъ большого историческаго и географическаго труда подъ заглавіемъ: "Земля и люди" и въ то же время испытываетъ свои силы въ области комедіи. Задуманная пьеса называлась "Владиміръ 3-ей степени". Но, повидимому, Гоголь не довелъ эту работу до конца и

¹⁾ Т. е. Пушкинъ и Жуковскій.

уничтожилъ написанное. Остались отрывки, которые онъназвалъ "лоскутками истраченной пьесы", и которые потомъ, въ переработанномъ видъ, были изданы подъ заглавіями: "Тяжба", "Утро дълового человъка", "Лакейская".

Въ течение 1833-1834 г.г. Гоголь написалъ рядъ замѣчательныхъ произведеній, въ которыхъ открылись новыя стороны его дарованія. Это были: "Повъсть о томъ, какъпоссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ", "Старосвътскіе помъщики", "Тарасъ Бульба", "Вій": Въ 1835 году они вышли въ светъ въ сборнике "Миргородъ" (въ двухъ частяхъ). Этотъ сборникъ окончательноупрочиль репутацію Гоголя. Погодинь писаль (въ "Москов. Наблюдатель"), что "на горизонть русской словесности восходить новое свътило". Смирнова заносить въ свой дневникъ: "Гоголь приходилъ читать Миргородъ. Надъ Пульхеріей Ивановной плакали... ("Зап.", І, 51). Нъсколько позже (въ 1836 г.), Пушкинъ, по поводу 2-го изданія "Вечеровъ на хуторъ", писалъ въ "Современникъ": "... съ жадностью всв прочли и "Старосветскихъ помещиковъ", эту шутливую, трогательную идиллію, которая заставляеть вась смінться сквозь слезы грусти и умиленія, и "Тараса Бульбу", коего начало достойно Вальтеръ-Скотта. Гоголь идетъ еще виередъ..." Почти одновременно съ "Миргородомъ" вышли и "Арабески", сборникъ различныхъ статей Гоголя ("Скульптура, живопись и музыка", "О среднихъ въкахъ", "О преподаваніи всеобщей исторіи", "Нісколько словь о Пушкинъ", "Объ архитектуръ нынъшняго времени" и нъкоторыя другія) 1), къ которымъ авторъ присоединиль два художественныхъ произведенія огромной цінности: "Невскій проспектъ" и "Записки сумасшедшаго". Въ вышеупомянутой рецензіи Пушкинъ говорить, между прочимъ, что послѣ "Вечеровъ на хуторъ" Гоголь "непрестанно развивался и

⁴⁾ Большая часть ихъ была написана еще въ 1832 г. и напечатана въ повременныхъ изданіяхъ.

совершенствовался. Онъ издалъ "Арабески", гдѣ находится его "Невскій проспектъ",—самое полное изъ его произведеній..."

Въ 1834 году Гоголь занялъ канедру всеобщей исторіи въ петербургскомъ университетъ. Какъ извъстно, его профессорская деятельность оказалась очень неудачной. Онъ не имълъ надлежащей подготовки, и даже студенты скоро замътили, что онъ просто не знаетъ своего "предмета". Интересовался онъ, по преимуществу, средними въками и исторіей Малороссіи, и въ этихъ областяхъ успаль пріобръсть нъкоторую эрудицію. Мнъніе С. А. Венгерова, что Гоголь все-таки быль, по тому времени, профессорь не хуже многихъ, заслуживаетъ вниманія. Его вступительная лекція (1834) "О среднихъ въкахъ" (напеч. въ сент. кн. "Журн. мин. народн. просвъщ." того же года и потомъ перепечатанная въ "Арабескахъ") во всякомъ случав произведеніе не заурядное. Отзывъ Никитенки о профессорской дъятельности Гоголя, занесенный въ его "Дневникъ" подъ 21 февраля 1835 года, слишкомъ суровъ, хотя и заклюсебъ много върнаго. Здъсь же Никитенко отмічаеть извістную черту въ характерів Гоголя: его необычайное самомнвніе и горделивое самочувствіе. "Что же вышло?"—пишетъ Никитенко. — "Синица явилась Гоголь такъ дурно море -- и только. читаетъ лекціи въ университетъ, что сдълался посмъщищемъ для студентовъ. Начальство боится, чтобы они не выкинули надъ нимъ какой-нибудь шалости... Попечитель призваль его къ себъ и очень ласково объявиль ему о непріятной молвъ, распространившейся о его лекціяхъ. На минуту гордость его уступила мъсто горькому сознанію своей неопытности и безсилія. Онъ быль у меня и признался, что для университетскихъ чтеній надо больше опытности"... "Хотя, послів замівчанія попечителя, онъ должень быль перемёнить свой надменный тонъ съ ректоромъ, деканомъ и прочими членами университета, но въ кругу "своихъ" онъ все тотъ же всезнающій, глубокомысленный, геніальный Гоголь, какимъ быль до сихъ поръ..." (А. В. Никитенко, "Записки и Дневникъ", изд. 2-ое, (1904. С.-Петерб.), т. І, стр. 263—264).

Сохранились и другія-столь же неблагопріятныя-свидътельства о профессуръ Гоголя, въ томъ числъ и воспоминавія И. С. Тургенева, который быль тогда студентомъ петербургскаго университета и слушаль лекціи Гоголя. Но есть одно свидътельство и въ пользу Гоголя-профессора, относящееся къ его вступительной лекціи. Одинъ изъ его слушателей Иваницкій вспоминаеть, что Гоголь очень волновался и робълъ въ началъ этой лекціи, но "мысль, высказываемая имъ, развивалась совершенно логически и въ самыхъ блестящихъ формахъ... Не знаю, прошло ли и пять минуть, какъ уже Гоголь овладель совершенно вниманіемъ слушателей. Невозможно было спокойно следить за его мыслью, которая летела и преломлялась, какъ молнія, освъщая безпрестанно картину за картиной въ этомъ мракъ средневъковой исторіи... "Иваницкій утверждаеть, что Гоголь выучиль всю лекцію наизусть 1).

Нѣтъ сомнѣнія, что современники (въ томъ числѣ и Бѣлинскій) не оцѣнили по достоинству статей Гоголя по исторіи и по искусству. А между тѣмъ онѣ выгодно отличались отсутствіемъ школьной схоластики и самостоятельностью, а порою и глубиной мысли. Никитенко порицаетъ самый слогъ Гоголя въ этихъ статьяхъ, находя его напыщеннымъ и риторичнымъ. Онѣ дѣйствительно написаны въ приподнятомъ тонѣ, но ихъ стиль нельзя не назвать блестящимъ 2).

Заняться серьевно наукой и сдълаться хорошимъ профессоромъ помъщало Гоголю, во-первыхъ, сознаніе, что онъ сдълаль ошибку, взявшись не за свое дъло, а во-вторыхъ,

¹⁾ См. у В. И. Шенрока («Матеріалы», II, 228 и сл.) и у Н. А. Котляревскаго («Н. В. Гоголь», стр. 125—126).

э) Справедливая опънка этихъ и другихъ статей сдълана Н. А. Котляревскимъ, см. стр. 137—146 книги «Н. В. Гоголь».

внушение его художнического генія, отвлекавшаго его мысль совствить въ другую сторону. Художественная работа продолжалась почти непрерывно. Въ теченіе техъ же годовъ (1832-1836) онъ задумалъ и частью написалъ рядъ повъстей, въ числъ которыхъ мы находимъ такую первостепенную вещь, какъ "Шинель", и такое, въ своемъ родъ значительное, при всвхъ недостаткахъ, произведеніе, какъ "Портретъ" (въ первой редакціи). Кромъ этихъ вещей, онъ написалъ разсказы "Носъ" и "Коляска". Правда, повъсть "Шинель" была только задумана въ 1834 году (написана позже, въ 1839—1841 г.г.); "Портретъ" подвергся впоследствіи радикальной передёлкь. Но эти темы уже занимали его умъ, отвлекая отъ университетскихъ лекцій, къ которымъ онъ охладелъ. Кроме повестей, онъ работаетъ въ это время и надъ пьесами. Въ 1835 году написана "Женитьба" и въ этомъ же году принимается онъ за "Ревизора"--на сюжеть, сообщенный ему Пушкинымъ. Въ 1836 году (въ январъ) Гоголь уже читаетъ "Ревизора" у Жуковскаго, потомъ у Смирновой въ присутствіи великаго князя Михаила Павловича, и Смирнова уже старается, при содъйствіи Жуковскаго и Пушкина, провести пьесу на сцену черезъ дворецъ: императоръ Николай Павловичъ, благодаря стараніямъ Смирновой, заинтересовался комедіей и ея авторомъ. "Ревизоръ" очень понравился императору и онъ приказалъ, минуя цензуру, поставить пьесу.

Но перечисленными произведеніями не ограничивалась литературная д'ятельность Гоголя въ разсматриваемую эпоху: въ томъ же 1835 году онъ принимается за величайшее свое произведеніе—за "Мертвыя души", сюжетъ которыхъ также данъ былъ ему Пушкинымъ. Въ 1836 г. первыя главы уже написаны, и Гоголь читаетъ ихъ у Смирновой въ присутствіи Пушкина, Жуковскаго и др.

Такова была, можно смёло сказать, гигантская художественная работа, совершенная Гоголемъ въ первой половинъ 30-хъ годовъ. Не мудрено, что для профессорской дъятельности не оставалось ни времени, ни силъ. Въ концъ 1835 года Гоголь подаеть въ отставку. Въ письмъ къ Погодину (въ дек. 1835 г.) онъ говоритъ: «Я расплевался съ университетомъ, и черезъ мъсяцъ опять беззаботный казакъ. Неузнанный я взошелъ на каеедру и неузнанный схожу съ Это одна изъ техъ выходокъ Гоголя, которыя отзывались своего рода «хлестаковщиной». Но то, ворить онъ дальше, дышить глубокой правдой и оправдывается его геніальною работою художника: «...въ эти полтора года-годы моего безславія, потому что общее мивніе говорить, что я не за свое дело взялся, -я много оттуда и прибавилъ въ сокровищницу души. Уже не скія мысли, не ограниченный прежній кругь моихъ свёдёній, но высокія, исполненныя истины и ужасающаго величія мысли волновали меня...» Очень гордо и очень нескромно звучать эти слова, но они говорять правду, ибо для созданія такихъ вещей, какъ "Портретъ", "Шинель", "Ревизоръ" и "Мертвыя души" нужно было имъть въ запаст много глубокихъ и скорбныхъ думъ, нужно было обладать геніальною интуиціею поэта.

Постановка "Ревизора" (19 апр. 1836 г.) была въ одно и то же время и тріумфомъ Гоголя, и принесла ему великія огорченія. Лучшая часть общества придавала пьесъ значеніе крупнаго общественнаго событія. Никитенко, не долюбливавшій Гоголя, признаеть, что "Гоголь дъйствительно сдълаль важное дъло. Впечатльніе, произведенное его комедіей, много прибавляеть къ тъмъ впечатльніямъ, которыя накопляются въ умахъ отъ существующаго у насъ порядка вещей" ("Записки и дневникъ", подъ 28 апр. 1836 г.). Отсталая часть общества и литературная клика, враждебная Гоголю (Сенковскій, Булгаринъ, частью Полевой и др.), ръзко порицали пьесу и осыпали ея автора упреками или бранью. Никитенко сообщаеть, что графъ Канкринъ послъ перваго представленія выразился такъ: "Стоило ли ъхать смотръть эту глупую фарсу",—и что "многіе полагаютъ,

что правительство напрасно одобряеть эту пьесу, въ которой оно такъ серьезно порицается" ("Зап. и дневникъ", тамъ же). Общество раскололось, пошли споры, поднялся шумъ, и все это произвело на болъзненно-чуткую натуру Гоголя самое удручающее впечатлъніе. Когда шли хлопоты о постановкъ пьесы въ Москвъ, Гоголь писалъ артисту Щепкину (23 апр. 1836 г.): "Дълайте, что хотите, съ моей пьесою, но я не стану хлопотать о ней. Мнъ она сама надоъла такъ же, какъ и хлопоты о ней. Дъйствіе, произведенное ею, было большое и шумное. Всъ противъ меня... бранятъ и ходятъ на пьесу: на четвертое представленіе нельзя достать билетовъ. Если бы не высокое заступничество государя, пьеса моя не была бы ни за что на сценъ".

Имъ опять, какъ нѣкогда въ 1829 г., овладѣло стихійное стремленіе бѣжать. Уже въ маѣ 1836 г. онъ дѣлаетъ приготовленія къ отъѣзду за границу, о чемъ и извѣщаетъ свою мать и друзей (Погодина, С. Т. Аксакова и др.). Наконецъ, 6 іюня того же года онъ, вмѣстѣ съ Данилевскимъ, двинулся въ путь...

Петербургскій періодъ жизни и творчества Гоголя окончился, и начался первый заграничный періодъ, длившійся, съ перерывами, до 1841 года, когда Гоголь прі**т**халъ въ Россію для хлопоть по изданію первой части «Мертвыхъ Душъ». Эти годы (1836—1841) заграничныхъ скитаній почти целикомъ пошли на обработку великой поэмы въ техъ ея частяхъ, которыя были написаны раньше, и на ея продолженіе (окончаніе первой части и писаніе второй). Объ этой работь Гоголя надъ «Мертвыми Душами» и о его настроеніяхъ, сопровождавшихъ работу, мы будемъ говорить въ главь III-ей. Здысь отмычу только важныйшія событія этой эпохи въ жизни Гоголя. Въ ряду этихъ событій пержое місто должно быть отведено смерти Пушкина, извъстіе о которой произвело на Гоголя ошеломляющее впечатленіе, что онъ и выразилъ въ своихъ письмахъ къ Погодину и Плетневу (выдержки будуть приведены въ главахъ II-й и

III-ей). Вторымъ событіемъ, оказавшимъ немалое вліяніе на внутренній міръ Гоголя, была смерть его молодого друга, Іосифа Вьельгорскаго. Это быль юноша, подававшій большія надежды и очаровывавшій всіхъ прекрасными качествами души. Онъ умеръ отъ чахотки 1-го іюля 1839 года. Гоголь, познакомившійся съ нимъ всего полгода тому назадъ, всей душой привязался къ юношъ. Въ его письмахъ того времени встръчаются восторженныя отзывы о Вьельгорскомъ. У постели умирающаго онъ "проводилъ безсонныя ночи", онъ "живетъ его умирающими днями", "ловитъ минуты его" (такъ выражался онъ въ письме къ М. П. Балабиной, 1839 г.). "Клянусь, непостижимо странная отъ 30 мая судьба всего хорошаго у насъ въ Россіи. Едва только успьеть показаться-и тоть же чась смерть, безжалостная, неумолимая смерть", пишеть онъ Балабиной. На такую натуру, какъ Гоголь, смерть молодого Вьельгорскаго, умиравшаго на его рукахъ, должна была произвести исключительно сильное впечатленіе. Чего только не передумаль, какихъ скорбныхъ чувствъ не пережилъ у постели умирающаго юноши этотъ человъкъ, надъленный необычайною чуткостью и бользиенною раздражительностью нервной и психической организаціи! Объ этихъ думахъ и чувствахъ, возвышавшихся до міровой скорби, до философскаго пессимизма и близкихъ къ религіозному ропоту, мы можемъ судить по твить мастамъ изъписемъ, гда идетъ рачь о смерти Вьельгорскаго, и по отрывку "Ночи на виллъ", воспроизводящему въ задушевной лирической форм'я смерть : юноши и все, что пережиль поэть у его смертнаго одра 1).

Большое значение въ творчествъ Гоголя, безспорно, имъло его пребывание въ Италии, въ особенности въ Римъ. Извъстно, какъ очарованъ былъ Гоголь природою, климатомъ, историческими памятниками, искусствомъ и всъми

⁴⁾ Объ І. М. Вьельгорскомъ, о дружбъ его съ Гоголемъ, о его смерти подробно, говоритъ В. И. Шенрокъ на стр. 254—263 III-го тома "Матеріаловъ".

вообще впечатлѣніями Италіи. Только здѣсь могъ онъ отвлечься отъ всѣхъ гнетущихъ впечатлѣній; только здѣсь, въ Вѣчномъ городѣ, освобождалась душа поэта отъ ипохондрическихъ и мизантропическихъ настроеній, которымъ она была такъ подвержена; только здѣсь могъ онъ сосредоточиться на своей художественной работѣ. Здѣсь-то и закончилъ онъ обработку І-ой части "Мертвыхъ душъ". Геніальная поэма такъ тѣсно связана съ Римомъ, что изслѣдователю порою навязывается парадоксальная мысль, что, если бы Гоголь не могъ попасть въ Римъ, мы не имѣли бы поэмы о похожденіяхъ Павла Ивановича Чичикова въ ея законченной формѣ...

«Страсть къ Италіи»—справедливо говоритъ Н. А. Котляревскій-«была въ немъ (въ Гоголь) страстью и южанина, и эстетика, и романтика, и любилъ онъ въ этой Италіи не только ее самое, но и свою мечту, какъ любять всв истинно-влюбленные» («Н. В. Гоголь», стр. 296). Выдержки изъ писемъ, въ которыхъ онъ изливаетъ эту любовь, будутъ приведены въ гл. III-ей. Здёсь ограничусь одной цитатой (изъ письма 1837 года): «Душенька моя! моя красавица Италія! Никто въ мірѣ ее не отниметъ у меня! Я родился здѣсь. Россія, Петербургъ, снъга, подлецы, департаментъ, каоедра, театръ-все это мит снилось... О, если бы взглянули только на это ослъпляющее небо, все тонущее въ сіяніи! Все прекрасно подъ этимъ небомъ; что ни развалина, то и картина; на человъкъ какой-то сверкающій колорить; строеніе, дерево, дело природы, дело искусства-все, кажется, дышитъ и говоритъ подъ этимъ небомъ...».

Памятникомъ итальянскихъ и въ частности римскихъ впечатленій явилась повёсть «Римъ» («Анунціата»), оставшаяся, впрочемъ, неоконченной ¹).

Кром'в постоянной работы надъ «Мертвыми душами», Гоголь трудился, живя за границей, также надъ переработ-

¹⁾ Жизнь Гоголя въ Римъ описалъ по личнымъ воспоминаніямъ П. В. Анненковъ въ статьъ "Гоголь въ Римъ". ("Воспоминанія и критическіе очерки", т. Г).

кою и отдълкою нъкоторыхъ прежнихъ произведеній. Такъ, онъ передълалъ повъсть «Портретъ» (1837 и 1841 г.), «Тараса Бульбу» (въ 1838 г., окончилъ въ 1842).

Въ 1839 году Гоголю пришлось прівхать, по разнымъ двламъ, въ Россію, гдв онъ пробылъ отъ конца сентября 1839 г. до конца мая 1840 го, когда онъ опять двинулся за границу. Проживъ некоторое время въ Вене, потомъ въ Венеціи, онъ 25 сентября (1840 г.) прибылъ въ Римъ. Здёсь онъ отдохнулъ душой отъ всего пережитаго въ отечестве...

I-ая часть «Мертвыхъ душъ» была уже почти окончена, и въ 1840 году онъ читалъ ее въ Москвъ у Аксажовыхъ.

Въ следующемъ 1841 году осенью Гоголь опять пріёхаль въ Россію и на этотъ разъ привезъ уже совсёмъ готовую и переписанную для цензуры рукопись первой части «поэмы». Въ Москве онъ представилъ ее въ цензурный комитетъ, но, опасаясь затрудненій, взялъ ее назадъ, чтобы отослать въ Петербургъ—«съ оказіей». Драгоценную рукопись повезъ въ Петербургъ не кто иной, какъ В. Г. Бълинскій съ письмомъ къ Смирновой и кн. В. Ө. Одоевскому (въ началё января 1842 г.).—Благодаря хлопотамъ петербургскихъ друзей и энергичному образу действій цензора Никитенки, рукопись была разрёшена къ печати (9 марта 1842 г.). Книга вышла въ свётъ 23 мая 1842 г. Посётивъ Петербургъ на короткое время, Гоголь выёзжаетъ за границу въ началё іюня (1842). Въ началё октября онъ быль уже въ Римё.

Появленіе "Мертвыхъ душъ" было событіемъ первостешенной важности. Отрицательныя стороны "русскаго человъка" предстали передъ сознаніемъ мыслящей части общества воплощенными въ яркіе, глубоко-жизненные типы. Знаменитый гоголевскій смѣхъ, въ которомъ и раньше уже звучали ноты глубокой скорби, теперь, въ великой "поэмѣ", сталъ тъмъ "высокимъ восторженнымъ смѣхомъ", который "достоинъ стать рядомъ съ высокимъ лирическимъ движеніемъ" (Мертв. души, гл. VII). И это хорошо поняли лучшіе

люди эпохи, для которыхъ "Мертвыя души" были великою книгою скорби и горькихъ думъ объ уродствахъ русской дъйствительности, объ искаженіи, какъ говориль Гоголь, "природы русскаго человѣка", о "пугающемъ отсутствіи свѣта". Еще Пушкинъ, прослушавъ первыя главы "поэмы", вынесъ это тяжелое впечатлъніе, вылившееся у него въ восклицаніи: "Боже, какъ грустна наша Россія!" 1) Въ окончательной обработкъ картина вышла не столь безнадежной: знаменитыя "лирическія міста" внесли въ нее нікоторый просвёть, какъ бы символизируя головокружительнобыстрый историческій рость Россіи, позволяющій наділься, что она раньше или позже выйдеть на свъть Божій изъ трясины безвременья, въ которой она, казалось, увязла. И воть что писаль въ своемъ "Дневникв" А. И. Герценъ подъ свъжимъ впечатлъніемъ только-что прочитанной "поэмы": "Мертвыя души" Гоголя—удивительная книга, горькій упрекъ современной Руси, но не безнадежный. Тамъ, гдъ взглядъ можеть проникнуть сквозь туманъ нечистыхъ, навозныхъ испареній, тамъ онъ видить удалую, полную силы національность. Портреты его удивительно хороши, жизнь сохранена во всей полнотъ; не типы отвлеченные, а добрые люди, которыхъ каждый изъ насъ видълъ сто разъ. Грустно въ мірь Чичикова-такъ, какъ грустно намъ въ самомъ дель; и тамъ, и тутъ одно утвшение въ вврв и уповани на будущее. Но въру эту отрицать нельзя, и она не просто романтическое упованіе ins Blaue, а имфеть реалистическую основу, -- кровь какъ-то хорошо обращается у русскаго въгруди... ("Дневникъ" подъ 11 іюня 1842 г.).

Такія "утвшенія" и "упованія", двйствительно, подсказывала великая поэма. Достаточно вспомнить "лирическое мъсто" въ концъ первой части: "...И какой же русскій не любить быстрой взды? Его ли душъ, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: "Чорть побери все!" его ли душъ не любить ея?.. Не такъ ли и ты, Русь, что

¹) Объ этомъ я говорю подробиве ниже, въ гл. II-й.

бойкая, необгонимая тройка, несешься?.. Русь, куда же несешься ты? Дай отвъть. Не даетъ отвъта. Чуднымъ звономъ заливается колокольчикъ... летитъ мимо все, что ни есть на землъ, и косясь постораниваются и даютъ ей дорогу другіе народы и государства". И шевелились въ душъ чуткихъ читателей тъ упованія на будущее, въ которыхъ русскій человъкъ такъ легко находитъ утъшеніе всъхъ скорбей прошлаго и настоящаго,—и такъ хотълось върить, что бъшеная тройка вылетитъ изъ трясины, изъ мрака,—и такъ легко забывалось, что сидитъ-то въ бричкъ все тотъ же Павелъ Ивановичъ Чичиковъ...

Забывали объ этомъ тв славянофилы, которые видели въ "поэмъ" "апоесовъ Руси". К. С. Аксаковъ, восторженный поклонникъ Гоголя, издалъ брошюру, въ которой онъ развиваль ту мысль, что "Мертвыя души"—національная русская эпонея, родъ "Иліады" и "Одиссеи", а Гоголь-пусскій Гомеръ. Другіе (большею частью также славянофилы), выдвигая впередъ сатирическую сторону поэмы, видъли въ ней не "апоесозъ", а, напротивъ, — "анаесму Руси". Въ московскихъ кружкахъ шли на эту тему оживленные споры. Герценъ, принимавшій въ нихъ дѣятельное участіе, записаль въ "Дневникъ": "Видъть апотеозу-смъшно, видъть одну анаеему-несправедливо. Есть слова примиренія, есть предчувствія и надежды будущаго, полнаго и торжественнаго, но это не мъщаетъ настоящему отражаться во всей отвратительной дъйствительности... "-- ("Дневн. подъ 29 іюля 1842 г.). Въ поэмъ нътъ никакой "анаоемы", а есть ъдкая сатира и глубокая скорбь. Въ ней натъ "аповеоза", но есть бодрящій, освъжающій лиризмъ: "...съ каждымъ шагомъ", — пишетъ Герценъ (тамъ же) – "вязнете, тонете глубже, лирическое мъсто вдругъ оживить, освътить и сейчасъ замъняется опять картиной, напоминающей еще яснье, въ какомъ рет ада находимся... ""Мертвыя души"-поэма, глубоко выстраданная. Мертвыя души? Это заглавіе само носить въ себъ что-то наводящее ужасъ. И иначе онъ не могъ назвать, не ревизскія—мертвыя души, а всѣ эти Ноздревы, Маниловы и tutti quanti—вотъ мертвыя души, и мы ихъ встрѣчаемъ на каждомъ шагу...»

Поэма вызвала оживленные толки и въ обществъ, и въ литературъ. Появились статьи Бълинскаго, Шевырева, Плетнева и др. Рядомъ съ восторженными похвалами выражалось и порицаніе. Не говоря уже о давнишнихъ недоброжелателяхъ Гоголя (Булгаринъ, Сенковскій и др.), придиравшихся къ мелочамъ и старавшихся свести сатиру Гоголя на шаржъ и карикатуру, многіе читатели, а также и писатели, не могли сразу уяснить себъ глубокаго общественнаго смысла поэмы и высокаго художественнаго значенія типовъ, въ ней выведенныхъ. Вотъ почему особливо полезны были тв статьи, въ которыхъ все это разъяснялось, и которыя, такъ сказать, подготовляли читателя къ пониманію поэмы. Такое воспитательное значеніе могли имёть статьи разныхъ лицъ, а также частыя ссылки на "поэму" и ея героевъ въ статьяхъ Бълинскаго, который, однако, не далъ обстоятельнаго разбора "Мертвыхъ душъ". Въ воспоминаніяхъ П. В. Анненкова говорится, что различные вопросы и споры, какіе тогда занимали великаго критика, "не могли заслонить ни на минуту передъ Бълинскимъ чисто-русскаго вопроса, который тогда пъликомъ сосредоточивался у него на одномъ имени Гоголя и на его романъ "Мертвыя Души"... Онъ не уставаль указывать..., почему являются на Руси типы такого безобразія, какіе выведены въ поэмъ; почему могуть совершаться на Руси такія невъроятныя событія, какія въ ней разсказаны; почему могутъ существовать на Руси, не приводя никого въ ужасъ, такія річи, мнінія, взгляды, какіе переданы въ ней. Бълинскій думаль, что добросовъстный отвътъ на вопросъ можетъ сдълаться для человъка, добывшаго его, программой дёятельности на остальную жизнь и, особенно, положить прочную основу для его образа мыслей и для правильнаго сужденія о себъ и другихъ..." (П. В. Анненковъ, "Воспоминанія и критическіе очерки", III, стр. 103).

Уже отсюда видно, какое огромное общественное значеніе имѣла сатира Гоголя. Послѣ появленія "Мертвыхъ душъ" онъ становится настоящимъ "властителемъ думъ" мыслящей и передовой части общества, и на него обращены "полныя ожиданія очи" ("Мертв. души", гл. ХІ). Лѣтъ пять спустя, въ извѣстномъ письмѣ къ Гоголю, гдѣ Бѣлинскій излилъ все свое негодованіе по поводу ретроградныхъ мнѣній Гоголя, высказанныхъ въ его книгѣ "Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями" (1847), великій критикъ, вспоминая недавнее прошлое, въ слѣдующихъ словахъ выразилъ свое отношеніе къ великому поэту-сатирику: "Да, я любилъ васъ со всею страстью, какъ человѣкъ, кровью связанный со своею страною, можетъ любить ея надежду, честь и славу, одного изъ великихъ вождей ея на пути сознанія, развитія и прогресса..."

II.

Между темъ, какъ разъ въ эту эпоху владычества Гоголя надъ умами и сердцами лучшихъ людей Россіи (1842-1847), въ душт великаго писателя творилось что-то недоброе: тамъ сгущались мрачныя настроенія, въ которыхъ замътно выступали черты ипохондріи и мизантропіи. Гоголь хвораль физически и мучился припадками какой-то психической угнетенности. Онъ преувеличивалъ свои недуги и свои моральные недостатки. Онъ подозръваль въ себъ бользни, которыхъ не было, и каялся въ прегръщеніяхъ, не только дъйствительныхъ, но и воображаемыхъ. По временамъ ему казалось, что вся его литературная деятельность ничтожна или даже вредна, что онъ призванъ къ чему-то другому. Иной разъ навязывалась ему мысль, что онъ потерялъ свой таланть. Но всего болье овладывали имъ покаянныя настроенія, страхъ смерти и загробныхъ возмездій. Онъ каялся и молился...

Углубляясь въ свой внутренній міръ, онъ вскоръ обръль новое дъло, которое онъ назвалъ своимъ "душевнымъ дъ-

ломъ": онъ стремился очиститься отъ всякой скверны, воспитать въ себѣ высокую моральную личность, выработать какой-то высшаго порядка душевный строй,—и ему казалось, что только исполнивъ эту задачу, онъ будетъ въ состояніи довести до конца свое великое твореніе—"Мертвыя души", въ дальнѣйшихъ частяхъ котораго онъ изобразитъ "хорошія стороны" русскаго человѣка и вмѣстѣ съ тѣмъ укажетъ Руси вѣрный путь къ совершенствованію, къ нравственному возрожденію, къ свѣту и къ правдѣ...

Смиреніе и самоуничиженіе кающагося "грѣшника" и христіанина, стремящагося къ праведной жизни по Евангелію, совмѣщались у него съ гордынею пророка, призваннаго проповѣдывать "слово истины" и направить Россію Чичиковыхъ, Собакевичей и Ноздревыхъ на путь спасенія...

Онъ пишетъ нравоучительныя и душеспасительныя письма Аксакову (С. Т.), Языкову, Смирновой, Данилевскому и многимъ другимъ, гдъ говоритъ о своемъ "душевномъ дълъ" и преподаетъ совъты, какъ очиститься, какъ молиться... Въ числь рекомендуемых средствъ есть такое: "Дайте мнъ слово во все продолжение первой недъли великаго поста... читать мое письмо, перечитывая всякій день по одному разу и входя въ точный смыслъ его, который не можетъ быть доступенъ съ перваго разу..." (Письмо къ матери отъ 1-го октября 1843 г.). Своему товарищу и пріятелю А.С. Данилевскому онъ пишетъ (1844): "Счастье на землъ начинается только тогда для человека, когда онъ, позабывъ о себъ, начинаетъ жить для другихъ.. " Онъ считаетъ своимъ долгомъ и даже правомъ вмѣшиваться въ чужую жизнь, наставлять людей на путь истины. Онъ увъренъ, что ему свыше ниспосланъ необыкновенный даръ "слышать душу": онъ читаетъ въ душв человвческой, какъ по писанному, и поэтому можетъ открыть всякому человъку правду о немъ самомъ, обнаружить скрытые помыслы и тайныя движенія души, какихъ самъ человъкъ не подозръваетъ въ себъ. "...Самъ Вогъ вложилъ въ душу мою прекрасное чутье слышать

душу: источникъ многихъ моихъ радостей и наслажденій", пишетъ онъ Смирновой (16 мая 1844 г.). Этотъ даръ, дъйствительно, былъ у него: иначе онъ не былъ бы великимъ поэтомъ. Но онъ думалъ, что этотъ даръ посланъ ему не столько для художественнаго творчества, сколько для предстоящей ему дъятельности "учителя", моралиста и религіознаго исповъдника.

Онъ углубляется въ чтеніе такихъ книгъ, какъ сочиненія Оомы Кемпійскаго, сочиненія Стефана Яворскаго, "Розыскъ о Брынской въръ" Дмитрія Ростовскаго, "Духовный Мечъ" Лазаря Барановича.—Сочиненія Оомы Кемпійскаго онъ разсылаетъ друзьямъ (С. Т. Аксакову, Погодину, Шевыреву, Языкову) съ назидательнымъ письмомъ... Наконецъ, онъ предпринимаетъ путешествіе въ Іерусалимъ, паломничество ко Гробу Господню...

Съ каждымъ годомъ все более захватывало его это "душевное дело", съ которымъ такъ причудливо переплеталась его художественная работа надъ второю и третьею частями "Мертвыхъ Душъ". Въ этомъ трудъ онъ хотълъ воплотить въ новые образы свои высокіе помыслы, свои покаянія, всъ тв "истины" или откровенія, къ которымъ онъ шелъ столь труднымъ путемъ религіознаго самоуглубленія, моральныхъ исканій, долгихъ сосредоточенныхъ думъ. Но работа подвигалась медленно и туго. Написанное не удовлетворяло поэта, казалось далеко ниже того, что онъ хотель выразить. Въ 1845 году вторая часть поэмы была совсемъ готова, но лътомъ того же года Гоголь сжегъ рукопись и принялся писать сызнова. — Въ 1846 году ему приходить въ голову мысль издать отрывки изъ своихъ многочисленныхъ писемъ. Онъ извъщаеть объ этомъ Языкова: "Я, какъ разсмотрълъ все то, что писаль разнымь лицамь въ последнее время, особенно нуждающимся и требовавшимъ отъ меня душевной помощи, вижу, что изъ этого можетъ составиться книга, полезная людямъ страждушимъ на разныхъ поприщахъ..." (22-го апр. 1846 г.)—Въ іюль того же 1846 г. онъ уже даетъ опредъленное поручение Плетневу относительно изданія "Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями" и пишетъ ему, что "эта книга разойдется болѣе, чѣмъ всѣ мои прежнія сочиненія, потому что это до сихъ поръ моя единственная дюльная книга..." — Онъ ждетъ, что эта книга "принесетъ добро многимъ душамъ" (письмо къ Смирновой отъ 15-го окт. 1846 г.). — Самъ Богъ внушилъ ему эту мысль издать ее: "чудо и милостъ Божія" явственно сказались вътомъ, что "во время работы надъ книгою вдругъ остановились самые тяжкіе недуги, вдругъ отклонились всѣ помѣшательства въ работъ..." (письмо къ Плетневу отъ 20 окт. 1846 г.)

Уже во время печатанія книги до Гоголя доходили отрицательные отзывы о ней его друзей и поклонниковъ, болье или менье ознакомленныхъ съ ея содержаніемъ. Изъ этихъ отзывовъ чуть ли не самый ръзкій принадлежалъ старику Аксакову, который давно уже съ грустью замьчалъ, что Гоголь уклоняется отъ своего прямого пути—художника-сатирика, становится моралистомъ и впадаетъ въ мистицизмъ. Теперь С. Т. Аксаковъ, узнавъ о томъ, что Гоголь приступаетъ къ изданію своихъ писемъ, пишетъ Плетневу, которому было поручено изданіе, что эту книгу издавать не слъдуетъ. Потомъ (9-го дек. 1846 г.) старикъ обращается къ самому Гоголю съ ръзкимъ письмомъ, въ которомъ онъ упрекаетъ поэта въ "гордынъ", облеченной "въ рубище смиренія".

Книга вышла въ свътъ наканунъ Новаго — 1847 года и вскоръ принесла Гоголю великія огорченія и разочарованія. Прежде всего огорчила Гоголя цензура, вычеркнувъ нъкоторыя мъста. Гоголь утверждаль, что выпущены чуть ли не двъ трети книги, но это не върно: всъ изъятыя мъста составятъ весьма незначительную часть ея. Но нельзя отрицать, что въ самомъ дълъ нъкоторыя изъ опущенныхъ мъстъ были важны въ томъ смыслъ, что показывали, что авторъ вовсе не такъ ужъ примиренъ съ тогдашнею русскою дъйствитель-

ностью, какъ это казалось на основаніи многихъ изъ его разсужденій, вошедшихъ въ злополучную книгу.

Въ настоящее время уже не можетъ быть сомивнія въ томъ, что Гоголь, издавая свои письма, руководился глубокоискреннимъ стремленіемъ принести пользу Россіи, бороться
съ отрицательными сторонами тогдашней дъйствительности,
просвътить и облагородить соотечественниковъ. Никакой
личной выгоды онъ не преслъдовалъ и отнюдь не хотълъ
угодить властямъ предержащимъ, какъ подозръвали это нъкоторые не только изъ числа его недруговъ, но и изъ числа
его поклонниковъ.

Книга произвела даже на людей консервативнаго образа мыслей непріятное впечатльніе ретроградства и мракобъсія. Въ дъйствительности Гоголь былъ далекъ и отъ того, и отъ другого. Его ошибка, которую въ то время критика не могла освътить, какъ слъдуеть, состояла въ томъ, что онъ придаваль исключительное значение религіозному и моральному фактору въ жизни общества и государства. Это, въ существъ двла, та же самая ошибка, которую потомъ повториль Л. Н. Толстой. Какъ тотъ, такъ и другой не знали или не хотъли понять, что общественная и государственная жизнь совствить не то, что личная жизнь отдельнаго человтка. Последній можеть, да и то не всегда, исправиться подъ вліяніемъ голоса совъсти, живого религіознаго чувства, моральной проповъди. Общество и государство "исправляются" общественными и политическими реформами, поступательнымъ движеніемъ, сообразнымъ съ требованіями времени, распространениемъ просвъщения. Дореформенная Россия нуждалась не въ пробуждении религіознаго чувства, не въ моральной проповеди, а въ реформахъ. Гоголь не могъ стать на эту точку зрвнія, потому что не импль политическаго воспитанія, какъ не имъли его добрыхъ 9/10 тогдашняго образованнаго общества. По условіямъ своей внашней жизни, Гоголь, правда, могь бы легче многихъ другихъ пріобресть нъкоторый навыкъ въ области вопросовъ политики: онъ

очень долго жилъ за границей, много путешествоваль по Западной Европъ, зналъ четыре иностранныхъ языка (нъмецкій, французскій, итальянскій и польскій) и имълъ, такимъ образомъ, возможность присмотръться къ общественной жизни, къ учрежденіямъ западно-европейскихъ народовъ, познакомиться съ политической литературой напр. Франціи и Германіи. Но онъ не воспользовался этими благопріятными условіями. По самой натуръ своей, по складу ума, онъ и не могъ ими воспользоваться въ интересахъ своего политическаго образованія. Выяснить эти особенности ума и натуры Гоголя, мъщавшія ему стать передовымъ человъкомъ своего времени, и составить одну изъ задачъ предлагаемой книги.

Отзывы критики о "Перепискъ съ друзьями" большею частью были резко отрицательные. Таковы были отзывы Бълинскаго, Н. Ф. Павлова, Губера, Галахова (въ передовомъ лагеръ). Понравилась книга сравнительно немногимъ, преимущественно членамъ того религіозно-настроеннаго кружка, въ которомъ Гоголь игралъ видную роль, и гдъ на него смотръли, какъ на призваннаго "учителя". Это былъ кружокъ Вьельгорскихъ, Смирновыхъ, графа А. П. Толстого и другихъ. Но поддержка и сочувствіе этихъ лицъ не могли залечить рану, нанесенную Гоголю проваломъ книги, на которую онъ возлагалъ столько надеждъ. Ръзкіе отрицательные отзывы въ письмахъ къ нему и въ печати, повидимому,. подъйствовали на него очень сильно и поколебали его увъренность въ томъ, что изданіемъ "Переписки" онъ сдёлаль полезное и хорошее дёло. Онъ приходить къ сознанію, что сделаль ошибку. Въ одномъ письме къ Жуковскому онъ говорить: "Я размахнулся въ моей книгь такимъ Хлестаковымъ, что не имъю духу заглянуть въ нее... Какъ миж стыдно за себя, какъ мнъ стыдно передъ тобою, добрая душа! Стыдно, что возомниль о себь, будто мое школьное воспитание уже кончилось, и могу я стать наравив съ тобою. Право, есть во мит что-то хлестаковское! (1847 г.)—Въ другихъ письмахъ (къ Плетневу, Шевыреву, Вьельгорской)

онъ старается оправдать изданіе своей книги тімь соображеніемъ, что она заставить многихъ поразсмыслить о разныхъ важныхъ вопросахъ, въ ней поднятыхъ, а ему самому дасть возможность узнать, что думають русскіе люди, какъ они относятся къ тъмъ или другимъ мыслямъ автора, и, благодаря этому, онъ лучше уяснить себъ образъ мыслей, направленіе, настроеніе различныхъ круговъ общества, а это, въ свою очередь, необходимо ему для дальнъйшей работы надъ "Мертвыми Душами". "Мнъ нужно слишкомъ много набраться отъ умныхъ людей, чтобы написать, какъ слъдуеть, мои "Мертвыя Души", -- говорить онъ Плетневу (въ письмъ отъ 6-го марта 1847 г.). - "Книга моихъ писемъ выпущена въ свътъ затъмъ, чтобы пощупать ею другихъ и себя самого, чтобы узнать, на какой степени душевнаго состоянія стою теперь я самъ, потому что себя трудно видіть, а когда нападутъ со всъхъ сторонъ и станутъ на тебя указывать пальцами, тогда и самъ отыщешь въ себъ многое. Книга моя вышла не столько затемъ, чтобы распространить какія-либо свёдёнія, сколько затёмъ, чтобы добиться самому многихъ тъхъ свъдъній, которыя мит необходимы для труда моего... (Изъ письма къ А. М. Вьельгорской отъ 26-го марта 1847 г.)—То же самое говорить онь и въ письмъ къ А. С. Данилевскому (18-го марта того же года). Любопытно оригинальное выражение тахъ же мыслей въ письмъ къ Россету: "Одна изъ причинъ печатанія моихъ писемъ была та, чтобы научиться, а не научить. А такъ какъ русскаго человъка до тъхъ поръ не заставишь говорить, пока не разсердишь его и не выведешь изъ теривнія, то я оставиль почти нарочно много тёхъ мёсть, которыя заносчивостью способны задрать за живое..."

Задётый самъ за живое рёзкимъ отзывомъ Бёлинскаго (въ "Современникъ"), онъ пишетъ ему письмо, которое посылаетъ черезъ общаго ихъ пріятеля Прокоповича. Бёлинскій получилъ это письмо во время своей заграничной поёздки (въ Зальцбруннъ). Онъ тогда же ответилъ Гоголю

внаменитымъ письмомъ, которое вскорѣ разошлось по всей Россіи въ тысячахъ списковъ и по праву можетъ быть названо историческимъ. Великій критикъ излиль въ этомъ письмѣ всю силу своего негодованія, вызваннаго мыслями Гоголя, казавшимися ему ретроградными. Это былъ настоящій политическій памфлетъ, направленный противъ всей реакціонной Россіи, противъ мракобѣсія, противъ дикихъ порядковъ и нравовъ, господствовавшихъ въ Россіи. Великій критикъ-публицистъ оплакивалъ "паденіе" великаго писателя, который, какъ казалось критику, сталь на сторону реакціи и выступилъ съ лицемѣрной моральной проповѣдью противъ лучшей части общества, такъ или иначе боровшейся съ темными силами, враждебными свѣту, свободѣ и народному благу.

Огромное значеніе Гоголя, какъ художника - сатирика, ярко выступаєть изъ-за этихъ уничтожающихъ словъ пориданія и негодованія. Самое возмутительное въ "Перепискъ съ друзьями", въ глазахъ Бълинскаго, это—то, что авторъ ея—не кто иной, какъ Гоголь, тотъ великій Гоголь, который въ теченіе цълаго десятильтія быль властителемъ думъ лучшихъ людей Россіи,—тотъ Гоголь, къ которому обращены эти страстныя слова письма: "Да, я любилъ васъ со всею страстью, какъ человъкъ, кровью связанный со своею страною, можетъ любить ея надежду, честь и славу, одного изъ великихъ вождей ея на пути сознанія, развитія и прогресса"1)....

Письмо Бѣлинскаго возымѣло свое дѣйствіе. Можно думать, что Гоголь былъ задѣтъ за живое не столько рѣзкостью тона, сколько причисленіемъ его къ лику ретроградовъ.

Въ отвътномъ письмъ (а также и въ письмъ къ Аннен-кову) онъ старается объяснить свое положение между тог-

¹⁾ Знаменитое письмо могло появиться въ печати только въ концъ 1905 года. Впервые издано "Свъточемъ".

дашними партіями—какъ нейтральное. Въ направленіи, которому служили Бълинскій и его единомышленники, онъ готовъ допустить "часть правды". Но это направленіе—одностороннее, а онъ, Гоголь, ищетъ полноты истины.

Къ тому же 1847 году относится "Авторская исповъдь", гдъ Гоголь возражаетъ на обвиненія, вызванныя "Перепискою", и старается выяснить свою точку зрѣнія на вещи, а равно и раскрыть интимную сторону своей художественной работы, преимущественно—работы надъ "Мертвыми душами".

исторія съ "Перепискою", причинившая Гоголю Эта столько огорченій, не могла внести миръ и успокоеніе въ его смятенную душу. Бользненные процессы, въ ней совершавшіеся, еще болье обострились. Можно даже сказать, что къ этому именно времени (1847-1848 гг.) относится кризисъ душевныхъ мукъ Гоголя, бользни его нравственнаго сознанія. Кризису способствовало усиленіе религіознаго чувства, переходившаго теперь въ открытый мистицизмъ. Въ противоположность тому, что часто наблюдается у другихъ религіозныхъ натуръ, мистическая религіозность Гоголя не принесла ему душевнаго успокоенія. Все больше и больше овладаваль имъ суеварный страхъ: онъ боялся діавола, его козней и соблазновъ, боялся смерти и загробныхъ мукъ. Его религіозность была, если можно такъ выразиться, какая-то ипохондрическая, въ полномъ соотвътствін съ ипохондрическимъ характеромъ его нравственнаго чувства. Вмъстъ съ тъмъ его религіозность была отмъчена чертами явно архаическими: отъ нея вѣяло чѣмъ-то устарълымъ, пережитымъ, средневъковымъ, минологическимъ. Этотъ родъ религіозности для душевныхъ организацій, склонныхъ къ моральной ипохондріи, не можетъ быть источникомъ душевнаго оздоровленія. На бъду судьба свела Гоголя съ однимъ изъ яркихъ представителей этой архаической религіозности, съ ржевскимъ протоіереемъ о. Матвћемъ Константиновскимъ, мрачнымъ фанатикомъ, имъвшимъ репутацію чуть ли не святого. Этотъ человікъ сразу пріобрълъ огромное вліяніе на Гоголя. Онъ пугалъ поэта всвми угрозами загробныхъ возмездій и украпляль въ немъ убъжденіе, что вся его литературная дъятельность-погубна и граховна. Со всами мнаніями о. Матвая Гоголь, впрочемъ, согласиться не могь и пробоваль возражать ему. Такъ, въ одномъ письмъ (1847 г.) онъ старается убъдить его въ томъ, что хорошіе романы и повъсти могуть принести пользу... Очевидно, онъ виделъ и понималъ всю узость, односторонность и отсталость понятій о. Матвъя и его смущала фанатическая и правовърная "крайность" послъдняго, какъ смущали всякія "крайности" и "излишества". Но, не соглашаясь съ о. Матвъемъ, онъ не имълъ силы сопротивляться ему: "крайности" о. Матвъя опирались на авторитетъ, который для Гоголя быль непререкаемымъ. О. Матвъй говорилъ отъ имени Бога, основывался на непреложныхъ свидътельствахъ Свящ. Писанія, на ученіи Церкви, на словахъ Спасителя... И говорилъ онъ краснорфчиво, - онъ обнаруживаль необычайную силу безповоротной убъжденности,онъ призывалъ къ покаянію, къ отреченію отъ міра, онъ пугалъ страшнымъ судомъ и повергалъ смущеннаго поэта, истерзаннаго внутренними противоръчіями, въ великій религіозный страхъ и трепетъ. Великій поэтъ быль безоруженъ и беззащитенъ передъ лицомъ фанатика. И кто знаетъ, быть можеть, въ усиленномъ чтеніи Св. Писанія, отцовъ церкви, богословскихъ книгъ, бъдный поэтъ искалъ опоры, защиты, аргументовъ противъ черезчуръ прямолинейной и безоглядной проповъди о. Матвъя, -- проповъди, которая порою не могла не казаться Гоголю въ своемъ родъ разрушительной. Можно думать, что великій писатель, при всемъ вліяніи на него о. Матвъя и его единомышленника графа А. П. Толстого, все-таки не поступался тами возвраніями, которыя онъ считалъ истинными; такъ онъ отстаивалъ искусство вообще, въ частности театръ, въ особенности поэзію Пушкина оть нападокъ о. Матвъя и графа А. П. Толстого; не поколебался онъ и въ увъренности, что его личная дъятельность, какъ художника, не только не противоръчитъ религіи и нравственности, но, при извъстныхъ условіяхъ, можетъ стать неоскудъваемымъ источникомъ нравственнаго возрожденія русскаго общества. Онъ продолжалъ върить, что Богъ съ высоты небесъ укажетъ ему путь въ земной юдоли, и что этотъ путь ведетъ къ окончанію великаго художественнаго труда, который былъ главнымъ дъломъ его жизни. И онъ продолжалъ трудиться надъ второю частью "Мертвыхъ Душъ" и вмъстъ съ тъмъ — надъ своимъ "душевнымъ дъломъ", ища душевнаго обновленія и просвътлънія въ религіозномъ созерцаніи, въ молитвахъ и покаяніяхъ....

Въ началъ 1848 года наконецъ осуществилась его завътная мысль—досътить Іерусалимъ и поклониться гробу Господию...

Въ апрълъ того же года онъ вернулся въ Россію, пробылъ недълю въ Одессъ, откуда проъхалъ на родину для свиданія съ родными. Оттуда онъ писалъ (Шереметевой): "Мысль о моемъ давнемъ трудъ, о сочиненіи моемъ, меня не оставляетъ. Все мнъ такъ же, какъ и прежде, хочется такъ произвесть его, чтобъ оно имъло доброе вліяніе, чтобъ образумились многіе и обратились бы къ тому, что должно быть въчно и незыблемо".

Въ этой книгь, т. е. въ третьей части "Мертвыхъ душъ", онъ котълъ начертать идеалъ "русскаго человъка". Онъ все болье углублялся въ мудренное дъло—отысканія и воспроизведенія идеальныхъ сторонъ "русской породы", и въ его головъ уже былъ готовъ планъ грандіознаго труда, въ которомъ темная и гръшная Русь Чичиковыхъ, Собакевичей, Новдревыхъ, Плюшкиныхъ, рисующихъ "адъ" тогдашней дъйствительности, пройдя черезъ "чистилище" второй части поэмы, гдъ, въ лицъ Тентетникова, генерала Бетрищева, его дочери Уленьки, Хлобуева, Платоновыхъ и т. д., была изображена Русь кающаяся, ищущая выхода изъ тьмы, воз-

рождающаяся, — явится наконецъ преображенною, просвътленною свътомъ христіанскаго идеала. Здъсь "русское" будеть слито съ "евангельскимъ". Для этой мечты Гоголь искаль фактическихь обоснованій, точки опоры въ дъйствительности, въ психологіи русскаго человъка, и ему казалось, что онъ уже близокъ къ решенію проблеммы, что онъ улавливаеть въ глубинъ русской души какіе-то намеки на возможность такой идеализаціи. Задача состояла не въ томъ, чтобы выдумать идеальнаго русскаго человъка, а чтобы найти въ самой действительности отправныя точки или почву для возсозданія идеальныхъ типовъ средствами строгаго реалистического искусства. И, вдумываясь въ психологію русскаго человъка, Гоголь уже приходилъ къ выводу, гласящему, что ,,высокое достоинство русской породы состоить въ томъ, что она способна глубже, чъмъ другія, принять въ себя высокое слово евангельское, возводящее къ совершенству человъка... "-- какъ писалъ онъ гр. Вьельгорской (80-го марта 1849 г.).

По временамъ казалось поэту, что онъ уже близокъ къ осуществленію этой мечты, но бодрость и душевное просвътленіе скоро смѣнялись упадкомъ духа,—работа подвигалась туго, уныпіе и разочарованіе вновь овладѣвали душой великаго поэта Руси,—и онъ снова замышлялъ уѣхать куда-нибудь подальше отъ этой неподдающейся художественному апоесозу Руси...—,,Зачѣмъ пріѣхалъ я на родину! Мнѣ больше, чѣмъ кому-либо другому, нужно было держаться вдали",—писалъ онъ матери въ маѣ 1849 года.

Въ письмахъ къ Смирновой, къ Вьельгорской, къ Данилевскому (въ мав и іюнв того же года) онъ жалуется на нервическое разстройство, на упадокъ духа, хандру, уныніе и на то, что работа не подвигается впередъ. Осенью онъ нъсколько оправился. Работа возобновилась. "Все время мое отдано работв: часу нвтъ свободнаго... О, какъ спасительна работа!.." (пишетъ онъ А. М. Вьельгорской въ октябрв 1849 г.). Онъ извъщаетъ Смирнову, что "время летитъ въ занятіяхъ,

такъ что некогда думать о бользни", "что онъ больше читаетъ, чъмъ пишетъ": "Нужно внимательно, и даже очень внимательно, прочесть все то, что знакомитъ насъ съ краемъ нашимъ, нами позабытымъ".

Повидимому, въ душѣ Гоголя намѣчался поворотъ—отъ вѣчнаго углубленія въ себя, въ свое "душевное дѣло", къ объективному изученію Россіи. Въ немъ оживаетъ художникъ-наблюдатель и бытописатель. Его все болѣе занимаетъ мысль изучить Россію во всевозможныхъ отношеніяхъ: географическомъ, этнографическомъ, бытовомъ... Но вскорѣ онъ опять почувствовалъ упадокъ силъ. "Творчество мое лѣниво",—сообщалъ онъ Жуковскому въ декабрѣ 1849 г.,— "стараюсь не пропустить и минуты времени, не отхожу отъ стола, не отодвигаю бумаги, не опускаю пера; но строки лѣпятся вяло, а время летитъ невозвратно".—Въ письмѣ къ Плетневу онъ жалуется на "умственную спячку" и говоритъ, что "Мертвыя души" тоже тянутся льниво".

Тъмъ не менъе къ этому времени вторая часть "Мертвыхъ душъ", сожженная въ 1845 г., была уже написана и обработана вновь. Въ іюлъ 1849 года Гоголь читалъ ее у Смирновыхъ въ Калугъ, о чемъ подробно говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ Арнольди, присутствовавшій при чтеніи. Въ январъ 1850 г. Гоголь читалъ вторично у Аксаковыхъ (въ москвъ) первую главу 2-ой части. Чтеніе произвело огромное впечатлъніе. Въ томъ же январъ (19-го) онъ читаетъ тамъ же вторую главу.

Но физическіе недуги и угнетенное состояніе духа не покидають поэта. Въ томъ же январѣ 1850 г. онъ пишетъ Плетневу: "Не могу понять, что со мною дѣлается... Встаю рано, съ утра принимаюсь за перо, никого къ себѣ не впускаю, откладываю на сторону всѣ прочія дѣла, даже письма къ людямъ близкимъ,—и при всемъ томъ такъ немного изъ меня выходитъ строкъ! Кажется, просидѣлъ за работой не больше, какъ часъ; смотрю на часы—уже время обѣдать... Конецъ дѣлу не скоро, т. е. разумѣю конецъ

"Мертвыхъ душъ". Всъ почти главы соображены и даже набросаны, но именно не больше, какъ *набросаны*; собственно написанныхъ двъ—три и только..."

Отчеть о своей работь даль поэть и о. Матвью: "Такъ много есть, о чемъ сказать, а примешься за перо, не подымается! Жду какъ манны орошающаго освъженія свыше: всё бы мои силы отъ него двинулись. Видить Богь, ничего бы не хотълось сказать, кромъ того, что служить къ прославленію Его святого имени. Хотълось бы живо, въ живыхъ примърахъ, показать темной моей братіи, живущей въ міръ и играющей жизнью, какъ игрушкой, что жизнь—не игрушка. И все, кажется, обдумано и готово; но перо не подымается. Нужной свъжести для работь нътъ, и (не скрою передъ вами) это бываетъ предметомъ тайныхъ страданій, чъмъ-то въ родъ креста..."

Весною повхалъ онъ на югъ и побывалъ на родинв. Повидимому, повздка его оживила. Ему опять приходить въ голову мысль обо изучении Россіи во всевозможныхъ отношеніяхъ, и онъ написалъ даже докладную записку, въ которой излагаетъ планъ задуманнаго имъ обширнаго труда по отчизновъдънію 1).

Всё интересы его теперь сосредоточены въ Россіи и тёсно связаны съ его жизнью въ Россіи: "Если бы Одесса была хоть сколько-нибудь похожа климатомъ на Неаполь, разумется, я не подумаль бы о выёздё за границу", писаль онъ гр. А. П. Толстому. Онъ пишетъ (Смирновой), что съ радостью остался бы въ Россіи на зиму, и строитъ планы о томъ, какъ будущимъ лётомъ онъ прочиталь бы Жуковскому 2-ую часть "Мертв. душъ", въ окончательномъ видъ, а осенью приступилъ бы къ печатанію... Въ письмѣ къ Стурдзѣ, который зваль его въ Одессу, онъ говоритъ: "Скажу вамъ откровенно, что мнѣ не хочется и на три мѣсяца оставлять Россію. Ни за что бы я не выёхалъ изъ Москвы, которую



⁴⁾ Въ главъ III-ей я привожу большую выдержку изъ этой записки.

такъ люблю. Да и вообще Россія все мив становится ближе и ближе. Кромв свойства родины, есть въ ней что-то еще выше родины, точно какъ бы это та земля, откуда ближе къ родинв небесной..."

Осень 1850 г. и зиму (1850—1851 г.) онъ провель въ Одессъ, гдъ наше южное солнце лишь отчасти могло замънить ему солнце Италіи, которое всегда такъ благотворно дъйствовало на его здоровье, физическое и душевное. Подготовляя здъсь къ печати 2-ю часть "Мертвыхъ душъ", онъ въ то же время хлопочетъ и о второмъ изданіи собранія его сочиненій. Въ декабръ (1850 г.) онъ писалъ Смирновой: "О себъ пока скажу, что Богъ хранитъ, даетъ силу работать и трудиться. Утро постоянно проходитъ въ занятіяхъ; не тороплюсь и осматриваюсь. Художественное созданіе и въ словъ то же, что картина. Нужно то отходить, то вновь подходить къ ней, смотръть ежеминутно, не выдается ли что нибудь ръзкое и не нарушается ли нестройнымъ крикомъ всеобщее согласіе"...

Въ апрълъ 1851 г. Гоголь покинулъ Одессу. Май мъсяцъ онъ провелъ на родинъ—провздомъ въ Москву; онъ везъ съ собою уже совсъмъ готовый къ печати 2-ой томъ "Мертвыхъ душъ". О немъ онъ писалъ Плетневу изъ Васильевки: "Что второй томъ "Мертвыхъ душъ" умнъе перваго—это я могу сказать, какъ человъкъ, имъющій вкусъ и притомъ умъющій смотръть на себя, какъ на чужого человъка... но какъ разсмотрю весь процессъ, какъ творилось и производилось это созданіе, вижу, что уменъ только тотъ, кто творитъ и зиждетъ все, употребляя насъ вмъсто кирпичей для постройки по тому фасаду и плану, котораго онъ одинъ истинный разумный Зодчій"...

Онъ всегда былъ увъренъ въ томъ, что Богъ неисповъдимыми путями, болъзнями, испытаніями, ведетъ его къ совершенію великаго подвига,—и на свой трудъ онъ смотрълъ, какъ на трудъ, нъкоторымъ образомъ боговдохновенный. Тенерь, когда дъло его жизни близилось къ окончанію, въ

душѣ великаго ипохондрика зашевелилось глухое сомнѣніе, которое онъ страшился высказать. Можно думать, что не разъ навязывалась ему ужасная мысль: а что, если его трудъ не угоденъ Богу, если его внушилъ духъ зла, коварный искуситель и врагъ рода человѣческаго, возбудивъ въ душѣ поэта великое самомнѣніе и преступную гордыню?.. Какъ узнать правду? Какъ выйти изъ тяжелой неизвѣстности? И больной поэтъ не перестаетъ всѣми помыслами устремляться къ Всевышнему, онъ взываетъ къ Его благости, онъ молится и, не полагаясь на силу молитвы, проситъ другихъ молиться о немъ...

Изъ Москвы, гдв онъ сейчасъ же почувствовалъ, что ему плохо, что ему "нуженъ Крымъ", онъ пишетъ матери: "Бъдная моя голова! Доктора говорятъ, что надо ее оставить въ поков... Молитесь обо мнв, добрвишая моя матушка. На ваши теплыя, на ваши близкія моему сердцу молитвы много у меня надежды. Трудно, трудно бываеть мив!" (2 сент. 1851 г.). "Духъ мой крайне изнемогъ", жалуется онъ Шевыреву, сообщая, что вдеть помолиться въ Троицко-Сергіевскую лавру. Въ это время мать звала его въ Васильевку на свадьбу дочери. Его самого тянуло на югъ, но онъ не имъетъ силы двинуться въ путь и боится "прівхать на свадьбу больнымъ и всъхъ разстроить" *). Ища отдыха и душевнаго освѣженія, онъ посѣщаеть Аксаковыхъ въ ихъ имвніи Абрамцевъ, заъзжаетъ въ Оптину пустынь, потомъ — изъ Москвы--- вдетъ молиться въ Троицко-Сергіевскую лавру... Въ концъ октября упадокъ силъ и духа смънился нъкоторымъ подъемомъ; по временамъ Гоголь бывалъ веселъ и разговорчивъ, принималъ и посъщалъ друзей. Въ 20-хъ числахъ октября онъ читалъ у себя на квартиръ "Ревизора" для нъсколькихъ приглашенныхъ лицъ, въ числъ которыхъ

^{*)} Не желая огорчить родныхь, онъ двинулся было въ путь, но довхаль только до Калуги, откуда вернулся обратно въ Москву.

быль и Тургеневь, впоследствіи описавшій это чтеніе вь своихь воспоминаніяхь о Гоголь.

Въ ноябръ и декабръ онъ чувствуетъ себя сравнительно недурно и строитъ планы о повздкъ весною на югъ. Онъ работаетъ... Друзья находятъ его "довольно бодрымъ"... Но но всему видно, что подъ этимъ наружнымъ спокойствіемъ. скрывается что-то тревожное; оживленіе было обманчивымъ, и всякая случайность могла нарушить неустойчивое равновъсіе его души.

Въ концъ января 1852 г. умерла Е. М. Хомякова, и эта смерть потрясла Гоголя. С. Т. Аксаковъ, въ своихъ воспоминаніяхъ, говорить объ этомъ слъдующее: "Вотъ какъ!"— сказалъ онъ (Гоголь), грустно здороваясь съ нами; говорилъ, что боялся въ тотъ день посылать узнать о ея (Хомяковой) здоровьъ и только ждалъ извъщенія отъ Хомяковыхъ, которое и не замедлило прійти. Спросилъ, гдъ ее положатъ. Мы сказали: въ Даниловомъ монастыръ, возлъ Языкова. Онъ по-качалъ головой, сказалъ что-то объ Языковъ и задумался такъ, что намъ страшно стало: онъ, казалось, совершенно перенесся мыслями туда и оставался въ томъ же положеніи такъ долго, что мы нарочно заговорили о другомъ, чтобы прервать его мысли"...

Онъ былъ такъ разстроенъ, что не могъ быть на похоронахъ. "Страшна минута смерти"! — говорилъ онъ послѣ того у Аксаковыхъ. На чье-то замѣчаніе, что смерть не страшна тому, кто увѣренъ въ милости Божьей къ страждущему человѣку,—онъ сказалъ: "Ну, объ этомъ надобно спросить тѣхъ, кто перешелъ черезъ эту минуту"...

Видимо, онъ думалъ и о своей смерти, приближение которой чувствовалъ, и всегда мучившая его грозная загадка загробнаго существования и посмертнаго возмездия снова стала передъ нимъ; онъ вперялъ умственный взоръ въ эту тъму неизвъстности, и его душа то изнемогала въ сомнънияхъ, то ободрялась надеждою. И какъ обыкновенно бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, обострение сомнъний, угнетенное состояніе духа, можеть быть, минутами близкое къ отчаянію, вызывали, въ силу естественной реакціи, временный подъемъ душевныхъ силъ, родъ внушенія со стороны инстинкта самосохраненія. По свидетельству современниковъ, Гоголь вдругъ пріободрился, "сділался спокоенъ, какъ-то світель духомъ, почти веселъ"...—1-го февраля (1852) послѣ объдни онь пришель къ Аксаковымъ и вотъ что вноследствіи занесъ въ свои "Воспоминанія" С. Т. Аксаковъ: "Видно было, что онъ находился подъ впечатленіемъ этой службы; мысли его были всв обращены къ тому міру. Онъ быль светель, даже весель, говориль много и все объ одномъ и томъже. Онъ говорилъ, что надобно посовътовать Хомякову читать самому псалтырь по своей жень, что это для него и для нея будеть утвшеніе, и что тогда только имветь смысль чтеніе псалтыря по умершимъ, когда читаютъ близкіе; говориль о впечатленіи смерти на людей, о томъ, возможно ли человъка воспитать такъ съ малыхъ льтъ, чтобы онъ понималь значение жизни и смерти, чтобы смерть не поражала, какъ будто нечаянность"...

Подъ роковою властью мыслей о смерти вскорь опять затуманилась душа поэта. 4 февраля онъ задумалъ говъть и, какъ сообщалъ потомъ пользовавшій его докторъ Тарасенковъ, "прекратилъ занятіе корректурой, а вмысть сътымъ уменьшилъ до крайности свое питаніе и сонъ"... Передъ исповъдью (7-го февр.) онъ "палъ ницъ и много плакалъ". Онъ, видимо, слабълъ тъломъ и духомъ. "Причащеніе его не успокоило: онъ остался также мраченъ, не хотылъ въ этотъ день ничего всть, и когда посль съблъ просфору, то назвалъ себя обжорою, окаяннымъ, нетерпъливцемъ и сокрушался сильно"...

Онъ изнуряль себя постомъ, который быль настоящимъ голоданіемъ. Онъ изнемогаль душевно подъ гнетомъ въчныхъ помысловъ о близкой смерти, объ ожидающемъ его Страшномъ Судъ. И вотъ 11 февраля, послъ всемощной у графа А. П. Толстого, въ домъ котораго жилъ тогда Гоголь,

онъ "долго молился одинъ въ своей комнатъ", а "въ три часа утра призвалъ своего мальчика и спросилъ его, тепло ли въ другой половинъ его покоевъ. "Свъжо", отвъчалъ "Дай мив плащъ; пойдемъ: мив нужно тамъ распорядиться". И онъ пошель со свёчой въ рукахъ, крестясь во всякой комнать, черезъ которую проходиль. Пришель, вельль открыть трубу, какъ можно тише, чтобъ никого не разбудить, и потомъ подать изъ шкафа портфель. Когда портфель быль принесень, онь вынуль оттуда связку тетрадей, перевязанныхъ тесемкой, положилъ ее въ печь и зажегь свъчей изъ своихъ рукъ. Мальчикъ, догадавшись, упалъ передъ нимъ на колени и сказалъ: "Баринъ, что вы это? перестаньте!--"Не твое дело" -- отвечаль онъ -- "молись"! Мальчикъ началъ плакать и просить его. Между темь огонь угасаль, после того какь обгорели углы у тетрадей. Гоголь замётиль это, вынуль связку изъ печки, развязаль тесемку и, уложивь листы такь, чтобь легче было приняться огню, зажегь опять и съль на стулъ передъ огнемъ, ожидая, пока все сгоритъ и истлетъ. Тогда онъ, перекрестясь, воротился въ прежнюю свою комнату, поцеловалъ мальчика, легъ на диванъ и заплакалъ". Такъ описываетъ знаменитую сцену сожженія 2-ой части "Мерт. Душъ" М. П. Погодинъ. То же — въ общемъ — сообщаетъ и д-ръ Тарасенковъ.

А на слъдующій день (12 февр.) Гоголь сказаль графу Толстому: "Вообразите, какъ силенъ злой духъ! Я хотъль сжечь бумаги, давно уже на то опредъленныя, а сжегъ главы "Мертвыхъ Душъ", которыя хотълъ оставить друзьямъ на память о моей смерти"...

Онъ слегъ и упорно отказывался отъ леченія. Врачи (Тарасенковъ, Альфонскій, Оверъ и др.) терялись въ догадкахъ о характеръ бользни,—и всъ средства, къ которымъ они прибъгали, оказались напрасными. Умирающій упорно противился лечепію. 18-го февраля онъ причастился. Погодинъ сообщаетъ, что онъ обнаружилъ радость, когда ему предложили это, и "выслушалъ всё евангелія въ полной памяти, проливая слезы". 20-го февр. былъ созванъ консиліумъ врачей. Они, повидимому, согласились въ томъ, что помимо разныхъ болёзней, тёлесныхъ и душевныхъ, изнурившихъ организмъ Гоголя, онъ въ данное время былъ истощенъ продолжительнымъ голоданіемъ. Онъ отказывался отъ пищи и умиралъ голодной смертью.—Врачи рёшили: "Надобно кормить его насильно". Но было уже поздно. 20-го ночью началась агонія, а на слёдующій день—21-го февраля въ 8 часовъ утра—Гоголь умеръ.

25 февраля, послъ отпъванія въ университетской церкви, прахъ великаго поэта и страдальца былъ погребенъ въ Даниловомъ монастыръ.

ГЛАВА І.

"Пушкинское" и "гоголевское".

Художественный методъ Гоголя.

I.

Въ настоящемъ опытъ, посвященномъ Гоголю, мы будемъ неоднократно вспоминать и Пушкина: намъ кажется, что сопоставление этихъ двухъ художественныхъ гениевъ, столь важное въ историко-литературномъ изслъдовании, можетъ оказаться плодотворнымъ и въ опытъ психологическаго изучения натуры и творчества Гоголя.

Для современниковъ, близко знавшихъ Гоголя, этотъ человъкъ былъ загадкою. Загадкою остается онъ и для насъ. Лишь одно въ немъ совершенно ясно и не подлежитъ спору: это именно его великій художественный геній, благодаря которому имя Гоголя стоитъ въ ряду величайшихъ именъ всемірной литературы. Насколько ясна эта сторона натуры Гоголя, настолько темно все остальное. Изучая Гоголя, какъ умъ, какъ характеръ, мы повсюду наталкиваемся на противоръчія и неясности. Порою эти противоръчія сгущаются въ родъ какихъ-то "парадоксовъ души", которые при ослъпительномъ свътъ

художественнаго генія Гоголя, кажутся еще парадоксальнів, чімь, быть можеть, они были на самомь ділів.

Сопоставленіе этой замкнутой, противорѣчивой и неуравновѣшенной натуры съ открытою, гармоничною и уравновѣшенною натурою Пушкина, очная ставка этого огромнаго темнаго ума съ огромнымъ свѣтлымъ умомъ Пушкина могли бы, думается намъ, пролить нѣкоторый свѣтъ на проблему психологіи Гоголя и его творчества или, по крайней мѣрѣ, содѣйствовать правильной постановкѣ ея.

Въ этомъ сопоставленіи чисто-психологическій вопросъ, по нѣкоторымъ пунктамъ, близко подходитъ къ вопросу историко - литературному: сравниваемыя величины сопоставлены самой исторіей. Начинатели и основоположники нашей художественной литературы и нашего національнаго и общественнаго самосознанія (поскольку оно связывается съ художественнымъ творчествомъ), Пушкинъ и Гоголь были сотрудниками, другъ друга дополнявшими, въ одномъ и томъ же великомъ историческомъ дѣлѣ.

Въ лицъ Пушкина мы имъемъ генія съ извъстными творчества, съ извъстнымъ художественнымъ міросозерцаніемъ, съ опредѣленнымъ даромъ чувствовать и понимать жизнь и человъка. Въ лицъ Гоголя мы имъемъ генія съ иными пріемами творчества, съ другимъ художественнымъ міросозерцаніемъ, — и его даръ чувствовать и понимать жизнь и человъка быль совстмъ такой, какъ у Пушкина. Эти два художественныя "гоголевское", явились отвоззрвнія, "пушкинское" И правными точками, отъ которыхъ пошли два направленія, два теченія, двѣ школы, до сихъ поръ еще не сказавшія своего последняго слова и продолжающія развидальше. "Пушкинское" и "гоголевское" дять, съ 30-хъ годовъ и досель, по всей русской литературъ, то сближаясь, то разлучаясь, дополняя другъ друга, стремясь слиться въ какомъ-то высшемъ синтезф, который, однако, еще далекъ, еще недостижимъ...

Изученіе ихъ развитія, различныхъ метаморфозъ и особыхъ выраженій, какія они получили въ творчествѣ нашихъ писателей отъ 30-хъ годовъ до послѣдняго времени, составляетъ задачу историко-литературную. Ихъ изученіе со стороны психологіи творчества Пушкина, Гоголя и ихъ преемниковъ, а также и раскрытіе психологическаго состава и характера "пушкинскаго" и "гоголевскаго" въ русской художественной литературѣ образуетъ особую — психологическую — задачу.

Предлагаемая работа есть небольшой посильный вкладъ въ разработку нъкоторыхъ вопросовъ, относящихся къ этой задачъ.

Прежде всего мы займемся вопросомъ о художественном методъ Гоголя и постараемся сопоставить этотъ методъ съ тъмъ, на которомъ основывалось творчество Пушкина. Здъсь различие между "пушкинскимъ" и "гоголевскимъ" выступаетъ съ особливой ясностью.

Художественныхъ методовъ столько же, сколько и художниковъ. Но это разнообразіе легко подводится подъ типа, подъ двъ основныя формы художественнаго познанія. Эти двъ формы суть тъ же, что и въ научномъ познаніи: наблюденіе и опыть. Художникъ либо наблюдаеть дъйствительность и въ своемъ произведении подводить итогь этимъ наблюденіямъ, либо ділаеть своего рода опыты надъ действительностью, выдёляя извёстныя, его интересующія, черты или стороны ея, которыя въ ней вовсе не выдёляются, а всегда, или въ огромномъ большинствъ случаевъ, даны въ соединении съ другими чертами или сторонами, ихъ заслоняющими. Сравнитель. но радко оба метода совмащаются въ равной мара въ дарованіи одного и того же художника. Въ большинствъ случаевъ художники-либо наблюдатели по преимуществу,либо по преимуществу экспериментаторы.

Въ чемъ сущность этихъ двухъ методовъ? Къ чему сводятся принципіальныя— психологическія— различія между ними?

Отвёть на это могуть дать только изслёдованія процесса творчества у различных художниковь. Пока мы должны ограничиться установленіемь общаго — предварительнаго — понятія о художник - наблюдатель съ одной стороны и о художник - экспериментатор — съ другой.

Художникъ-наблюдатель, изучая людей и жизнь, стремится дать по возможности правдивое воспроизведение дъйствительности, освътить картину такъ, какъ освъщена сама дъйствительность. Онъ не склоненъ очень сгущать краски или затушевывать извъстныя явленія жизни; онъ не придаетъ особливаго развитія одной сторонь двйствительности въ ущербъ другой; онъ старается "соблюдать пропорціи". И на его картинъ жизнь изображена такъ, какъ она есть, но только въ образахъ типичныхъ, обобщающихъ, при чемъ комбинація, постановка и разработка этихъ образовъ наводять насъ на думы и выводы, на какіе подлинная жизнь не наведеть. По произведеніямъ этого рода можно судить о той действительности, которая въ нихъ изображена, и на нихъ зачастую удобиве, чемъ на фактахъ самой жизни, обосновывается критика этой последней.

Художникъ-наблюдатель присматривается и прислушивается къ жизни, стараясь понять ее, — онъ стремится постичь человтка въ жизни, взятой въ опредъленныхъ предълахъ мъста и времени, — и въ своихъ созданіяхъ онъ не столько обнаруживаетъ и передаетъ намъ свою манеру видъть и слышать жизнъ и свой даръ чувствовать человтка, сколько, открывая намъ широкую картину дъйствительности, даетъ намъ возможность, при ея помощи, развивать и совершенствовать наше собственное понимание жизни, нашъ собственный даръ чувствовать человтка и все человтческое.

Къ этому—наблюдательному—роду творчества принадлежатъ произведенія Пушкина ("Евгеній Онѣгинъ", "Капитанская дочка" и др.), Лермонтова ("Герой нашего времени"), Гончарова, Тургенева, Писемскаго, Л. Н. Толстого (кром'в его тенденціозныхъ, морализирующихъ произведеній, относящихся къ творчеству опытному, какъ напр. "Крейцерова соната" и др.).

Это и есть тотъ родъ творчества, о которомъ говорилъ Тургеневъ въ извъстномъ письмъ къ Дружинину 1856 г.: "...вы помните, что я, поклонникъ и малъйшій послъдователь Гоголя, толковалъ вамъ когда-то о необходимости возвращенія Пушкинскаго элемента, въ противовъсіе Гоголевскому". Въ 1859 г. Тургеневъ прочелъ въ Петербургъ лекцію о Пушкинъ, въ которой онъ очертилъ сущность "пушкинскаго элемента". Насколько можно судить по сохранивщемуся отрывку 1), Тургеневъ видълъ сущность въ томъ спокойномъ и светломъ поэтическомъ созерцаніи, которое составляетъ характерную черту Пушкина, какъ художника, въ противоположность резкому отрицанію нашей действительности, выразившемуся въ сатирѣ Гоголя и въ нѣкоторыхъ (лирическихъ) произведеніяхъ Лермонтова. Яснье улавливаемъ мы точку зрвнія Тургенева въ вышеуказанномъ письмъ къ Дружинину, гдъ, вслъдъ за приведенными словами, читаемъ: "Стремленіе къ безпристрастію и къ истині всецівлой есть одно изъ немногихъ добрыхъ качествъ, за которыя я благодаренъ природъ, давшей мнъ ихъ". Отсюда мы въ правъ заключить, что Тургеневъ подъ "пушкинскимъ элементомъ" понималъ такое творчество, которое стремится къ возможно полному, всестороннему и правдивому воспроизведенію действительности. 20 лёть спустя, въ письмё къ г. Кигну (1876 г.) следующимъ образомъ характеризуетъ этотъ Тургеневъ родъ творчества, называя его "объективнымъ": "...нужно... вникать во все окружающее, стараться не только уловить жизнь во всёхъ ея проявленіяхъ, но и понимать ее, понимать тв законы, по которымъ она движется и которые не всегда выступають наружу; нужно сквозь игру слу-

⁴⁾ Онъ цитируется въ "Воспоминаніяхъ о Бълинскомъ".

чайностей добиваться до типовъ — и со всёмъ тёмъ всегда оставаться вёрнымъ правдё, не довольствоваться поверхностнымъ изучениемъ, чуждаться эффектовъ и фальши".

Нъкоторыя выраженія и наставленія въ этихъ выдержкахъ могутъ быть отнесены одинаково какъ къ творчеству наблюдательному, такъ и къ опытному. Таковъ, напр., совътъ "чуждаться эффектовъ и фальши", а равно и тотъ, который гласить, что "нужно сквозь игру случайностей добиваться до типовъ": мы знаемъ широкіе и великольпные типы, построенные путемъ опытнаго творчества (напр., Хлестаковъ, Маниловъ, Ноздревъ, Собакевичъ и др.). Но зато характернымъ именно для наблюдательнаго творчества, однимъ изъ величайшихъ представителей котораго и быль Тургеневь, является то, что онь говорить о стремленін къ безпристрастію и правдю всецюлой и потомъ о необходимости "понимать жизнь и тъ законы, по которымъ она движется". Трудно представить себъ художниканаблюдателя, которому было бы чуждо это стремление къ "безпристрастію и всецьлой правдь" и который не обладаль бы извъстнымь "пониманіемь жизни" и "ея движенія", по крайней мірь, въ техъ пределахь времени и міста, какими ограничиваются его наблюденія. Напротивъ, какъ безъ того, такъ и безъ другого вполн \updelta возможен \updelta $xy\partial \emph{ож}$ никъ-экспериментаторъ, даже великій: таковъ и былъ Правильные будеть сказать, что для художникаэкспериментатора стремленіе къ безпристрастію и "всецёлой правдё" означало бы, что онъ отказывается производить свои опыты. Если онъ понимаетъ жизнь эпохи и ея движеніе, то это, конечно, для него большое преимущество. Но это является въ eroтворчествв необходимостью только въ томъ случав, когда его художественные опыты будуть направлены на познаніе скрытыхъ, невидныхъ въ дъйствительности пружинъ, движущихъ жизнь, на обнаружение едва замътныхъ симптомовъ новыхъ явленій, на раскрытіе истинной природы и значенія назр'ввающихъ перемънъ, неясныхъ или незамъченныхъ при обыкновенномъ наблюденіи жизни.

Художественныя произведенія, основанныя на чистомъ наблюденіи, становятся "документами", по которымъ можно изучать эпоху. Произведенія искусства опытнаго для этой ціли либо совсімь непригодны, либо требують тщательныхъ разъясненій, различныхъ ограниченій и оговорокъ.

Къ сказанному добавлю еще то, о чемъ я уже писалъ неоднократно ¹), а именно, что художники въ своихъ наблюденіяхъ надъ дъйствительностью идутъ двумя путями: первый путь—от себя, второй—не от себя. Обыкновенно однимъ художникамъ свойственъ по преимуществу первый путь, другимъ—второй. Для обозначенія этихъ двухъ путей художественнаго наблюденія я беру термины субъективный—для перваго, объективный—для второго.

Когда мы приступаемъ къ изученю творчества извъстнаго художника, то на первыхъ же порахъ встръчаемся съ необходимостью установить, какимъ путемъ шелъ онъ въ своихъ наблюденіяхъ и что именно лежитъ въ основъ лучшихъ его созданій: самоанализъ и наблюденіе натуръ, родственныхъ его собственной, изученіе его ближайшей среды, гдъ онъ выросъ и воспитался, или же наблюденія надъ чуждою ему жизнью, изученіе натуръ и характеровъ, для пониманія которыхъ самонаблюденіе не достаточно. Нельзя вполнъ понять художника, не зная, изъ какого окна онъ смотритъ на Божій міръ. Когда мы опредъляемъ путь, которымъ шелъ художникъ, тогда многое въ его произведеніяхъ открывается намъ въ иномъ, болье правильномъ освъщеніи,—мы начинаемъ понимать интимную сторону его творчества и можемъ прослъдить тайное прозябаніе и рость его художественныхъ идей.

Итакъ, творчество наблюдательное бываетъ либо по преимуществу субъективное ("отъ себя"), либо по преимуществу объективное ("не отъ себя"), либо, наконецъ, такое,



¹⁾ См. "Этюды о творчествъ И. С. Тургенева" и "Л. Н. Толстой какъ художникъ".

въ которомъ оба направленія совмъщаются приблизительно въ равной мъръ.

Ниже увидимъ, что различение этихъ двухъ путей относится также и къ творчеству опытному, къ характеристикъ котораго и обратимся теперь.

Какъ въ наукъ, такъ и въ искусствъ опыть есть разновидность наблюденія. Но, въ противоположность опыту научному, опыть въ искусствъ сопряженъ съ извъстными особенностями дарованія и всей душевной организаціи художника. Говоря такъ, мы имъемъ въ виду тъхъ художниковъ, для которыхъ этотъ родъ творчества составляетъ призваніе, а не тъхъ, у кого онъ является второстепеннымъ, дополнительнымъ элементомъ въ ихъ дарованіи.

Образцами опытнаго творчества, основаннаго на особенностяхъ ума, дарованія и всей душевной организаціи художника, являются у насъ "Ревизоръ", "Мертвыя души", сатира Салтыкова, произведенія Достоевскаго, Гл. Успенскаго, Чехова.

Въ произведеніяхъ художниковъ-экспериментаторовъ мы имъемъ не широкую и разностороннюю картину жизни, а нарочитый подборъ извъстныхъ чертъ, въ силу котораго изучаемая художникомъ сторона жизни выступаетъ такъ ярко, такъ отчетливо, что ея смыслъ, ея роль становятся понятны всъмъ. Въ нашей жизни вообще не мало сторонъ, ускользающихъ отъ сознанія или отъ правильной оцънки: мы плохо сознаемъ, напр., ту массу пошлости, глупости, умственной и нравственной темноты, какая разлита въ насъ и вокругъ насъ. Этого-то рода "стороны жизни" ръзко выдъляются въ художественныхъ опытахъ и выставляются, какъ говорилъ Гоголь, "на всенародныя очи" въ созданіяхъ художниковъ-экспериментаторовъ.

Художественный опыть, какъ методъ художественнаго познанія человъка и жизни, ближайшимъ образомъ основанъ на дъйствіи извъстныхъ чувствъ, которыми художникъ реагируетъ на впечатлънія дъйствительности, и на особомъ порядкъ мыслей, соотвътствующемъ этимъ чувствамъ. Эти чувства и мысли образуютъ ту *интуции*ю, съ которою художникъ приступаетъ къ опыту и которая даетъ послъднему надлежащее направленіе.

Повидимому, иначе стоитъ дело у художниковъ-наблюдателей: у нихъ созерцаніе жизни и изученіе людей вызываетъ игру весьма разнообразныхъ чувствъ и мыслей, другъ друга уравновъшивающихъ. Въ этомъ смыслъ душа такого художника отражаетъ самую жизнь, которая есть равновъсіе, хотя и неустойчивое, разнообразныхъ психическихъ факторовъчувствъ, страстей, мыслей, идей, идеаловъ. И въ ской работ в художника ни одно изъ его предварительныхъ чувствъ, ни одна изъ его интуитивныхъ мыслей не получаеть решительного преобладанія надъ другими и не нвляется направляющимъ и предръщающимъ моментомъ художественныхъ изысканій, которыя такимъ образомъ сохраняють характерь строго индуктивной работы мышленія. Напротивъ, у художниковъ-экспериментаторовъ мы видимъ предръшающую дъятельность извъстныхъ чувствъ и мыслей, наличность и функція которыхъ обусловливаются самою натурой, всёмъ душевнымъ складомъ художника. У одного мы явственно различаемъ тотъ порядокъ чувствъ и мыслей, который Гоголь называль "видимымъ смёхомъ и незримыми, невъдомыми слезами", у другого-ъдкій сарказмъ и гнавное отрицаніе (Салтыковъ), у третьяго-глубокую скорбь о человъкъ и особое "унылое чувство жалости" при видъ несовершенствъ и бъдствій людского существованія (Чеховъ) и т. д. Это - тв, которыя встрвчаются чаще других и могутъ даже считаться явленіями обычными во всякой художественной литературъ (разумъется, въ весьма разнообразныхъ формахъ и въ соединении съ талантами различной глубины и силы). Но бывають и иныя - редкія - интуиціи представляющія собою нічто исключительное и трудно-опредълимое. Таковъ, напр., тотъ порядокъ мыслей и чувствъ. додъ властью котораго творилъ Достоевскій и который впервые быль раскрыть и определень Н. К. Михайловскимь въ статье "Жестокій таланть". Не вполне выяснень еще характерь интуиціи (повидимому, очень сложной и своеобразной) Гл. Успенскаго.

Все это по преимуществу мрачныя, скорбныя настроенія. Но возможно, что, при болье тщательномъ изученіи искусства съ точки зрвнія, здвсь намвиченной, найдутся художники экспериментаторы, творившіе подъ наитіемъ болье светлыхъ созерцаній, болье радужныхъ чувствъ и мыслей. Во всякомъ случав они —редкость, ихъ нужно искать, между темъ какъ представители мрачныхъ и скорбныхъ интуицій—явленіе обычное. Это—фактъ знаменательный, наводящій на рядъ новыхъ вопросовъ, некоторые изъ которыхъ мы затронемъ впоследствіи...

Во избѣжаніе недоразумѣній, укажу сейчась же на то, что многія изъ чувствъ и мыслей, служащихъ интуиціей художниковъ-экспериментаторовъ, вовсе не составляютъ ихъ монополіи и найдутся и у художниковъ-наблюдателей. Но рѣзкое различіе между тѣми и другими вь томъ, что, какъ было уже указано выше, у вторыхъ эти чувства и мысли уравновѣшиваются чувствами и мыслями иного порядка и иной окраски, а главное—они являются не какъ интуиція, не въ началѣ процесса, а чаще всего въ концѣ его, какъ результатъ творчества, какъ горькій осадокъ созерцаній, какъ итогъ художественнаго познанія добра и зла человѣческаго. Во всякомъ случаѣ, это у нихъ не предпосылка и не пружина творчества, какъ у художниковъ-экспериментаторовъ.

У этихъ последнихъ всегда наготове данный порядокъ чувствъ и мыслей, являющейся свойственною данному художнику формою апперцепціи впечатленій жизни, и иногда эта форма получаетъ характеръ "большой посылки" "художественнаго силлогизма", такъ что процессъ творчества перестаетъ быть строго-индуктивнымъ и становится въ никоторой мири дедуктивнымъ. Образъ, созданный художникомъ, остается, конечно, въ существе дела индуктивнымъ обобщеніемъ изве-

стныхъ явленій, но онъ въ то же время сбивается и на выводъ изъ "предпосылки интуиціи", на иллюстрацію къ ней. Это замътно у Гл. Успенскаго въ большей степени, чъмъ у. другихъ.

Интуиція художника-экспериментатора даетъ творческому процессу опредѣленное направленіе и рѣзко выраженную "окраску", и явленія жизни, образы людей выходять изъ этой лабораторіи въ коренной переработкѣ, въ особомъ освѣщеніи. Тогда-то и получается столь извѣстный художественный эффектъ: образы и картины, строго говоря, не правдивы въ смыслѣ точнаго и разносторонняго изображенія дѣйствительности, но они по своему говорять намъ о дѣйствительности, о человѣкѣ, о человѣчествѣ ту грустную или страшную правду, которую не скажеть самое точное изображеніе ихъ.

II.

Эту страшную и грустную правду сразу схватилъ и понялъ Пушкинъ, когда Гоголь читалъ ему первые наброски "Мертвыхъ душъ".

Въ извъстныхъ "Письмахъ къ разнымъ лицамъ по поводу "Мертвыхъ душъ" Гоголь говоритъ объ этомъ такъ: "...когда я читалъ Пушкину первыя главы изъ "Мертвыхъ душъ", въ томъ видѣ, какъ онѣ были прежде, то Пушкинъ, который всегда смѣялся при моемъ чтеніи (онъ же былъ охотникъ до смѣха), началъ понемногу становиться все сумрачнѣе, сумрачнѣе, а наконецъ сдѣлался совсѣмъ мраченъ. Когда же чтеніе кончилось, онъ произнесъ голосомъ тоски: "Боже, какъ грустна наша Россія!" Меня это изумило. Пушкинъ, который такъ зналъ Россію, не замѣтилъ, что все это карикатура и моя собственная выдумка! Тутъ-то я увидѣлъ, что значитъ дѣло, взятое изъ души, и вообще душевная правда, и въ какомъ ужасающемъ для человѣка видѣ можетъ быть ему представлена тьма и пугающее отсутствіе

свтта 1). Съ этихъ поръ я уже сталъ думать только о томъ, какъ бы смягчить то тягостное впечатлѣніе, которое могли произвести "Мертвыя души" (Сочин. Гоголя подъ редакціей Н. С. Тихонравова, 1889 г., т. IV, стр. 88—89). 2).

Приведенное свидътельство Гоголя весьма характерно, какъ для него самого, такъ и для того художественнаго метода, однимъ изъ величайшихъ представителей котораго онъ является.

Для самого Гоголя здѣсь характерны сбивчивость и неясность рефлектирующей мысли художника, т. е. пониманія путей и пріемовъ собственнаго творчества. Объ этой сторонѣ ума Гоголя у насъ будетъ рѣчь въ дальнѣйшемъ. Здѣсь же постараемся извлечь изъ приведеннаго отрывка то, что относится къ сейчасъ занимающему насъ вопросу о различіи между наблюденіемъ и опытомъ въ искусствѣ, между душевнымъ складомъ художника-экспериментатора.

Отрывокъ, въ согласіи съ показаніемъ Смирновой, прежде всего устанавливаетъ историческій фактъ, представляющій высокій интересъ какъ историко-литературный, такъ и психологическій.

Пушкинъ, художникъ-наблюдатель по преимуществу,



⁴⁾ Курсивъ Гоголя.

²⁾ Въ "Запискахъ" Смирновой этотъ (или, м. б., другой) эпизодъ разсказанъ такъ: "Пушкинъ приказалъ хохлу, всегда неподатливому, когда онъ долженъ читать, принести рукопись начала его романа "Мертвыя души". Пока онъ читалъ, Пушкинъ, по своей привычкъ, ходилъ взадъ и впередъ по комнатъ. Наконецъ, онъ остановился передъ Гоголемъ, положилъ ему объ руки на плечи, долго смотрълъ на него и сказалъ ему: "Умница!", затъмъ поцъловалъ его въ лобъ въ знакъ одобренія. Потомъ онъ снова заходилъ по комнатъ, подошелъ ко мнъ и сказалъ: "Невеселая штука—Россія!" Надъ нъкоторыми сценами онъ отъ всей души хохоталъ, потомъ сдълался чрезвычайно задумчивъ и, наконецъ, сказалъ Жуковскому: "А маленькій-то хохолъ, каковъ?" ("Засиски А. О. Смирновой", часть 1, стр. 313).

сразу поняль, прочувствоваль и оцениль тоть, вероятно, еще далеко несовершенный, но, безъ сомивнія, уже геніальный эксперименть, который быль сделань Гоголемь въ первомъ наброскъ "Мертвыхъ душъ". И, конечно, при всемъ несовершенствъ это не была "карикатура и выдумка", какъ выражается Гоголь въ приведенномъ отрывкъ. Если бы это была "карикатура и выдумка", Пушкинъ продолжалъ бы смѣяться. Но великому художнику-наблюдателю было не до смъха, онъ, съ его изумительнымъ даромъ пониманія, хорошо поняль всю глубину захвата, всю обнаженную правду того, что читалъ ему великій художникъ-экспериментаторъ. Мрачное настроеніе Пушкина, эти, сказанныя "голосомъ тоски", слова его: "Боже, какъ грустна наша Россія!"-служать наилучшимъ доказательствомъ того, что опытъ быль поставленъ правильно, что-при всъхъ недостаткахъ первоначальнаго исполненія-онъ являлся настоящимъ откровеніемъ, новымъ словомъ въ русскомъ искусствъ и русскомъ самосознаніи.

Опыть быль проведень смело и резко. Непосредственно передь вышеприведенной выдержкой о Пушкине Гоголь говорить: "Если бы кто видель те чудовища, которыя выходили изъ-подъ пера моего вначале для меня самого, онь бы, точно, содрогнулся". И самый эпизодъ о Пушкине приводится какъ подтверждение этого. Но, очевидно, эти "чудовища" не были какіе-нибудь невероятные злодей,—это были все те же Чичиковы, Маниловы, Ноздревы, Собакевичи, только резче очерченные, боле безнадежно-пошлые, еще не подвергшіеся тому "смягченію", о которомъ говорить Гоголь ниже. Угнетающимъ образомъ действоваль результать опыта,—добытая имъ правда о пошломъ человеке, картина русской жизни, полной "тьмы", "пугающее отсутствіе света".

Конечно, Пушкинъ и безъ Гоголя отлично зналъ, какъ много на Руси пошлости и тъмы, но онъ не реагировалъ на это такъ, какъ реагировалъ Гоголь. Это обусловливалось всею натурой Пушкина и его художественнымъ геніемъ.

Душа, открытая всёмъ впечатлёніямъ и всёмъ сочувствіямъ, любознательный и воспріимчивый умъ, разносторонность натуры, живой интересъ къ дёйствительности въ многообразныхъ ея проявленіяхъ—таковы тё особенности душевной организаціи, въ силу которыхъ Пушкинъ былъ въ искусстве художникомъ-наблюдателемъ и вмёсте мыслителемъ, а въ жизни—мыслящимъ и передовымъ человекомъ, откликавшимся на всё важнейшіе интересы и запросы времени. Онъ бодро и сочувственно, съ заинтересованнымъ вниманіемъ, смотрёлъ на Божій міръ и, наблюдая людей и жизнь, почти не заглядывалъ, разве урывками и случайно, въ свою собственную душу. Онъ не думалъ о себе, какъ не думаетъ о себе естествоиспытатель, наблюдая природу.

Художникъ такого пошиба, несмотря на всю отзывчивость, какая ему свойственна, и на всю глубину его захвата, не можеть, забывь объ остальномь, сосредоточиться исключительно на созерцаніи одной какой-либо стороны жизни; въ особенности чужды ему тв настроенія, которыя заставляли бы его реагировать на тьму и пошлость жизни такъ, чтобы стать нечувствительнымъ или не слишкомъ воспріимчивымъ къ другимъ впечатлъніямъ. Мало того: не только въ самой дъйствительности ("въ натуръ"), но даже въ геніальномъ изображении Грибовдова пошлость и тьма русской жизни не могли привести Пушкина въ то мрачное настроеніе, о какомъ говорить Гоголь. Къ этой сторонъ жизни и человъка Пушкинъ, геній жизнерадостный и уравновъшенный, не быль болюзненно-воспріимчивъ. Онъ понималь ее умомъ и отзывался на нее легкимъ юморомъ или мимолетною грустью (какъ, напр., въ, Евгеніи Онфгинф"). И только когда великій магь и волшебникь экспериментальнаго творчества показалъ ему въ сгущенномъ видъ тьму и пошлость русской жизни, онъ впервые содрогнулся передъ этимъ зловъщимъ призракомъ и реагировалъ на него уже не юморомъ и грустью, а глубокою скорбью.

Художникъ-экспериментаторъ, которому удалось про-

извести такой эффектъ, по самой натуръ своей представлялъ прямую противоположность Пушкину.

Сосредоточенный и замкнутый въ себъ, не экспансивный, склонный къ самоанализу и самобичеванію, предрасположенный къ меланхоліи и мизантропіи, натура неуравновъшенная, Гоголь смотрёль на Божій мірь сквозь призму своихъ настроеній, большею частью очень сложныхъ и психологически-темныхъ, и виделъ ярко и въ увеличенномъ масштабъ преимущественно все темное, мелкое, узкое въ человъкъ. Кое-что изъ этого порядка отрицательныхъ явленій онъ усматриваль и въ себъ самомъ, -- и тымъ живъе и болъзненнъе отзывался онъ на эти впечатлънія, идущія отъ другихъ, отъ окружающей среды. Онъ изучаль себъ, ихъ одновременно и въ H ВЪ другихъ. Находя "мерзости", въ себъ нъкоторые недостатки или онъ выражается, онъ ихъ приписывалъ своимъ героямъ; а съ другой стороны, чужія "мерзости", изображенныя въ герояхъ, онъ сперва, такъ сказать, примерялъ къ себе, навязываль себъ, чтобы лучше вглядъться въ нихъ и глубже постичь ихъ психологическую природу. Это были своеобразные пріемы экспериментальнаго метода въ искусствъ. Присмотримся къ нимъ ближе и прежде всего послушаемъ, что говорить о нихъ самъ Гоголь.

"Во мив не было какого-нибудь одного слишкомъ сильнаго порока... но зато, вмвсто того, во мив заключалось собраніе всвхъ возможныхъ гадостей, каждой понемногу, и при томъ въ такомъ множествв, въ какомъ я еще не встрвчаль доселв ни въ одномъ человвкв. Богъ далъ мив многостороннюю природу. Онъ поселилъ мив также въ душу, уже отъ рожденія моего, нвсколько хорошихъ свойствъ; но лучшее изъ нихъ, за которое не умвю какъ возблагодарить Его, было желаніе быть лучшимъ..." 1). Далве говорится о томъ, что Богъ устроилъ такъ, что дурныя качества Гоголя открывались ему постепенно. И вотъ, "по мврв того какъ

⁴⁾ Курсивъ Гоголя.

они стали открываться, чуднымъ высшимъ внушеніемъ усиливалось во мнѣ желаніе избавляться отъ нихъ; необыкновеннымъ душевнымъ событіемъ я былъ наведенъ на то, чтобы передавать ихъ моимъ героямъ... Съ этихъ поръ я сталъ надѣлять своихъ героевъ, сверхъ ихъ собственныхъ гадостей, моею собственною дрянью. Вотъ какъ это дѣлалось: взявши дурное свойство мое, я преслѣдовалъ его въ другомъ званіи и на другомъ поприщѣ, старался себѣ изобразить его въ видѣ смертельнаго врага, нанесшаго мнѣ самое чувствительное оскорбленіе, преслѣдовалъ его злобою, насмѣшкою и всѣмъ, чѣмъ попало" (тамъ же стр. 87—88).

Ниже читаемъ: "Не думай однако же, послъ этой исповъди, чтобы я самъ былъ такой же уродъ, каковы мои герои. Нътъ, я не похожъ на нихъ. Я люблю добро, я ищу его и сгораю имъ; но я не люблю моихъ мерзостей и не держу ихъ руку, какъ мои герои... Я уже отъ многихъ своихъ гадостей избавился тъмъ, что передалъ ихъ своимъ героямъ, ихъ осмъялъ въ нихъ и заставилъ другихъ также надъ ними посмъяться..." (тамъ же стр. 91).

Это любопытное и важное свидетельство, какъ и многія другія въ письмахъ Гоголя, вызываеть некоторыя недоуменія, которыя нужно устранить, прежде чемь пользоваться имъ для психологіи великаго писателя. Письмо, откуда взяты приведенныя мъста, относится къ 1843 году, когда извъстная "перемвна" или "душевное разстройство" Гоголя довольно далеко подвинулось впередъ. Характеръ этого разстройства, если не ошибаюсь, далеко еще не выясненъ. Но въ немъ нельзя не замътить, между прочимъ, того, что можно назвать "нравственной ипохондріей": Гоголь явно преувеличивалъ недостатки своего характера и, кромъ того, усматривалъ въ себъ такіе, которыхъ совстить не было. Но, помимо разныхъ недостатковъ, дъйствительныхъ и мнимыхъ, едва ли не въ большей степени угнетало его присутствіе, обыкновенно не замъчаемое нами, того душевнаго сора и хлама, который годами накопляется во всякой душъ человъческой.

Вспомнимъ знаменитое мъсто въ VII-ой главъ "Мертвыхъ душъ", гдъ говорится о писатель, "дерзнувшемъ вызвать наружу все, что ежеминутно предъ очами и чего не зрятъ равнодушныя очи, всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодныхь, раздробленных, повседневных характеровъ... " Нътъ человъка, который не быль бы опутанъ "тиною мелочей повседневной жизни", нътъ такого характера и ума, который не быль бы или, по крайней мъръ, не казался "раздробленнымъ" соромъ жизни, хламомъ будней, накопляющимся годами, опошливающимъ и изнашивающимъ душу человъческую. Это опошливание или изнашивание души, это раздробленіе характера, замічаемое въ себі самомъ, причиняло Гоголю нестерпимую душевную боль. Въ его разгоряченномъ воображеніи все это принимало фантастическіе разміры. Это и была та "мерзость" и "дрянь" душевная, на борьбу съ которою онъ выступалъ какъ художникъ и какъ моралистъ. Исторію и психологію этой борьбы мы разсмотримъ въ особой главъ. Пока для насъ достаточно сдъланныхъ здъсь указаній, поясняющихъ вышеприведенную выдержку изъ "Писемъ по поводу "Мертвыхъ душъ". Процессъ художественнаго творчества, охарактеризованный въ этой выдержкв, представляеть намъ картину, можно сказать, діаметрально противоположную той, какую мы находимъ у Пушкина: выдъленіе, въ художественномъ опыть, извъстныхъ-отрицательныхъ-сторонъ жизни и души человъческой, изученіе ихъ въ себъ путемъ самоанализа, преувеличение ихъ значенія, бользненное реагированіе на нихъ, переходъ отъ самоанализма въ самобичеванію, жажда освободиться отъ нихъ, взглядь на художественное творчество какъ на путь къ этому освобожденію...

Но пойдемъ дальше. Художественные опыты въ указанномъ направлении Гоголь производилъ не только надъ собою, но и надъ другими. Это видно уже изъ того мъста, гдъ онъ говоритъ, что онъ надълялъ своихъ героевъ своею душевною "дрянью" — "сверх их собственных гадостей". Это поясняется нижеслёдующимь: "...для первой части поэмы требовались именно люди ничтожные. Эти ничтожные люди однако же ничуть не портреты съ ничтожных людей; напротивъ, въ нихъ собраны черты тёхъ, которые считаютъ себя лучшими другихъ, разумъется, только въ разжалованномъ видъ изъ генераловъ въ солдаты. Тутъ, кромъ моихъ собственныхъ, есть даже черты многихъ моихъ пріятелей, есть и твои 1). Мню необходимо было отобрать от всюх прекрасныхъ людей, которыхъ я зналъ, все пошлое и гадкое, что они захватили нечаянно, и возвратить ихъ законнымъ владъльцамъ..." (курсивъ мой) (тамъ же, стр. 89).

Эта сторона въ творчествъ Гоголя, сторона объективная, заслуживаетъ внимательнаго разсмотрънія. Что она имъла исихологическій смыслъ опыта, а не чистаго наблюденія, представляется несомнъннымъ. Гоголь и здъсь не просто наблюдалъ и созерцалъ, а мучительно реагировалъ, болгозненно отзывался, преувеличивалъ, перерабатывалъ изучаемыя стороны души человъческой.

Вопросъ этотъ тъснъйшимъ образомъ связывается съ другимъ—о личныхъ отношеніяхъ Гоголя къ знакомымъ и близкимъ, о странностяхъ и неровностяхъ въ его обхожденіи съ людьми, о разныхъ недоразумѣніяхъ, возникавшихъ на этой почвъ, наконецъ, о столь извъстномъ отсутствіи правдивости и простоты въ его поступкахъ, въ разговоръ, въ письмахъ. Мы здъсь не разсматриваемъ Гоголя какъ человъка, и потому не можемъ вдаваться въ подробности вопроса о его характеръ; но такъ какъ, по нашему мнънію нъкоторыя черты характера Гоголя связаны съ его художественнымъ методомъ, раскрытію котораго посвящена эта



¹) Адресатъ письма неизвъстенъ.—Н. С. Тихонравовъ предполагаетъ, впрочемъ, что всѣ 4 отрывка могли и не быть письмами, раньше написанными къ извъстнымъ лицамъ, а "относятся къ числу тъхъ немногихъ статей, которыя были прибавлены къ "Перепискъ съ друзьями" (Соч. Гог. т. IV, стр. 521).

статья, то необходимо отметить здесь эти черты. Сюда прежде всего относится извёстная склонность Гоголя скрытничать, симулировать, мистифицировать. Напомнимъ показаніе весьма авторитетнаго свидітеля, гласящее, что "Гоголь быль не лгунь, а выдумщикь, и всегда готовь быль сочинить цёлую сказку, чтобъ отдёлаться какъ-нибудь отъ скучныхъ или непріятныхъ вопросовъ". (См. примъчанія Тихонравова во ІІ-мъ томѣ сочин. Гоголя, изд. 1889 г., стр. 649). Этоть отзывь принадлежить С. Т. Аксакову, который такъ хорошо зналь Гоголя какъ человъка, и раньше и лучше многихъ понялъ и оценилъ его какъ художника. Въ высокой степени пънны для насъ также слъдующія слова С. Т. Аксакова (въ его извъстной "Исторіи моего знакомства съ Гоголемъ", напечатанной въ "Русск. Архивъ" 1890 года): "... объясняя себъ поступки Гоголя его природною скрытностью и замкнутостью, его правилами, принятыми сыздътства, что иногда должно не только не говорить настоящей правды людямъ, но и выдумывать всякій вэдоръ для скрытія истины, я старался успоконть другихъ моими объясненіями. Я приписываль скрытность и даже какую-нибудь пустую ложь, которую употребляль иногда Гоголь, когда его уличали въ неискренности, единственно странности его характера и его разсъяниссти... Впрочемъ, я долженъ сказать, что странности Гоголя иногда были необъяснимы и остались навсегда для меня загадками... Мнъ приходилось объяснять самому себъ поступки Гоголя точно такъ, какъ я объясняль ихъ другимъ, т. е., что мы не можемъ судить Гоголя по себъ, даже не можемъ понимать его впечатлъній, потому что, въроятно, весь организмъ его устроенъ какънибудь иначе, чъмъ у насъ; что нервы его, можетъ быть, во сто разъ тоньше нашихъ: слышатъ то, чего мы не слышимъ, и содрогаются отъ причинъ намъ неизвъстныхъ" ("Исторія моего знакомства съ Гоголемъ", стр. 54).

И дъйствительно, нервная и душевная организація этого необыкновеннаго человъка представляла собою крайне чув-

ствительный аппарать, деятельность котораго приводила къ тому, что Гоголь въ своихъ отношеніяхъ къ людямъ поневоль оказывался человькомь двойственнымь и вель, такъ сказать, двойную бухгалтерію: короткое знакомство, добрыя отношенія, уваженіе, дружба и т. д., связывавшія его со многими, осложнялись, отравлялись и портились преувеличенною, бользненною чувствительностью Гоголя къ "оборотной сторонъ корошаго человъка, ко всему мелкому, узкому и пошлому, что, въ той или иной мъръ, свойственно всякой душт человтческой. Гоголь могъ любить, уважать и цтнить того или другого изъ близкихъ къ нему людей, хорошо зная его добрыя качества, умъ, честность и проч.; но вмёстё съ тъмъ онъ упорно и пристально, точно пригвожденный, всматривался въ оборотную сторону хорошаго человъка, и вотъ рядомъ съ этимъ человѣкомъ вырасталъ другой, его двойникъ, составленный изъ его пошлыхъ чертъ, изъ хлама и сора его души. Этотъ фантомъ становился между хорошимъ человакомъ и Гоголемъ и путалъ ихъ отношенія, нарушалъ ихъ простоту и искренность, но зато онъ же очень помогалъ художнику, служа ему "моделью" и "натурою"...

Оборотную сторону души человъческой, пошлаго человъча въ хорошемъ, Гоголь видълъ сквозь самый толстый слой разныхъ добродътелей, сквозь непроницаемую броню всевозможныхъ высокихъ качествъ, какъ показныхъ, такъ и дъйствительныхъ. И потому-то такъ часто люди бывали ему противны, какъ и самъ онъ бывалъ противенъ себъ. Съ годами, съ развитіемъ его душевнаго разстройства, эта сторона въ немъ разрасталась въ презръніе къ людямъ, въ мизантропію,—настроенія, крайне тягостныя для натуры геніально художественной, глубоко гуманной и съ серьезными задатками моральныхъ стремленій.

Выдъленіе "оборотной стороны" хорошаго человъка и созданіе "двойниковъ", о которыхъ мы только что говорили, было художественнымъ экспериментомъ, на добрую долю непроизвольнымъ и безсознательнымъ: Гоголь не могъ не дъ-

лать этого и самъ не замѣчалъ, какъ это дѣлалось. Но разъ двойникъ былъ готовъ, Гоголь нерѣдко производилъ надъ нимъ уже сознательные и преднамѣренные опыты.

Экспериментирование надъ человъкомъ было у Гоголя коренною, органическою чертой ума и натуры. Нарочито сказать то или другое или поступить такъ или иначе-съ цълью посмотръть, какъ это отразится, что отвътить или сдалаеть экспериментируемый субъекть, — это было, можно сказать, любимымъ занятіемъ Гоголя, — и самъ онъ порою склоненъ былъ смотръть какъ на "опытъ" даже на тъ поступки свои, которые, по первоначальному замыслу, могли и не быть таковыми. Такъ, напримъръ, въ томъ же письмъ по поводу "Мертвыхъ душъ", откуда мы взяли вышеприведенныя выдержки, онъ между прочимъ рить, что ему "хотьлось попробовать, что скажеть вообще русскій человікь, если его попотчуещь его же собственною пошлостью" (Соч. Гог. 1889, ІУ, стр. 89). Въ шисьмахъ Гоголя встръчаются указанія на то, что онъ неръдко говориль другимь разныя непріятности и даже устраиваль ссору, съ цёлью заставить ихъ высказаться. Такъ напр., въ письмъ къ Балабиной (отъ 7 ноября 1838 г.) онъ говорить: "Когда я быль въ школь и быль юношей, я быль очень самолюбивъ...; мнъ хотълось смертельно знать, что обо мит говорять и думають другіе. Мит казалось, что все то, что мив говорили, было не то, что обо мив думали. Я нарочно старался завести ссору съ моимъ товарищемъ, и тотъ натурально въ сердцахъ высказывалъ мнъ все то, что во мнъ было дурного. Мнъ этого было только и нужно"... Къ такому маневру прибъгалъ Гоголь и впоследствіи. Въ письме къ Шевыреву отъ 14 декабря 1844 г. онъ признается, что "иногда нарочно сердилъ" Погодина "только затъмъ, чтобы узнать, что онъ обо мнъ думаетъ". Въ томъ и другомъ мъстъ по этому поводу высказывается мысль, что люди говорять правду только тогда, когда они раздражены, разсержены ("только разсердившись, говорится

правда"—въ письмъ 7 ноября 1838 г.).—Къ этой мысли возвращается Гоголь, говоря о различныхъ недоумъніяхъ, вызванныхъ его книгою "Выбранныя мъста изъ переписки съ друзьями". Такъ, въ письмъ къ Шевыреву отъ 10 марта 1847 г. читаемъ: "...эта разность, дикость и заносчивость многаго въ моей книге расшевелить и заденеть за живое многихъ умныхъ людей. Что же делать, если такова натура русскаго человъка, что его не заставишь до тъхъ поръ говорить, покуда не выведешь его изъ терпънія, зацъпя за самую живую струну. Повърь, что безъ этой книги мнъ бы не узнать всего того, что мнв необходимо знать для того, чтобы мои "Мертвыя души" вышли то, чвмъ имъ следуетъ быть". Такимъ образомъ, изданіе "Выбранныхъ мѣстъ" представляется самимъ Гоголемъ какъ своего рода экспериментъ художника, произведенный надъ русскимъ обществомъ. Первоначальное побуждение могло быть и, въроятно, было иное: Гоголь просто хотълъ поучать, морализировать. Но, разъ дъло было сдълано, и книга произвела столь извъстное - отрицательное-впечатление на общество, Гоголь самъ сталъ смотръть на это предпріятіе какъ на родъ опыта и прислушивался къ отзывамъ о книгъ и различнымъ толкамъ о ея авторы-какъ эскпериментаторъ, который хочетъ такимъ путемъ узнать людей да кстати провърить и себя самого. Въ письмахъ 1847 года мы часто встръчаемъ настойчивыя просьбы сообщать ему все, что говорять и пишуть о книгв и о немъ. Въ томъ же письмъ къ Шевыреву читаемъ: "Передавай самыя жесткія, самыя язвительныя слова. Говорю теб'в истиню, что отъ всего этого такая польза уму, сердцу и душт моей, какъ ты и представить себъ не сумъешь... Проси и другихъ записывать въ простотв и безхитростно всв слова, какія ни услышатъ, именно, какъ ихъ услышатъ"... Нъсколько раньше, Гоголь, по тому же поводу, писалъ С. Т. Аксакову: "На книгу мою нападуть со всъхъ угловъ, со всъхъ сторонъ и во всёхъ возможныхъ отношеніяхъ. Эти нападенія мив теперь слишкомъ нужны; они покажуть мнв болве меня самого и

покажуть мнв вь то же время вась, то-есть моихь читателей. Не увидъвши яснъе, что такое въ настоящую минуту я самъ и что такое мои читатели, я быль бы въ решительной невозможности сдёлать дёльно свое дёло" (письмо отъ 20 янв. н. ст. 1847 года). Одно помышление о томъ, съ какимъ неприличіемъ и самоувъренностью сказано въ ней (въ книгъ "Выбранныя мъста") многое (читаемъ въ письмъ къ кн. Львову, отъ 20 марта 1847 г.), заставляетъ меня горъть со стыда... Стыдъ этотъ мив нуженъ. Не появись моя книга, мнъ бы не было и въ половину извъстно мое состояние душевное"...—Въ письмъ къ Плетневу (отъ 17 апръля 1847 г.) находимъ следующее, характерное для Гоголя, заявленіе: "Повърь, что безъ этой книги не было бы на чемъ испробовать нынтиняго человтка 1). А проба эта нужна, и въ этомъ отношении книга моя, несмотря на всв ся недостатки,сокровище. Ты самъ это испытаешь, если будешь на ней пробовать 1) человъка. Онъ отъ тебя не скроется въ своихъ сокровенныхъ и гларнъйшихъ помышленіяхъ, и состояніе души его выступить передъ тобою какъ разъ"... То же самое говорить онъ и въ письмъ къ Смирновой (20 апр. 1847): "Замътили ли вы необыкновенное свойство моей книги... служить пробнымь камнемь для узнанія ныньшняго человтока? 1) Въ сужденіяхъ своихъ о ней обнаружится предъ вами весь человъкъ, даже позабывши свою осторожность, Это весьма не бездълица для писателя, а особливо такого, для котораго предметомъ сталъ не шутя человъкъ и душа человтка" 1). Приведемъ еще такое мъсто изъ письма къ Шевыреву (27 апр. 1847 г.): "Книга имбетъ свойство пробнаго камня: повърь, что на ней испробуешь какъ разъ нынъшняго человъка. Въ сужденіяхъ о ней непремънно выскажется человъкъ, со всъми своими помышленіями, даже тъми, которыя онъ осторожно таить отъ всехъ, и вдругъ станетъ видно, на какой степени своего душевнаго состоянія стоить

⁴⁾ Курсивъ мой.,

онъ. Вотъ почему мнъ такъ хочется собрать всъ толки всъхъ о моей книгъ".

Нельзя сомнъваться въ искренности этихъ заявленій: слишкомъ часто повторяются они, и по всему видно, что эта мысль глубоко засъла въ умъ Гоголя.

Характерны и слъдующія строчки того же письма: "Хорошо бы прилагать при всякомъ мнѣнін портретъ 1) того лица, которому мнѣніе принадлежить, если лицо мнѣ незнакомо. Повърь, что мнѣ нужно основательно и радикально пощупать общество".

Эти выдержки рисують намь Гоголя, какь экспериментатора души человъческой. Онъ ее изследоваль (всегда ли сь успахомъ. — это другой вопрось) этими экспериментальными пріемами съ двоякою пілью: моральною й художественною. И любопытно, что чтмъ больше овладввали имъ стремленія моральныя, тімь живію сказывались и настойчивъе заявляли о себъ и его чисто-художественные интересы. Этика и искусство шли у него объ руку, не мъшая другъ другу. Подтвержденія этому мы дадимъ въ дальнъйшемъ. Здъсь же укажу только на тъ мъста его писемъ, гдъ онъ просить сообщать ему всякія подробности, разныя мелочи жизни и обстановки, характеристики ("портреты") лицъ и отмъчать черты типическія. Такъ, напримъръ, въ письмъ къ Смирновой (отъ 27 янв. 1846 г.) онъ говоритъ: "Въ душъ и сердцъ человъческомъ столько есть неуловимыхъ оттънковъ и излучинъ, что всякій день могутъ случиться открытія и откровенія... Опредалите мна характеры всахъ находящихся въ Калугъ; не пропускайте мелочей и подробностей. Вы знаете, что я до нихъ охотникъ и что по нимъ миъ удавалось узнать многое, многое въ человъкъ, вовсе не мелочное, котораго иногда онъ не только не открываетъ другимъ, но и самъ не знаетъ".--Въ другомъ письмъ онъ проситъ Смирнову набрасывать для него очерки провинціальных ти-

¹⁾ Т.-е. характеристику.

повъ. "Напримъръ, выставьте сегодня заглавіе: городская львица, и, взявши одну изъ нихъ, такую, которая можетъ быть представительницею всвхъ провинціальныхъ львицъ, опишите мит ее со встми ухватками-и какъ садится, и какъ говорить, и въ какихъ платьяхъ ходить, и какого рода львамъ кружить голову, - словомъ, личный портретъ во всёхъ подробностяхъ. Потомъ завтра выставьте заглавіе: Непонятая женщина, и опишите мнв такимъ же образомъ непонятую женщину. Потомъ: городская добродътельная женщина; потомъ: честный взяточникъ; потомъ левъ". (Пис. 22 фев. 1847). — Съ такою же просьбою обращается онъ къ А. С. Данилевскому и его женъ (письмо отъ 18 марта 1847 г.), жившимъ въ Кіевъ. "Эти бъглые наброски съ натуры, -- говорить онъ, -- мив теперь такъ нужны, какъ живописцу, который пишеть большую картину, нужны этюды. Онъ хоть, повидимому, и не вносить этихъ этюдовъ въ свою картину, но безпрестанно соображается съ ними, чтобы не напутать, не наврать и не отдалиться отъ природы".

Во всемъ этомъ ярко сказывается уже не моралистъ, а художникъ. Всв эти характеристики провинціальныхъ типовъ, эти наброски съ натуры, а также и разныя подробности и мелочи житейскаго обихода нужны были Гоголю именно какъ художнику-реалисту. Но не следуеть заключать отсюда, чтобы онъ въ этомъ случав преследоваль задачу широкаго и разносторонняго бытописанія. Ніть, онъ не задавался цълью описывать жизнь людей и изображать общество того времени такъ, чтобы вышла правдивая, исчерпывающая картина дъйствительности. Онъ хотълъ только, чтобы тъ образы, которые онъ создаетъ, были взяты изъ жизни, пріурочены къ мъсту и времени и производили иллюзію живыхъ людей, живьемъ выхваченныхъ изъ действительности. Объ этомъ свидательствуютъ сладующія маста изъ писемъ: "Не будутъ живы мои образы, если я не сострою ихъ изъ нашего матеріала, изъ нашей земли, такъ что всякъ почувствуетъ, что это изъ его же тъла взято" (Письмо къ Смирновой отъ

22 февр. 1847 г.). "Моя поэма, можеть быть, очень нужная и очень полезная вещь, потому что никакая проповёдь не въ силахъ такъ подёйствовать, какъ рядъ живыхъ примпъровъ, взятыхъ изъ той же земли, изъ того же тёла, изъ котораго и мы" (Письмо къ Данилевскому и его женѣ, отъ 18 марта 1847 г.).—Тутъ же находимъ характерныя слова: "...мнъ теперь очень нуженъ русскій человѣкъ, вездѣ, гдѣ бы онъ ни находился, въ какомъ бы званіи и сословіи онъ ни быль".

Предметомъ, на которомъ сосредоточивались художественные и иные интересы Гоголя, былъ именно русскій человикъ, психологія русскаго человика, а не русская жизнь въ ен цъломъ, въ ен statu quo и ен движеніи. Гоголь былъ по пре-имуществу художникъ-психологъ, какъ это вообще свойственно художникамъ экспериментаторамъ. Какъ человѣкъ и какъ моралистъ, онъ былъ весь погруженъ въ тѣ вопросы, которые онъ обозначаетъ терминомъ "душевное дѣло". Оно же составляло и объектъ его художественныхъ изысканій.

Здёсь-то и выступаль онъ какъ экспериментаторъ.

Прочтемъ слъдующія строки изъ письма къ Плетневу отъ 5 янв. н. с. 1847 г.: "Драгодънный даръ слышать душу 1) человъка мнъ уже быль издавна дарованъ Богомъ, и въ неразвитомъ своемъ состояніи онъ уже руководилъ меня въ разговорахъ съ людьми 1), и передо мною сами собой отдълялись звуки истинныхъ словъ отъ звуковъ фальшивыхъ въ одномъ и томъ же человъкъ. Поэтому я весьма рано сталъ примъчать, что есть дурного въ хорошемъ человъкъ и что есть хорошаго въ дурномъ человъкъ. Ко мнъ становился человъкъ вовсе не тою стороною, какою онъ самъ хотклъ стать предо мною; онъ остановился противовольно той стороной своей, которую мнъ любопытно было узнать въ немъ, такъ что онъ иногда, самъ не зная какъ, обнаруживалъ себя предо мною больше, чъмъ онъ самъ себя зналъ".

¹⁾ Курсивъ мой.

Здесь-то и следуеть искать главную причину техъ недоразумъній, какія такъ часто возникали между Гоголемъ и его друзьями. Аксаковы, Погодинъ, Шевыревъ, Плетневъ и другіе относились къ нему просто, душевно и бережно (даже Погодинъ, несмотря на недостатокъ деликатности и подчасъ грубоватость, впрочемъ, благодушную), ценя въ немъ великаго писателя, надежду и гордость Россіи. Съ своей стороны и онъ хотель бы относиться къ нимъ такъ же просто и душевно, -- и порою это и удавалось ему. Но онъ не въ силахъ былъ выдержать эту роль до конца: онъ невольно становился въ положение изсибдователя чужой души человъческой, какъ всегда былъ изслъдователемъ своей, - его друзья превращались въ объекты этихъ изысканій, —и простыя отношенія по необходимости осложнялись и портились. Нельзя безнаказанно копаться подолгу и слишкомъ усердно ни въ своей, ни въ чужой душъ: непремънно опротивишь самъ себъ и другіе тебъ опротивять. И я думаю, что, помимо всего прочаго, душевное разстройство Гоголя отчасти связывалось и съ этимъ въчнымъ самоанализомъ и экспериментированіемъ надъ другими. Характерная въ этомъ отношеніи фраза вырвалась у него въ одномъ письмъ къ Смирновой (отъ 4 іюня 1845 г.): "Не страдая теперь ни одной душевной бользнью, происходящею оть моихь отношеній и положеній къ людямъ... 1) я страдаю весь душою отъ страданій моего тыла, и душа изнываеть вся отъ страшной хандры..."-Болье всего, какъ говорится, "возились" съ Гоголемъ и баловали его Аксаковы, въ особенности Сергъй Тимоееевичъ: въ ихъ домѣ Гоголь былъ принятъ какъ родной, — онъ неизмънно встръчаль здъсь такую ласку, такое участіе, такое снисхожденіе ко всемъ его слабостямъ и странностямъ, что, казалось бы, здёсь-то Гоголь и долженъ былъ бы отдыхать душою и находить убъжище отъ обуре-

⁴) Курсивъ мой.

вавшихъ его тревогъ душевныхъ. Однако же оказывается, что для Гоголя радушіе и ласка Аксаковыхъ были тягостны и оказывали на него далеко не благотворное дъйствіе. Онърѣшительно не могъ долго выносить той любви и того обожанія, какія онъ встрічаль въ семьй Аксаковыхъ. И воть что писаль онь объ этомъ Смирновой (въ письмъ отъ 20 мая 1847 г.): "Хотя я очень уважаль старика 1) и добрую жену его за ихъ доброту, любилъ ихъ сына ²) за его юношеское увлеченіе, рожденное отъ чистаго источника, несмотря на неумъренное, излишнее выражение его; но я всегда однако же держаль себя вдали отъ нихъ. Бывая у нихъ, я почти никогда не говорилъ ничего о себъ; я старался даже вообще сколько можно меньше говорить и выказывать такія качества, которыми бы могь привязать ихъ къ себъ. Я видъль съ самаго начала, что они способны залюбить не на животь, а на смерть... в) Словомь, я бъжаль оть ихъ любви"...

Здъсь необходимо маленькое отступленіе.

Было бы большой ошибкой—основывать на данныхъ этого рода (ихъ найдется не мало) сужденіе о Гоголь, какъ о человькь сухомъ, холодномъ, неблагодарномъ, недобромъ. Онъ былъ человькъ несомнънно добрый, но недобродушный. Чувство благодарности было, конечно, вполнъ доступно ему, и онъ не разъ испытывалъ его, но случалось, что онъ поступалъ такъ, какъ можетъ поступать только неблагодарный. Здъсь мы встръчаемся съ неразръшимымъ, повидимому, противоръчіемъ въ характеръ этого загадочнаго человъка, какихъ не мало мы встрътимъ въ дальнъйшемъ. Въ данномъ случаъ относительная холодность и, пожалуй, родъ невольной неблагодарности Гоголя въ отношеніи къ Аксаковымъ отчасти объясняются тъмъ, что избытокъ восторговъ и обожа-

⁴⁾ Сергъя Тимоееевича.

²) Константина Сергъевича.

³⁾ Курсивъ мой.

нія быль для Гоголя въ данное время (1842—1847) тягостнымъ и досаднымъ осложненіемъ и безъ того трудной внутренней работы, которая въ немъ совершалась. Посвятить Аксаковыхъ въ ходъ этой внутренней работы онъ не могъ, потому что зналъ, что они не поймутъ ея такъ, какъ хотълось бы ему.

Попробуемъ представить себь эту замкнутую натуру, переживающую тяжелый душевный кризись, этотъ умъ, цъликомъ углубленный въ ръшеніе мудреной задачи, слагавшейся изъ своеобразно и нераціонально поставленныхъ вопросовъ моральнаго и религіознаго самосознанія; вспомнимъ о бользненномъ, можетъ быть, психопатологическомъ укладъ натуры великаго человъка; наконецъ, не будемъ забывать, что въ самомъ разгаръ этого броженія души, этого разброда и конфликта душевныхъ силъ и стремленій совершалась геніальная работа художника,—и тогда мы поймемъ, какъ бользненно должна была содрогаться и сжиматься душа этого страдальца отъ шума восторговъ, казавшихся ему излишними, отъ похвалъ, ему ненужныхъ, отъ всякаго неосторожнаго прикосновенія, отъ всякой попытки заглянуть въ его внутренній міръ.

Вотъ что скрывается подъ вышеприведенными словами Гоголя: "...они (Аксаковы) способны залюбить не на животъ, а на смерть..."

И онъ "бѣжалъ отъ ихъ любви". "Бѣгство" отъ любви такихъ на рѣдкость хорошихъ, искреннихъ, умныхъ и даровитыхъ людей, какъ Аксаковы, — это фактъ, наглядно обрисовывающій всю глубину наболѣвшей потребности Гоголя оставаться замкнутымъ въ себѣ—такъ, чтобы ничто не нарушало тайнаго развитія его внутренней драмы, затаеннаго назрѣванія его душевныхъ мукъ...

Мы имвемъ здвсь возможность, употребляя его же выраженіе, "услышать его душу". Попробуемъ не только "услышать", но и понять, объяснить ее Для этого необходимо сперва разгадать умю Гоголя, опредвлить его характеръ и особенности, Мы назвали этотъ умъ огромнымъ, но темнымъ; это требуетъ обоснованія и поясненія, чѣмъ мы и займемся въ слѣдующей главѣ, гдѣ, слѣдуя нашему плану, мы сопоставимъ умъ Гоголя съ умомъ Пушкина—огромнымъ и свѣтлымъ.

ГЛАВА ІІ.

Гоголь какъ умъ.

Ι

Въ числъ тъхъ противоръчій, которыми изобиловала душевная организація Гоголя, было и слъдующее, принадлежащее къ сферъ его мышленія: съ одной стороны мы видимъ въ его жизни и дъятельности упорную, можно сказать, неустанную ((за вычетомъ тъхъ перерывовъ, которые обусловливались обостреніемъ болъзни) работу ума, съ другой же—ясно улавливаемъ всъ признаки умственной лъни. Какъ человъкъ мыслящій, работающій головою, Гоголь былъ, если можно такъ выразиться, "трудолюбивый лънивецъ".

Несовивстимость или, лучше, непримиримость этихъ терминовъ—только логическая. Психологически же, т.-е. въ организаціи и двятельности ума, эти противорвчія весьма часто совміщаются и даже примиряются, такъ что нерідко бываеть очень трудно разобрать, гді кончается трудолюбіе ума и гді начинается его лінь. Можно даже утверждать, что это противорічіе вытекаеть изъ основныхъ свойствъ ума человіческаго, изъ тіхъ психологическихъ особенностей, которыми сфера мысли отличается отъ другихъ сферъ пси-

хики,—отъ чувства и воли. По самой природъ своей умъ, въ противоположность чувству, есть въчный работникъ: нашъ умъ не перестаетъ дъйствовать ни на секунду,—онъ работаетъ даже во снъ, и только смерть прекращаетъ его неугомонную дъятельность. Эта послъдняя совершается, какъ извъстно, двояко: сознательно и безсознательно. Ослабленіе или заторможеніе сознательной дъятельности (напр., во снъ, въ обморокъ) не устраняетъ работы безсознательной. Умъ работаетъ съ неустанностью заведенныхъ часовъ.

Но этогъ въчный труженикъ сплошь и рядомъ оказывается порядочнымъ лентяемъ. Умъ, по самой природе своей, не можеть не работать, но ему зачастую трудно и нежелательно мінять направленіе и ходъ своей работы, сворачивать съ одной дороги на другую, расширять свой кругозоръ пріобретать новые интересы, обращаться къ новому матеріалу, а все это бываеть безусловно-необходимо для усп'вшности самой работы. Всякій изъ насъ по собственному опыту и по наблюденіямъ надъ другими хорошо знаетъ эту прирожденную неповоротливость ума человъческаго, въ дъятельности котораго такъ ясно проявляются черты шаблонности и склонность къ автоматизму. Вы привыкли, напр., отъ такого-то часа до такого-то заниматься известнымъ деломъ требующимъ некотораго напряженія мысли. Попробуйте вдругъ нарушить этотъ порядокъ, -- перенести данную работу на другіе часы или замінить ее другою, —и вы сейчась же почувствуете умственныя неудобства этой перемёны, -- ваша работа не будеть идти такъ легко и скоро, какъ прежде, пока вашъ умъ не усвоитъ новой привычки. Нарушеніе порядка и характера работы ученаго, установившагося художника, писателя причиняеть ему настоящія страданія.

Гораздо важнѣе другое слѣдствіе или выраженіе той же основной психологической черты, той же шаблонности нашего мышленія: я разумѣю здѣсь все то, что можетъ быть подведено подъ понятіе консервативности ума человѣческаго. Достаточно извѣстно, какъ легко успокаивается онъ на привычныхъ формахъ мышленія, на усвоенной системѣ воззрѣній, на традиціонныхъ понятіяхъ и какъ неохотно приступаетъ онъ къ критическому пересмотру своего достоянія. Даже убѣдившись въ негодности или недостаточности тѣхъ или другихъ усвоенныхъ формъ мысли, умъ человѣческій не хочетъ разстаться съ ними и упорно держится ихъ—по привычкѣ, по традиціи, т.-е., собственно говоря, потому, что ему удобнѣе орудовать ими, чѣмъ другими, новыми, къ которымъ онъ еще не приспособился. А усвоить новыя и построить новую систему воззрѣній—это требуетъ труда и новаго навыка. И отъ этой работы умъ, если можно, уклоняется...

Бываютъ счастливо - организованные умы, одаренные исключительною гибкостью и ръдкою широтой умственныхъ интересовъ, открытые всъмъ впечатлъніямъ и возбужденіямъ мышленія, — умы, которые радостно и бодро идутъ впередъ вмъстъ [съ человъчествомъ. Таковъ былъ, напр., Гёте... У насъ къ этому умственному типу, несомнънно, принадлежалъ Пушкинъ, лозунгомъ котораго было: "На поприщъ ума нельзя намъ отступать!"

Къ совершенно противоположному типу принадлежалъ Гоголь.

Гоголь быль современникомъ великихъ событій въ умственной и общественно-политической жизни Зап. Европы, которую онъ изъвздилъ вдоль и поперекъ и гдв онъ подолгу живалъ. Оставляя въ сторонъ движенія общественно-политическаго характера въ тъсномъ смыслъ, для пониманія которыхъ у него совствить не было "органа", мы укажемъ только на движенія и теченія похи 20—40-хъ гг. въ сферт литературы, искусствъ, науки и философіи. Поэтическое наслъдіе Гёте и Шиллера въ Германіи, нъмецкій романтизмъ, потомъ "Юная Германія", поэзія Гейне, французская литература съ Гюго, Ламартиномъ, Жоржъ-Зандъ, Бальзакомъ, и др., поэтическое наслъдіе Байрона и новая англійская литература; могучія и глубокія философскія теченія,

идущія отъ Гегеля, Фихте, Шеллинга; гуманитарныя и освободительныя идеи, восходящія къ Спинозѣ, Лессингу Канту, Гердеру; дальнѣйшее развитіе и критическій пересмотръ этихъ идей въ новой литературѣ; необычайное оживленіе въ области научныхъ изысканій (естествознаніе, филологія, право, исторія), привлекавшихъ вниманіе мыслящихъ людей, и т. д., и т. д. — вся эта работа умовъ, вся эта жизнь и роскошь духа, все это для Гоголя не существовало, ко всему этому онъ оставался глухъ и слѣпъ.

Вотъ что говоритъ объ этомъ П. В. Анненковъ въ своей извъстной статьъ "Гоголь въ Римъ": "...онъ ръшительно ничего не читалъ изъ французской изищной литературы и принялся за Мольера только послъ строгаго выговора, даннаго Пушкинымъ за небрежение къ этому писателю. Такъ же мало зналъ онъ и Шекспира (Гете и вообще нъмецкая литература почти не существовали для него), и изъвсъхъ именъ иностранныхъ поэтовъ и романистовъ было знакомо ему не по наслышкъ и не по слухамъ одно имя-Вальтеръ-Скотта..." ("Воспоминанія и критическіе очерки" 1877, І, стр. 187). И далье: "...взлельянный уединеніемъ Рима, онъ весь предался творчеству и пересталь читать и заботиться о томъ, что дълается въ остальной Европъ. Онъ самъ говорилъ, что въ извъстныя эпохи одна хорошая книга достаточна для наполненія всей жизни человъка. Въ Римъ онъ только перечитываль любимыя мъста изъ Данте, "Иліады" Гнъдича и стихотвореній Пушкина" (тамъ же, стр. 200).

Обширная переписка Гоголя какъ нельзя лучше подтверждаетъ эти показанія одного изъ достовърнъйшихъ свидътелей и дорисовываетъ печальную картину умственной темноты и лъни Гоголя. Въ этой огромной массъ писемъ съ трудомъ можно найти двътри страницы, гдъ сказался бы извъстный интересъ къ тъмъ или инымъ явленіямъ умственной жизни Запада. Изъ сокровищницы богатой умственной культуры Запада Гоголь выбралъ себъ только одно—искусство (скульптуру, живопись и архитектуру): путешествуя и

живя за границей, онъ почти всегда обращаль вниманіе на старыя и новыя произведенія этихъ искусствъ и вникаль въ ихъ характеръ, смыслъ и значеніе. Особливо заинтересовался онъ итальянскимъ искусствомъ, въ томъ числѣ (отчасти) и античнымъ. Но и эта область, столь близкая и столь сродни ему, не вызвала въ немъ сколько-нибудь значительной работы мысли, и, повидимому, какъ старая, такъ и новая литература по исторіи и теоріи искусства осталась ему неизвѣстною.

Мы имъемъ здъсь передъ собою фактъ, если не единственный въ своемъ родъ, то, по крайней мъръ, исключительно-радкій. Чтобы геніальный поэть и человакь съ такимъ большимъ, глубокимъ и тонкимъ умомъ, какъ Гоголь, могъ духовно существовать и творить внъ умственной жизни въка, внъ духовнаго общенія, безъ умственной пищи, какъ хлъбъ насущный, необходимой всякому мыслящему уму, -- это нъчто почти невъроятное, это-настоящая психологическая загадка. Чёмъ выше умъ, чёмъ богаче одаренъ человёкъ дарами мысли и творчества, тёмъ нужнее ему умственная пища, какъ въ видъ матеріала для работы мысли, такъ и въ видъ идей, точекъ эрънія, методовъ и т. д., выработанныхъ и установленныхъ другими дъятелями на различныхъ поприщахъ умственнаго труда. И чемъ больше и оригинальне умъ, тъмъ больше беретъ онъ отъ другихъ умовъ. Гоголь почти ничего не взялъ, да и не хотълъ брать. Очевидно, ему не нужны были тъ умственныя возбужденія, которыя такъ необходимы людямъ мысли вообще, деятелямъ творческой мысли въ особенности. Всякое творчество, какъ философское и научное, такъ и художественное, не можетъ обойтись безъ пріобщенія къ результатамъ чужого творчества, въ особенности творчества великихъ дъятелей мысли въ прошломъ и настоящемъ. Вспомнимъ, какъ много былъ обязанъ Гете чтенію античныхъ писателей, вліянію Лессинга, изученію Спинозы; какое значеніе имъли для Шиллера античные писатели, Руссо и т. д.; для Пушкина-новая французская литература, Байронъ и Шекспиръ и т. д. Оригинальное и творческое мышленіе зажигается отъ другого оригинальнаго и творческаго мышленія, и чёмъ больше такихъ возбудителей было въ распоряженіи мыслителя или художника, тёмъ шире развернется и глубже будетъ захватывать его собственное творчество.

Гоголь является страннымъ исключеніемъ изъ этого правила...

Онъ создаль великія произведенія, изъ которыхъ одно, "Мертвыя души", безъ всякаго сомивнія, останется навсегда однимъ изъ крупнъйшихъ вкладовъ въ сокровищницу міровой литературы. Въ этомъ геніальномъ созданіи заключено такъ много мысли, въ немъ такая глубина созерцанія, такая широта художественнаго кругозора, въ немъ проявился такой размахъ и подъемъ творчества, что читатель, не знающій ничего о Гоголь, въ правь сказать, заключая отъ произведенія къ автору: вотъ художникъ, у котораго природная сила мысли была изощрена изученіемъ великихъ произведеній искусства; вотъ поэтъ, выработавшій себъ, на изученіи мыслителей разныхъ въковъ, широту художественнаго воззрвнія; онъ также, наверно, долго и, можеть быть, въ подлинникъ изучалъ Гомера, которому онъ не уступитъ въ пластикъ изображенія, и быль знатокомъ Шекспира, съ которымъ можетъ поспорить въ знаніи души человіческой, въ психологіи характеровъ и страстей.. И крайне будеть озадаченъ этотъ читатель, когда узнаетъ, что Гоголь зналъ Гомера только по Гитдичу (и позже, уже послъ изданія первой части "Мертвыхъ душъ," по Жуковскому), Шекспира даже и не читалъ какъ следуетъ, равно какъ и Гете, а имена мыслителей зналъ, да и то не очень твердо, лишь по наслышкъ.

Вотъ и попробуемъ разобраться въ этомъ противоръчіи.

II.

Прежде всего замътимъ, что у настоящихъ художниковъ нельзя отделять умъ отъ таланта: ихъ талантъ-это одно изъ свойствъ или одна изъ сторонъ ихъ ума. Если талантъ огроменъ, то, стало быть, это огроменъ умъ, котораго принадлежностью является данный таланть. Таланты могуть быть, въ извъстной мъръ, отдъляемы отъ ума только тогда, когда они-внъшніе, узко-спеціальные, техническіе, часто зависящіе отъ особенностей физіологической организаціи (тонкость слуха при музыкальномъ талантъ, сила зрънія при живописномъ и т. д.) Но умы высшаго порядка, умы творческіе, разъ они одарены какимъ-либо талантомъ, не могутъ, если позволено такъ выразиться, быть умнъе или глупъе своего таланта. Говоря такъ, мы имвемъ въ виду талантъ, органически присущій уму, обусловленный самимъ характеромъ, пошибомъ, интимнымъ устройствомъ этого ума. Такой умъ-талантъ не измѣнитъ себѣ, не будетъ ниже себя не только въ своемъ творчествъ, но и въ своихъ проявленіяхъ внъ творчества. Вспомнимъ не-поэтическія произведенія и письма Гете, Шиллера, Гейне, Пушкина, Тургенева и др. Не даромъ эти вещи, часто совершенно-интимныя, не предназначавшіяся для обнародованія, получають общій интересь и входять въ національную, а иногда и общечеловъческую литературу.

Обращаясь къ Гоголю, возьмемъ тв верхи творчества, которыхъ онъ достигъ. Вспомнимъ типы "Мертвыхъ душъ", напримъръ, Манилова, Собакевича, Плюшкина. Какая широта художественнаго обобщенія! Въдь это всемірные, общечеловъческіе типы. Нътъ народа, гдъ бы не нашлись свои Маниловы и Собакевичи. Но это не тъ блъдныя фигуры схемы, которыя широки потому только, что малосодержательны, что онъ—общія мъста искусства. Нътъ, это фигуры строго-кон-

кретныя, съ плотью и кровью, пріуроченныя къ націи, классу, мъсту, времени, т. е. богатыя содержаниемъ, но въ то же время надъленныя огромною обобщающею силой. Спрашивается: талантомъ или умомъ созданы онв?—Не талантомъ, какъ таковымъ, и не умомъ въ отдельности, а геніальнымъ умомъ-талантомъ. - Здёсь послушаемъ, что говорить самъ Гоголь о своемъ творчествъ въ письмъ въ Шевыреву (отъ 28 февр. 1843 г.): "...я могу теперь работать увърениъе, тверже, осмотрительное, благодаря томъ подвигамъ, которые я предпринималь въ воспитанію моему... Напримірь, никто не зналь, для чего я производиль передълки моихъ прежнихъ пьесъ, тогда какъ я производилъ ихъ, основываясь на разумъніи самого себя, на устройствю головы своей 1). Я видълъ, что на этомъ одномъ я могъ только навыкнуть производить плотное созданіе, сущное, твердое, освобожденное отъ излишествъ, вполнъ ясное и совершенное въ высокой трезвости ∂uxa..."

Это свидътельство, какъ и другія въ томъ же родѣ, показываетъ, что Гоголь вполнѣ отчетливо сознавалъ въ себѣ художника - мыслителя, который работаетъ умомъ, пуская въ ходъ всѣ его наличныя силы. Краснорѣчивымъ подтвержденіемъ этого являются сами творенія Гоголя. Онъ вовсе не творилъ «однимъ талантомъ», «однимъ поэтическимъ даромъ»,—«какъ птичка поетъ». Такое птичье творчество было совершенно чуждо Гоголю, какъ чуждо оно всѣмъ истиннымъ художникамъ, всѣмъ настоящимъ поэтамъ. Творчество Гоголя было тяжелымъ подвигомъ мысли, трудной и кропотливой работой ума. Эта работа простиралась и на цѣлое, и на частности, не пренебрегая послѣдними мелочами.

Если «Мертвыя души» и были начаты безъ заранъе выработаннаго плана, то во время работы общій планъ труда

¹⁾ Курсивъ мой.

не замедлиль явиться въ головъ Гоголя, и великій поэть, трудясь надъ знаменитой «поэмой», не переставалъ разрабатывать и совершенствовать этотъ планъ. И, разумвется, это было по преимуществу дёломъ сознательной и при томъ критической работы мысли. Прочтемъ здёсь слёдующія строки изъ письма къ Шевыреву (отъ 2 марта 1843 г.): «...Представь себъ архитектора, строящаго зданіе, которое все загромождено и заставлено у него лісомъ; чего стоитъ ему снимать лъса и показывать неоконченную работу, какъ будто бы кирпичъ вчернъ и первое пришедшее въ голову слово въ силахъ разсказать о фасадъ, который еще въ головъ архитектора». Здъсь Гоголь сравниваетъ съ работою архитектора свою работу надъ построеніемъ и развитіемъ плана «Мертвыхъ душъ», въ связи съ внутреннею моральною работой «самовоспитанія», къ которой онъ обратился въ данное время.

Помимо общаго плана, Гоголь затрачивалъ огромную массу труда на усовершенствование художественнаго воспроизведенія фигуръ, на развитіе характеровъ, на разработку отдёльныхъ сценъ, подробностей и, наконецъ, языка. Это красноръчиво подтверждается рукописями Гоголя и сохранившимися первоначальными редакціями различныхъ произведеній. Медленнымъ, упорнымъ трудомъ критики собственныхъ созданій, вдумчивостью во всё детали, взвёшиваніемъ отдёльныхъ выраженій, сокращеніями, измёненіями и т. д. Гоголь и достигаль того совершенства вътворчествъ, которое онъ въ вышеприведенномъ мъстъ изъ письма къ Шевыреву (28 февр. 1843 г.) называетъ «высокою трезвостью духа». И такимъ путемъ онъ создавалъ произведенія въ самомъ дёлё «сущныя», «твердыя», свободныя «отъ излишествъ и неувъренности», «вполив ясныя и совершенныя»... Да, этотъ человъкъ, этотъ «взыскательный художникъ» имълъ полное право сказать (въ письмъ къ Прокоповичу отъ 28 мая мая 1843 г.): «Они (его сочиненія) писаны долго, въ обдумываніи многихь изь нихь прошли

годы 1), а потому не угодно ли читателямъ моимъ тоже подумать о нихъ на досугъ и всмотръться пристальнъй...>

Непосредственнымъ следствіемъ этого долгаго обдумыванія, т.-е. продолжительнаго умственнаго труда, преимущественно сознательнаго, является следующее любопытное обстоятельство. Когда читаешь первую часть «Мертвыхъ душъ», а также и по окончаніи чтенія, кажется, будто этобольшой томъ, обширное произведение. На самомъ же дълъ это весьма небольшая книжка. Иллюзія происходить отъ того, что въ эту небольшую книжку вложено огромное содержаніе. Тамъ мы имъемъ: рядъ большихъ художественныхъ типовъ, съ широкимъ захватомъ обобщенія и съ детально-разработанною индивидуальностью (Чичиковъ, Ноздревъ, Маниловъ, Собакевичъ, Плюшкинъ, Коробочка, Селифанъ, Петрушка), рядъ второстепенныхъ, эпизодическихъ лицъ, также несьма опредълительно очерченныхъ (прокуроръ и другіе чиновники, Мижуевъ, губернаторская дочка, дамы, мужики), наконецъ, почти сплошную (за изъятіемъ немногихъ страницъ) образность изложенія: образы идуть нескончаемою вереницей, служа то способомъ изображенія, то художественною аллегоріей (какъ повъсть о капитанъ Копейкинъ и притча о Кифъ Мокіевичъ).

Каждый изъ главныхъ образовъ-типовъ объемлетъ обширный кругъ явленій, частью бытовыхъ - русскихъ, частью общечеловъческихъ; слъдовательно, объемъ ихъ весьма великъ; а такъ какъ это—ръзко-выраженныя и опредълительно-разработанныя индивидуальности, то весьма значительно и содержаніе, въ нихъ сгущенное. Отдъльные образы въ описаніяхъ и сравненіяхъ въ большинствъ случаевъ суть маленькія законченныя картинки, миніатюры, имъющія свою цвиность сами по себъ и раскрывающія намъ цълыя перспективы, далеко уходящія вглубь жизни или психики. Въ ряду этихъ образовъ важнъйшее мъсто принадлежитъ, конечно, тъмъ, въ которые облечены мысли Чичикова въ зна-

¹⁾ Курсивъ мой.

менитомъ мъстъ главы VII, гдъ онъ воспроизводитъ прошлое купленныхъ имъ «душъ»...~

Наконець, вспомнимь о гоголевскомъ «смѣхѣ», о художественной ироніи Гоголя, которая удвояеть содержательность всякой черты, въ которую она вплетена. Иронія сама по себѣ есть уже мысль, она—освѣщеніе факта, шагъ къ его критикѣ, постановка вопроса о немъ. Поэтому къ запасу мысли, вложенному въ образъ, присоединяется еще другой запасъ, привносимый ироніей. И если бы возможно было развернуть и мысленно охватить то содержаніе, которое внесено въ «Мертвыя души» гоголевскимъ «смѣхомъ», то мы получили бы представленіе значительныхъ по количеству и весьма высокихъ но качеству цѣнностей мысли...

Нетрудно видъть, что создать и сгустить въ поэтическихъ образахъ все это содержаніе, художественно-выраженное въ небольшой книжкъ, значило произвести гигантскую работу, и при томъ такую, которая подъ силу только геніальному художественному уму, — работу, въ которой творчество безсознательное и дъятельность сознанія шли рядомъ, уравновъшивая и дополняя другъ друга, помогая другъ другу. Затрата умственныхъ силъ была огромная...

Вотъ и спросимъ: чѣмъ же питался этотъ геніальный умъ? Какими стимулами двигалась эта мысль? Неужели эта великая работа такъ-таки и обходилась «собственными средствами», безъ всякихъ возбужденій со стороны, безъ тѣхъ стимуловъ, которые исходятъ отъ другихъ умовъ?

III.

Мы уже знаемъ, что такихъ стимуловъ у Гоголя было мало—въ силу природной лѣни его ума, несокрушимой консервативности и недостаточной отзывчивости его мысли. Но они все-таки были, и безъ нихъ Гоголь обойтись не могъ. Укажемъ хоть бы на Жуковскаго съ его широкой гуман-

ностью и его симпатичнымъ поэтическимъ даромъ, на $C.\ T.$ Аксакова, этого умницу съ несомненнымъ художественнымъ дарованіемъ, на Шевырева съ его эрудицією, на Языкова съ его лирическимъ талантомъ, наконецъ, на Смирнову съ ея незауряднымъ женскимъ умомъ и образованіемъ и т. д. Что эти лица были для Гоголя источниками умственныхъ возбужденій, въ этомъ едва ли можно сомнъваться. Гоголь, несомивню, черпаль отъ нихъ не мало и мыслей, и свъдъній, и вообще получаль то оживленіе и освъженіе умственной дъятельности, которое всегда является слъдствіемъ общенія умовъ. При ограниченности образованія, при ничтожной начитанности Гоголя такой по своему времени широко-образованный человъкъ и несомнънный ученый, какъ Шевыревъ, былъ для него настоящей находкой и невольно, самъ того не въдая, служилъ двигателемъ его мысли. Не слъдуетъ думать, будто великіе умы - таланты питаются и движутся только теми возбужденіями, которыя исходять отъ другихъ великихъ умовъ-талантовъ, отъ геніевъ. На ряду съ таковыми они всегда получаютъ значительныя возбужденія и отъ второстепенныхъ умовъ, отъ среднихъ дарованій, наконецъ, отъ вліянія женскихъ натуръ. Яркія подтвержденія этого даеть, между прочимь, біографія Гёте, котораго умъ развился и возбуждался къ творческой дъятельности не только силой вліяній, шедшихъ отъ Спинозы, Лессинга, Гердера, Шексиира, классиковъ и т. д., но и силою возбужденій менве сильныхъ, но зато болве постоянныхъ и интимныхъ, вытекавшихъ изъ общенія и дружескихъ связей съ «обыкновенными смертными» (вспомнимъ Мерка) и-болъе или менъе необыкновенными женщинами.

Что касается Гоголя, то важность для него общенія съ образованнымъ и умнымъ человѣкомъ наглядно подтверждается эпизодомъ его знакомства и его переписки съ Анненковымъ. Нѣкоторыя черты изъ этого эпизода послужатъ хорошею иллюстраціей нашей мысли.

Гоголь неуклонно шелъ своимъ путемъ и дёлалъ свое

дъло по-своему, но при этомъ онъ не упускалъ случая прислушиваться къ тому, что говорять, какъ думають и понимаютъ вещи умные люди, преимущественно тъ, которые стояли на точкъ зрънія, ему чуждой. Къ числу таковыхъ принадлежаль П. В. Анненковъ, который умѣль особливовозбуждающимъ образомъ дъйствовать на мысль Гоголя, открывая ему новые горизонты, ставя новые вопросы, ставляя его задумываться надъ многимъ, надъ чемъ Гоголь не привыкъ задумываться. Въ 1847 году (отъ 7-го сент.) Гоголь писаль Анненкову: «Ваше желаніе следить все, не останавливаясь особенно ни надъ чемъ, очень понятно. Въ немъ слышится разумное стремленіе всего нынѣшняго вѣка. Но не понятенъ для меня духъ нъкотораго удовлетворенія 1) вашимъ нынфшнимъ состояніемъ, точно какъ бы вы уже нашли важную часть того, что ищете, и какъ бы стали уже на верховную точку вашего разумьнія и вашего воззрынія на вещи. Вы уже подымаете заздравный кубокъ и говорите: «Да здравствуетъ простота положеній и отношеній, основанныхъ на практической действительности, здравомъ смысле, положительномъ законъ, принципъ равенства и справедливости!» Смыслъ всего этого необъятно обширенъ. Целая бездна между этими словами и примененіями ихъ къ делу. Если вы станете действовать и проповедывать, и то прежде всего замътятъ въ вашихъ рукахъ эти заздравные кубки, до которыхъ такой охотникъ русскій человікъ, и перепьются всв, прежде чвмъ узнають, изъ-за чего было пьянство. Нътъ, мнъ кажется, никому изъ насъ не слъдуетъ въ нынъшнее время торжествовать и праздновать настоящій мигь своего взгляда 1) и разумюнія 1). Онъ завтра же можеть быть другимъ; завтра же можемъ мы стать умнъй насъ $cero\partial$ няшних σ ...» 1)

Нельзя не видеть, какъ расшевелилась и стала работать въ известномъ направленіи мысль Гоголя, возбужденная

¹⁾ Курсивъ Гоголя.

Анненковымъ. Оттуда уже не далеко и до нъкотораго расширенія тахъ горизонтовъ, которые у Гоголя были узки. Дальше читаемъ: «Несмотря на то, что взглядъ мой на современность только что проснулся 1), и я еще новичекъ въ этомъ дёлё, но, сколько могу судить по тёмъ результатамъ, которые отбираю теперь от встал людей, прилежно наблюдающихъ за дъйствующими нынъ силами въ Европт 2), я однако же замѣтилъ нѣкоторую неполноту въ вашихъ наблюденіяхъ...» Далье Гоголь указываетъ Анненкову на Англію, которую последній «оставиль совершенно въ сторонъв» и гдъ Гоголь усматриваетъ сторону современнаго дъла». Онъ совътуетъ Анненкову пожить въ Англіи, а «затемъ избрать предметомъ наблюденій не одинъ какой-нибудь классъ пролетаріевъ, изученіе котораго стало теперь моднымъ, но взглянуть на всв классы, не выключая никакого изъ нихъ». Тутъ же Гоголь указываетъ на то, что въ Англіи «мѣстами является разумное слитіе того, что доставила человъку высшая гражданственность, съ тъмъ, что составляетъ первообразную патріархальность....» Все это свидетельствуеть о томъ, что Гоголь какъ бы протеръ глаза, что, живя въ Европъ, онъ наконецъ увидълъ Европу, и его мысль пробудилась для изученія современности, откуда-возможность если не усвоенія новыхъ идей и идеаловъ, то, по крайней мъръ, ознакомленія съ ними. Безъ взякаго сомнѣнія, личное знакомство съ Анненковымъ, бесъды съ нимъ и переписка въ значительной мъръ послужили толчкомъ къ этому пробужденію.

На этомъ эпизодъ мы, между прочимъ, наблюдаемъ слъдующее: лънь ума, присущая Гоголю, была не столько та, которая выражается въ косности, въ тупой приверженности къ старымъ воззръніямъ, сколько та, въ силу которой чело-

⁴⁾ Курсивъ мой.—Лучше поздно, чъмъ никогда. Но и то сказать: шелъ 1847 годъ, и Гоголю было 38 лътъ.

²) Курсивъ мой.

въкъ не находить въ себъ достаточно иниціативы, чтобы приняться за усвоеніе новаго. Это была не люнь мыслить, а люнь учиться.

Всякій человікь является въ жизни своей одновременно и «мыслителемъ» (у всякаго своя философія), и «ученикомъ» жизни, цивилизаціи, новыхъ идей, новыхъ стремленій и настроеній, новыхъ завоеваній науки, философіи, искусства. Отношеніе въ каждомъ изъ насъ «мыслителя» къ «ученику» бываетъ весьма различно: одинъ является одинаково хорошимъ «мыслителемъ» и «ученикомъ», другой-«хорошимъ мыслителемъ» и плохимъ «ученикомъ», третій—наоборотъ и т. д. Есть люди, которые всемъ интересуются, за всемъ следять, все читають, и въ результате въ голове у нихъ получается нъкоторая каша, которую они называють «міросозерцаніемъ»: это-хорошіе, т. е. прилежные, «ученики» и совстви ужъ плохіе мыслители. Гоголь, наоборотъ, былъ отличный «мыслитель» и совсёмъ плохой, лёнивый «ученикъ». Онъ такъ и не научился ни пониманію современности, ея движенія, ея задачь, ни новой философіи, ни тому, что давала мыслящему человъку художественная и прозаическая литература 30-40-хъ гг. А въдь было чему научиться тамъ...

Лънивый ученикъ, Гоголь, подобно анекдотическому семинаристу, убоялся «бездны премудрости». Тому роду лъни ума, который былъ присущъ Гоголю, свойственны своеобразные—умственные — страхи передъ новымъ знаніемъ, новымъ синтезомъ знанія, новымъ направленіемъ умовъ. Гегельянство, этотъ истинный властитель думъ той эпохи, великая освободительная философія, благую мощь которой испытали на себъ Бълинскіе, Герцены, Прудоны, да и почти вся мыслящая Европа, казалось Гоголю «бездной премудрости», къ которой онъ чувствовалъ родъ инстинктивнаго страха и отвращенія. Это несомнънно—эбломовщина, именно обломовщина ума, какъ органа познанія и движенія мысли.

Лънивый, плохой «ученикъ», Гоголь былъ, однако, по-

своему отличный «мыслитель», ибо обладаль геніальнымь умомъ-талантомъ. Лёнь ума и умственные «страхи» не позволили ему выйти изъ темноты, но они не могли упразднить самобытной работы его мысли. И онъ неустанно работаль мыслью, но только эта работа совершалась во тьмё.

Излишне приводить доказательства умственной темноты Гоголя,—многія страницы "Выбранныхъ мёстъ" и писемъ слишкомъ красноречиво свидетельствуютъ о ней (одно изъ самыхъ красноречивыхъ—вера въ чорта). Гораздо важне показать, что этотъ темный умъ быль великій умъ и что, пребывая во тьме, Гоголь иногда виделъ и понималъ то, чего часто не видятъ и не понимаютъ люди, вышедшіе изъ тьмы, умы просвещенные...

Прочтемъ следующее место изъ того же письма къ Анненкову: "Мне кажется еще, что вы напрасно чуждаетесь спеціальнаго труда. Какой-нибудь спеціальный трудъ долженъ быть непременно у каждаго изъ насъ. Сверхъ пребыванія на боевой вершине современнаго движенія, нужно иметь свой собственный уголокъ, въ который можно было бы на время уходить отъ всего. Нельзя, чтобы каждый изъ насъ не получилъ на долю свою какой-нибудь способности, ему принадлежащей; нельзя, чтобы не было ея и у васъ. Иначе мы бы всё походили другъ на друга, какъ две капли воды, и весь міръ былъ бы одна мануфактурная машина. Безъ спеціальнаго труда не образуется характеръ индивидуумовъ, изъ которыхъ слагается общество, идущее впередъ 1). Безъ этихъ своеобразно работающихъ единицъ не быть 1) общему прогрессу".

Эта глубоко-върная мысль отнюдь не общее мъсто, и она не была случайнымъ замъчаніемъ, пришедшимъ въ голову ad hoc, по поводу того обстоятельства, что Анненковъ, стоя "на боевой вершинъ современнаго движенія", не избралъ себъ опредъленной спеціальности. Мы имъемъ

¹⁾ Курсивъ Гоголя.

здѣсь возможность заглянуть въ интимную работу мысли Гоголя, какъ своеобразнаго "мыслителя" и художника.

Живя въ Европъ, Гоголь давно уже отмъчалъ мнеговъковую культурность европейца, воспитанную въ спеціальномъ трудъ, и противопоставляль ее нашей русской некультурности, плохому развитію у насъ спеціальнаго труда на разныхъ поприщахъ, отсутствію у насъ того, что можно назвать "культомъ труда". Вспомнимъ знаменитое мъсто въ VII главѣ I части "Мертвыхъ душъ": "Максимъ Телятниковъ, сапожникъ. Хе, сапожникъ! Пьянъ, какъ сапожникъ, говорить пословица. Знаю, знаю тебя, голубчикъ; если хочешь, всю исторію твою разскажу. Учился ты у німца, который кормиль вась всёхь вмёстё, биль ремнемь по спинъ за неаккуратность и не выпускаль на улицу повъсничать, и быль ты чудо, а не сапожникъ; и не нахвалился тобою нізмець, говоря съ женой или съ камрадомъ. А какъ кончилось твое ученіе:,, А воть теперь я заведусь своимъ домкомъ", сказалъ ты: да не такъ, какъ нъмецъ, что изъ копейки тянется, а вдругъ разбогатью". И вотъ, давши барину порядочный оброкъ, завелъ ты лавчонку, набравъ заказовъ кучу, и пошелъ работать. Досталъ гдъ-то въ тридешева гнилушки-кожи и выиграль, точно вдвое, на всякомъ сапогъ, да черезъ недъли двъ перелопались твои сапоги, и выбранили тебя подлейшимъ образомъ. И вотъ лавчонка твоя запустела, и ты пошель попивать да валяться по улицамъ, приговаривая: "Нътъ, плохо на свътъ! Нътъ житья русскому человъку: все нъмцы мъшаютъ!"

Вотъ картинка, въ которой, какъ и во многихъ другихъ "миніатюрахъ" "Мертвыхъ душъ", поставленъ ръшающій діагнозъ нашей "бѣдности да бѣдности". Діагнозъ гласитъ: 1) отсутствіе настоящаго труда, въ европейскомъ смыслѣ этого слова; 2) отсутствіе добросовъстности въ трудѣ и вообще слабое развитіе совъсти, которая вырабатывается, вмъстъ съ сознаніемъ обязательствъ и отвътственности, только въ культурной работъ покольній; 3) стремленіе къ

легкой наживь, окрыляемое природною талантливостью русскаго человька. Но кто же это такъ мътко и върно охарактеризовалъ сапожника Максима Телятникова и набросалъ эту художественную картинку его трудовой и этической несостоятельности? Это сдълалъ П. И. Чичиковъ, самъ человъкъ легкой наживы, самъ человъкъ безъ труда и трудовой этики, талантливый и неунывающій россіянинъ, типичный представитель націи, не воспитавшейся въ условіяхъ интенсивной культуры, а потому и не обладающій тъмъ "характеромъ", о которомъ сказано (въ письмъ къ Анненкову), что онъ не "образуется безъ спеціальнаго труда".

Вспомнимъ и другой образъ, въ которомъ дано выраженіе другой сторонъ все той же русской невыдержанности и невоспитанности въ трудъ: прототипъ Ильи Ильича Обломова, "Андрей Ивановичъ Тентетниковъ принадлежалъ къ семейству тъхъ людей, которые на Руси не переводятся, которымъ прежде имена были: увальни, лежебоки, байбаки, и которыхъ теперь, право, не знаю, какъ назватъ" (вторая часть "Мертв. д.", гл. I). Со времени знаменитаго романа Гончарова и классической статьи Добролюбова объ "Обломовщинъ" мы называемъ ихъ "Обломовыми" и видимъ въ нихъ представителей нашего національнаго типа въ одномъ изъ крайнихъ и болъзненныхъ выраженій его 1).

"Мертвыя души"— это великая національная эпопея, гдѣ "выпукло и ярко" выставлено "на всенародныя очи" наше "ничего-недѣланіе" и этой сторонѣ ея подведенъ итогъ въ словахъ Платонова (IV гл. П-ой части): "Иной разъ, право, мнѣ кажется, что будто русскій человѣкъ—какой-то пропащій человѣкъ. Хочешь все сдѣлать—и ничего не можешь. Все думаешь—съ завтрашняго дня начнешь новую жизнь, съ завтрашняго дня сядешь на діэту; ничуть

⁴⁾ Объ Обломовъ, какъ національномъ типъ, я говорю подробно въ кн. "Исторія русской интеллигенціи", главы X и XI.

не бывало: къ вечеру того же дня такъ объёшься, что только хлопаешь глазами, и языкъ не ворочается—какъ сова сидишь, глядя на всёхъ—право! И этакъ всё".

Письмо, гдѣ указывается на Англію и гдѣ говорится, что "безъ своеобразно работающихъ единипъ не быть общему прогрессу", служитъ отличнымъ комментаріемъ къ идеѣ "Мертвыхъ душъ" и вмѣстѣ является свидѣтельствомъ глубокой вдумчивости Гоголя, необыкновенной проницательности его ума.

Но здъсь же обнаруживается и оборотная сторона этого ума. Въ приведенномъ письмъ (7-го сентября 1847 г.) читаемъ: "Всв мы ищемъ того же: всякій изъ мыслящихъ нынъ людей, если только онъ благороденъ душой и возвышень чувствами, уже ищеть законной желанной середины 1), уничтоженія лжи и преувеличенностей во всемо 1) и снятія грубой коры, грубыхъ толкованій, въ которыя способенъ человъкъ облекать самыя великія и съ тымь вифсть простыя истины. Но вев мы стремимся къ тому различными дорогами, смотря по разнообразію данныхъ намъ способностей и свойствъ, въ насъ работающихъ: одинъ стремится къ тому путемъ религи и самопознанія внутренняго 2), другой-путемъ изысканій историческихъ и опыта (надъ другими) 2), третій — путемъ наукъ естествознательныхъ, четвертый-путемъ поэтическиго постигновенія и орлинаго соображенія вещей 2), не обхватываемыхъ взглядомъ простого человъка, словомъ, разными путями, смотря по большему или меньшему въ себъ развитію преобладательно въ немъ заключенной способности". Какимъ же путемъ шелъ самъ Гоголь? Онъ, очевидно, шелъ одновременно и путемъ "религіи и самопознанія внутренняго", и тімъ, который онъ называеть "опытомъ надъ другими", и наконецъ путемъ интуиціи художника ("поэтическое постигно-

⁴⁾ Курсивъ Гоголя.

Курсивъ мой.

веніе"), --- художника геніальнаго, который въ своихъ созданіяхъ действительно проявляеть "орлиное соображеніе вещей". Изъ перечисленныхъ путей чужды были Гоголю два: путь "историческихъ изысканій" и "наукъ естествознательныхъ". Вместе съ темъ чуждъ былъ ему и еще одинъ-самый главный-путь, въ приведенной выдержкъ совствить не упомянутый. О существовании его Гоголь, повидимому, и не догадывался. Нетрудно видъть, что всъ указанные имъ пути суть только особыя дороги и тропинки, частью идущія параллельно главному, столбовому пути, частью уклоняющіяся въ сторону отъ него. Та или другая изъ нихъ дъйствительно избирается отдъльными лицами сообразно ихъ дарованіямъ и вообще особенностямъ ихъ духовной организаціи. Главный же, столбовой путь къ свъту, къ идеалу, къ выработкъ раціональнаго, прогрессивнаго и жизнеспособнаго воззрвнія, путь, который Гоголь просмотрель, это-пробщение мыслящаго ума къ сокровищамъ всемірной умственной культуры и его воспитаніе въ духъ пріемовь, нормь, понятій и идеаловь общечеловьлеской научно-философской мысли, идущей впередъ. Этотъ путь долженъ быть обязателенъ для всякаго мыслящаго человъка, все равно, будеть ли онъ историкомъ или естествоиспытателемъ, адептомъ религіи или художникомъ. И никакое "внутреннее самопознаніе", а равно и "поэтическое постигновеніе", вмѣстѣ съ "орлинымъ соображеніемъ вещей", не помогуть дёлу, не выведуть человёка къ свёту сознанія и исторически-правильнаго (для данной эпохи) возэрвнія на жизнь, на ея развитіе и задачи, если этотъ человъкъ стоитъ въ сторонъ отъ всемірнаго движенія умовъ, отъ многовъковой культуры мысли. А чтобы не остаться въ сторонъ, чтобы пріобщиться къ этому движенію и культуръ, нужно прежде всего учиться, нужно быть хорошима! ученикомь вь міровой школь общечеловыческаго знанія и идеала, и отъ этой ученической обязанности ничуть не избавляется тотъ, кто самъ-великій умъ и геній. Напротивъ, такой умъ и геній долженъ быть темь паче "хорошимъ ученикомъ".

Гоголь быль совсёмь плохимь "ученикомъ".

Напротивъ, отличнымъ "ученикомъ" былъ Пушкинъ, замънившій Гоголю то, что мы назвали "міровою школою общечеловъческаго знанія и идеала".

Въ началѣ карьеры Гоголя ослѣпительно-яркій лучъ свѣта проникъ въ его темный умъ и озарилъ дальнѣйшій путь его творчества. Этотъ лучъ былъ Пушкинъ, и глубокій смыслъ и великую правду таитъ въ себѣ восклицаніе Гоголя (въ письмѣ къ Жуковскому отъ 30 октября 1837 г): "О, Пушкинъ, Пушкинъ! Какой прекрасный сонъ удалось мнѣ видѣть въ жизни, и какъ печально было мое пробужденіе!"

Перечисляя выше тёхъ, кто такъ или иначе служиль для Гоголя источникомъ умственныхъ возбужденій и могъ содёйствовать расширенію его кругозора, я нарочито пропустиль имя Пушкина: его вліяніе на Гоголя составляеть особый вопросъ, къ разсмотрёнію котораго мы и обратимся теперь.

IV.

Какъ много помогъ Пушкинъ Гоголю понять себя самого, свое настоящее призваніе, какъ онъ будиль его мысль и возбуждаль ея творческую работу,—все это достаточно извъстно. Передача сюжета "Ревизора" и "Мертвыхъ Душъ"—только эпизодъ изъ кратковременной, къ сожальнію, исторіи общенія этихъ двухъ умовъ, суть котораго—въ благотворномъ, просвътительномъ вліяніи ума свътлаго на умъ темный. Гоголь отлично сознавалъ, чъмъ онъ обязанъ Пушкину, и это сознаніе выразилось въ письмахъ, написанныхъ Гоголемъ по полученіи извъстія о смерти великаго поэта. 16 марта 1837 г. онъ писалъ Плетневу (изъ Рима): "Все наслажденіе моей жизни, все мое высшее на-

слажденіе исчезло вмісті съ нимъ. Ничего не предпринималось безъ его совіта. Ни одна строка не писалась безъ того, чтобы я не воображаль его передъ собою. Что скажеть онь, что замітить онь, чему посмітется, чему изречеть неразрушимое и вічное одобреніе свое—воть что меня только занимало и одушевляло мои силы. Тайный трепеть невкушаемаго на землю удовольствія обнималь мою душу... 1). Боже! нынішній трудь мой 2), внушенный имъ, его созданіе... я не въ силахъ продолжать его"...

Погодину онъ писалъ (отъ 30 марта 1837 г.); "Я получилъ твое письмо въ Римъ. Оно наполнено тъмъ же, чъмъ наполнены теперь всв наши мысли. Ничего не говорю о великости этой утраты. Моя утрата всвхъ больше. Ты скорбишь какъ русскій, какъ писатель, я... я и сотой доли не могу выразить моей скорби. Моя жизнь, мое высшее наслажденіе умерло съ нимъ 3). Мои свётлыя минуты моей жизни были минуты, въ которыя я твориль. Когда я твориль, я видъль предъ собою только Пушкина. Ничто мив были всв толки... мив дорого было его ввчное и непреложное слово. Ничего не предпринималь, ничего не писаль я безъ его совтта. Все, что есть во мив хорошаго, всвиъ этимъ я обязанъ ему. И тепершній трудъ мой 4) есть ero coздание. Онъ взялъ съ меня клятву, чтобы я писалъ, и ни одна строка его в) не писалась безъ того, чтобы онъ не являлся въ то время очамъ моимъ. Я тешилъ себя мыслью, какъ будеть доволень онь, угадываль, что будеть нравиться ему, и это было моею высшею и первою наградою. Теперь этой награды нътъ впереди! Что трудъ мой? Что теперь жизнь %"...вом

¹⁾ Курсивъ мой.

^{2) &}quot;Мертв. души".

³⁾ Курсивъ мой.

^{4) &}quot;Мертв. души".

⁵) Т. е.—труда ("Мертв. д.")

Нъкоторыя преувеличенія въ этихъ письмахъ (напр., "ни одна строка...", "ничего не писалъ безъ его совъта..." и пр.) принадлежать къ числу техъ оборотовъ речи, какіе вообще были свойственны стилю Гоголя (гипербола), и отнюдь не должны быть поставляемы въ данномъ случав въ упрекъ Гоголю. Они, не заключая въ себъ полной фактической правды, отлично и върно выражають общую душевную правду того, что почувствовалъ Гоголь, когда узналъ о смерти Пушкина. Въ самомъ дълъ, Пушкинъ, эта, по выраженію Тютчева, "Россіи первая любовь", быль и для Гоголя въ своемъ родъ "первою и единственною любовью". Если Гоголь кого-либо любилъ глубокой, радостной, трогательной любовью, если онъ кого-либо "обожалъ", то это только Пушкина, и слова: "Моя жизнь, мое высшее наслажденіе умерло съ нимъ"-вылились прямо изъ сердца и говорять несомивнную правду. Нетрудно представить себв, какую пустоту ощутиль Гоголь, вмёстё со всей образованной Россіей, когда вдругъ не стало Пушкина. И спустя два года съ лишнимъ, въ сентябръ 1839 г., находясь уже въ Москвъ, Гоголь восклицалъ (въ письмъ къ Плетневу, отъ 27 сентября 1839 г.): "Какъ странно! Боже, какъ странно! Россія безъ Пушкина! Я прівду въ Петербургъ-и Пушкина нътъ!.."--Эта роковая, эта незамънимая утрата была для Гоголя несомнънно чувствительные, чымь для другихы: онъ духовно осиротълъ, онъ потерялъ единственнаго человъка, авторитету котораго онъ добровольно и радостно подчинялся. Это подчинение составляло насущную потребность душевной жизни и самаго творчества Гоголя. Едва ли ошибемся мы, если скажемъ, что къ числу большихъ несчастій Гоголя принадлежало и то, что онъ слишкомъ рано и слишкомъ живо почувствовалъ въ себъ необыкновеннаго человъка, что онъ безповоротно убъдился въ превосходствъ своего ума, въ своей несомивнной геніальности. На этомъ, главнымъ образомъ, и основывались непріятный, самонадівянный. наставническій тонъ Гоголя и его претензіи поучать ближнихъ, управлять ихъ умами и сердцами, навязывать имъ свой духовный авторитетъ. Для такой натуры, для такого характера, какъ Гоголь, въ высокой степени было важно сознаніе, что есть другой великій человѣкъ, другой геній, у котораго можно многому поучиться, котораго вліяніе благотворно. И Пушкинъ, дъйствительно, былъ для Гоголя такою сдерживающею силой, своего рода школой.

Пушкинъ слѣдилъ за развитіемъ Гоголя, побуждалъ его читать, учиться, помогалъ совѣтами, поощрялъ. Смирнова разсказываетъ въ своемъ дневникъ: "Сверчекъ (т. е. Пушкинъ) пришелъ поговорить со мной о Гоголѣ. Онъ провелъ у него нѣсколько часовъ; просматривалъ его тетради, его замѣтки, все, что онъ записывалъ по дорогѣ ¹). Онъ пораженъ тѣмъ, какъ много наблюденій Гоголь сдѣлалъ уже на пути отъ Полтавы до Петербурга.... Пушкинъ кончилъ тѣмъ, что сказалъ: "Онъ будетъ русскимъ Стерномъ, у него оригинальный талантъ; онъ все видитъ, онъ умѣетъ смѣяться, а вмѣстѣ съ тѣмъ онъ грустенъ и заставитъ плакать. Онъ схватываетъ оттѣнки и смѣшныя стороны; у него есть юморъ, и раньше чѣмъ черезъ 10 лѣтъ онъ будетъ первокласснымъ талантомъ. У него есть и драматическое чутье". ("Записки А. О. Смирновой", ч. І, стр. 43).

Въ другомъ мѣстѣ "Записокъ" (ч. І, стр. 138) Гоголь, на вопросъ Жуковскаго: "Прочелъ ты то, что онъ (Пушкинъ) тебѣ совѣтовалъ?"—отвѣчаетъ: "Я прочелъ "Essais" Монтэня, "Мысли" Паскаля, "Персидскія письма" Монтескье, "Les caractères" Ла-Брюйера, "Мысли" Вовенарга. Онъ указалъ мнѣ и трагедію Расина и Корнеля, которыя я долженъ прочесть. Еще я прочелъ басни Лафонтена. О Вольтерѣ и энциклопедистахъ онъ сказалъ мнѣ, что я могу не читать ихъ, но совѣтовалъ прочесть сказки Вольтера, такъ какъ находитъ, что это лучшее изъ написаннаго имъ. Далъ онъ мнѣ прочесть Донъ-Кихота по-французски и всего Мольера"...

¹⁾ Дѣло идеть о поѣздкѣ Гоголя въ Малороссію и обратно въ Петербургъ въ 1832 г.

Сохранившіяся письма Гоголя къ Пушкину и нѣсколько записокъ послѣдняго даютъ наглядное представленіе объ участіи Пушкина въ работѣ Гоголя, а равно и о томъ, какъ послѣдній дорожилъ этимъ участіемъ. Нѣкоторыя выдержки будутъ здѣсь не лишними.

Вотъ письмо Гоголя отъ 7-го окт. 1835 г.: "Ръшаюсь писать въ вамъ самъ; просилъ прежде Наталью Николаевну, но до сихъ поръ не получилъ извъстія. Пришлите, прошу васъ убъдительно, если вы взяли съ собою, мою комедію 1), которой въ вашемъ кабинетъ не находится и которую я принесъ вамъ для замъчаній... Сдълайте милость, пришлите скоръе и сдълайте наскоро хоть сколько-нибудь главныхъ замъчаній. Началь писать "Мертвыхъ душъ". Сюжеть растянулся на предлинный романъ и, кажется, сильно смішонъ. Но теперь остановиль его на третьей главъ. Ищу хорошаго ябедника, съ которымъ бы можно коротко сойтись. Мий хочется въ этомъ романи показать хоть съ одного боку всю Русь. Сделайте милость, дайте какойнибудь сюжеть, хоть какой-нибудь, смешной или несмешной, но русскій чисто анекдоть. Рука дрожить написать тамь. временемъ комедію. Если жъ сего не случится, то у меня пропадеть даромъ время, и я не знаю, что дёлать тогда съ моими обстоятельствами... Сдёлайте (же) милость, дайте сюжетъ; духомъ будетъ комедія изъ пяти актовъ, и клянуськуда смешнее чорта! Ради Бога, умъ и желудокъ мой оба голодають. И пришлите "Женитьбу". Обнимаю васъ и целую и желаю обнять скорве лично".

Въ другомъ письмѣ (декабря 1834 г.) онъ жалуется Пушкину на придирки цензуры къ нѣкоторымъ мѣстамъ "Записокъ сумасшедшаго", а потомъ говоритъ: "Жаль, однако, что мнѣ не удалось видѣться съ вами. Я посылаю вамъ предисловіе ²); сдѣлайте милость, просмотрите, и если что, то



^{1) &}quot;Женитьба".

²) Къ "Арабескамъ", гдъ были помъщены "Зап. сумасшедш."

поправьте и перемѣните тутъ же чернилами"... Посылая Пушкину вышедшія изъ печати "Арабески", Гоголь пишетъ, что нарочно посылаетъ два экземпляра: "Одинъ экземпляръ для васъ, а другой, разрѣзанный для меня. Вы читайте мой и сдѣлайте милость, возьмите карандашъ въ ваши ручки и никакъ не останавливайте негодованія при видѣ ошибокъ, но тотъ же часъ ихъ всѣхъ налицо. Мнѣ это очень нужно".

Записки Пушкина къ Гоголю прибавляють несколько черть, рисующихъ живое, сердечное отношение великаго поэта къ начинающему писателю. Въ одной (25 авг. 1831 г.) онъ заранъе поздравляетъ автора "Вечеровъ на хуторъ" съ будущимъ успъхомъ этой книги ("поздравляю васъ съ первымъ вашимъ торжествомъ-съ фырканьемъ наборщиковъ и изъясненіями фактора...") 1) Въ другой запискъ дъло идетъ о "Невскомъ проспектъ": "Прочелъ съ удовольствіемъ. Кажется, все можеть быть пропущено. Съкуцію жаль выпустить: она, мит кажется, необходима для эффекта вечерней мазурки. Авось, Богъ вынесетъ! Съ Богомъ!" Въ дневникъ Пушкина находимъ (7 апр. 1833 г.): "Вчера Гоголь читалъ мнъ сказку, какъ Иванъ Ивановичъ поссорился съ Иваномъ Никифоровичемъ. Очень оригинально и очень смѣшно. Гоголь, по моему совъту, началъ исторію русской критики". Въ октябръ 1835 года Пушкинъ пишетъ (изъ Михайловскаго) Плетневу по поводу изданія альманаха, для котораго Гоголь далъ "Коляску": "Спасибо, великое спасибо Гоголю за его "Коляску", въ ней альманахъ далеко можетъ убхать; но мое мивніе-даромъ "Коляски" не брать, а установить ей ціну. Гоголю нужны деньги". Въ письмі къ жені (изъ Москвы, 6 мая 1836 г.) Пушкинъ, между прочимъ, даетъ ей следующее поручение: "Пошли ты за Гоголемъ и прочти

¹⁾ Отвътъ на письмо Гоголя отъ 21 авг., гдъ Гоголь, между прочимъ, говоритъ: "Любопытнъе всего было мое свиданіе съ типографіею: только что я просунулся въ двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фыркать и прыскать себъ въ руку, отворачиваясь къ стънкъ"...

ему слѣдующее: видѣлъ я актера Щепкина, который ради Христа проситъ его пріѣхать въ Москву, прочесть Ревизора. Безъ него актерамъ не спѣться. Онъ говоритъ, комедія будетъ карикатурна и грязна (къ чему Москва всегда имѣла поползновеніе). Съ моей стороны, я то же ему совѣтую: не надобно, чтобъ "Ревизоръ" упалъ въ Москвѣ, гдѣ Гоголя болѣе любятъ, нежели въ Петербургѣ".

Если бы Пушкинъ не умеръ такъ рано, то, безъ сомнънія, разсѣялась бы добрая доля той темноты, которою былъ объятъ великій умъ Гоголя.

Прежде всего Гоголь вынесъ бы изъ "школы" Пушкина уважение къ великимъ и невеликимъ дѣятелямъ европейской мысли и сочувствие прогрессу общечеловѣческаго просвѣщения. Онъ научился бы у Пушкина понимать и цѣнить великия культурныя и интеллектуальныя блага, пріобрѣтенныя передовыми народами Европы цѣною многовѣкового труда и борьбы. И, быть можетъ, онъ сдѣлался бы, если и не отличнымъ, то хоть хорошимъ "ученикомъ" цивилизаціи...

V.

Въ противоположность Гоголю, Пушкинъ былъ отличный "ученикъ". Человъкъ съ широкимъ образованіемъ и большою начитанностью (въ особенности въ литературахъ французской и англійской 1), Пушкинъ не переставалъ слъднть за движеніемъ умовъ въ Европъ и въ своихъ сочиненіяхъ, журнальныхъ статьяхъ, замъткахъ, дневникъ и письмахъ обнаруживаетъ ръдкую любознательность и отзывичвость живого и просвъщеннаго ума. Пушкинъ былъ



⁴⁾ Нѣмецкую онъ зналъ меньше. Но все-таки Лессингъ, Гете, Шиллеръ, Гейне и нѣмецкіе романтики были достаточно извѣстны ему. Его знакомству съ нѣмецкою литературою, ея направленіями и тогдашними новинками много способствовалъ Жуковскій.

не только первоклассный писатель, но и первоклассный читатель — качество, для писателя весьма важное. Онъ любилъ книгу и оставилъ послѣ себя хорошо подобранную библіотеку. Онъ никогда не сказаль бы, какъ это сделаль Гоголь, что "въ извъстныя эпохи одна хорошая книга достаточна для наполненія всей жизни человъка". Къ числу характерныхъ признаковъ такихъ свётлыхъ умовъ жаждущихъ знанія, стремящихся "въ просвіщеній стать съ вікомъ наравив", принадлежить и то, что они живо интересуются разнообразными, какъ первостепенными, такъ и втопроизведеніями ростепенными, и посредственными человъческаго, и хорошо знають, что иная, даже плохая, книга можетъ очень и очень пригодиться для работающаго ума, если не какъ стимулъ мысли, то, по крайней мъръ, какъ матеріалъ.

Но особливо ярко проявляется коренное различіе между умомъ Пушкина и умомъ Гоголя на ихъ отношеніи къ одному весьма важному для русскаго писателя предмету изученія, который для Пушкина представляль высокій и живой интересъ, а Гоголю казался нестерпимо скучнымъ и совсемъ не любопытнымъ. Это не что иное, какъ русская исторія. Пушкинъ уже въ первой половинь 20-хъ годовъ, работая надъ "Борисомъ Годуновымъ", изучалъ русскую исторію, и не только по Карамзину, но и по источникамъ. Затемъ, подготовительныя работы для исторіи Петра Великаго, "Исторія Пугачевскаго бунта", наброски критической статьи объ "Исторіи русскаго народа" Полевого, попытка объясненія "Слова о полку Игоревъ", наконецъ не быкновенно умное письмо къ Чаздаеву (19 окт. 1836 г.)все это служитъ достаточнымъ доказательствомъ интереса, вниманія и любви Пушкина къ нашему историческому прошлому. Иначе и не могло быть у писателя, который явился первымъ выразителемъ нашего національнаго самосознанія. Добрая доля художественныхъ и вообще умственныхъ интересовъ Пушкина была направлена на историческое прошлое русскаго народа и государства. Это и есть единственный върный путь для писателя, который хочетъ понимать настоящее и прозръвать въ будущее.

Гоголь не только не шелъ этимъ путемъ, но, повидимому, и не могъ бы, если бы даже и захотълъ, усвоить себъ ясное и широкое *историческое* воззръние на ходъ вещей въ России.

Вотъ что профессоръ всеобщей исторіи, который "взошель на каеедру неузнанный и неузнанный сошель съ нея" (письмо къ Погодину отъ 6 дек. 1835 г.), писалъ въ 1834 г. Максимовичу: "... Брадке 1) пишетъ мнъ, что не угодно ли мнъ взять каеедру русской исторіи, что сіе-де прилично занятіямъ моимъ, тогда какъ онъ самъ объщаль мнъ, бывши здъсь, что всеобщая исторія не будеть занята до самаго моего прівзда, хотя бы это было черезъ годъ, а теперь върно ее отдали этому Цыху 2), котораго принесло какъ нарочно. Право, странно: они воображають, что различія предметовъ это такая маловажность и что кто читаетъ словесность, тому весьма легко преподавать математику или врачебную науку 3). Я съ ума сойду, если мню дадуть русскую исторію... " (курсивь мой). Вь другомь письм' въ Максимовичу (10 іюня того же 1834 г.) Гоголь опять возвращается къ тому же вопросу: "Тебя удивляеть, почему меня такъ останавливаетъ русская исторія. Ты очень страненъ и говоришь еще о себъ, что ты ръшился же взять словесность. Въдь для этого у тебя было желаніе, а у меня нътъ. Чортъ возьми, если бы я не согласился взять скорте

Укураторъ кіевскаго учебнаго округа. Дъло идетъ о назначеніи Гоголя профессоромъ въ кіевскій университетъ.

³) Профессоръ харьковскаго университета.

³⁾ Въ то доброе старое время такъ и было: тотъ же Максимовичъ, къ которому адресовано это письмо, по спеціальности естественникъ, профессоръ *ботаники* въ московскомъ университетъ былъ переведенъ въ кіевскій на каеедру русской словесности.

ботанику или патологію, нежели русскую исторію ¹). Если бы это было въ Петербургѣ, я бы, можетъ быть, взялъ ее, потому что здѣсь я готовъ, пожалуй, два раза въ недълю на два часа отдать себя скукт"... Эти выдержки вполнѣ выясняютъ извѣстное выраженіе въ "Авторской исповѣди": "У меня не было влеченія къ прошедшему", гдѣ имѣется въ виду именно историческое прошлое Россіи.

Это равнодушіе или даже отвращеніе Гоголя къ русской исторіи есть фактъ въ своемъ родѣ знаменательный и, какъ почти все у Гоголя, не лишенный своей психологической загадочности.

Если бы Гоголь былъ писатель второстепенный или же только мъстный, областной, т.-е. если бы онъ былъ только авторомъ "Вечеровъ на хуторъ" и "Тараса Бульбы", то указанное отношеніе его къ русской исторіи не представляло бы собою ничего особливо-страннаго. Но Гоголь, во-первыхъ, писатель-художникъ первой величины, великій геній искусства; во вторыхъ, онъ -- писатель по своему національному укладу, общерусскій (о чемъ будеть рачь въ гл. V-ой); наконецъ, въ-третьихъ, онъ, среди нашихъ поэтовъ, является по преимуществу првомъ Россіи, какъ приясо, какъ государства, и поэтомъ общерусской стихіи. Вспомнимъ: - "... какіе звуки бользненно лобзають и стремятся въ душу и выются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь отъ меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты такъ, и зачемъ все, что ни есть во тебъ, обратило на меня полныя ожиданія очи?..." ("Мертвыя Души", I, гл. XI). Да, между этимъ загадочнымъ великимъ человъкомъ и Русью, именно Русью, какъ національно-объединеннымъ (общерусскимъ языкомъ и государственностью) цълымъ, дъйствительно "таилась" "непостижимая связь", и "полныя ожиданія очи" были въ самомъ діль обращены на

¹⁾ Курсивъ мой.

геніальнаго художника. Вспомнимъ еще: "Не такъ ли и ты, Русь, что бойкая тройка, несешься?.." и т. д. "...Русь, куда же несешься ты? Дай отвётъ. Не даетъ отвёта. Чуднымъ звономъ заливается колокольчикъ; гремитъ и становится вётромъ разорванный въ куски воздухъ; летитъ мимо все, что ни есть на землѣ, и косясь постораниваются и даютъ ей дорогу другіе народы и государства" (въ концѣ І части "Мертв. душъ"). Это—поэтическое созерцаніе быстраго историческаго роста и движенія Руси—какъ государства, какъ европейской державы и какъ національнаго (общерусскаго) ивлаго. Спрашивается: какой другой изъ нашихъ великихъ поэтовъ такъ воспѣвалъ эту Русь? У кого изъ нихъ вырывались изъ души, при созерцаніи этой Руси, такіе захватывающіе, такіе проникновенные звуки?

Самое творчество Гоголя, за вычетомъ "Вечеровъ на хуторъ", "Тараса Бульбы" и отчасти "Старосвътскихъ помъщиковъ", "Ссоры Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ" и нъкоторыхъ другихъ вещей, гдъ воспроизведены малорусская жизнь, нравы и національный складъ малороссовъ, главнымъ образомъ было направлено на воспроизведеніе обшерусской стихіи, и важнъйшіе монументальные типы, созданные творцомъ "Ревизора" и "Мертвыхъ Душъ", являются національными общерусскими типами.

Нелишне вспомнить здѣсь и то, что Гоголь, не довольствуясь высокимъ призваніемъ великаго общерусскаго поэта, возомнилъ себя чѣмъ-то въ родѣ пророка Руси, учителемъ жизни и морали... Какъ таковой (оставляя въ сторонѣ вопросъ о достоинствѣ и значеніи его проповѣди), онъ является прямымъ предшественникомъ нашихъ "морализующихъ" писателей, художниковъ-проповѣдниковъ, въ ряду которыхъ первыя мѣста принадлежатъ, конечно, Достоевскому и Л. Н. Толстому. И здѣсь, на этомъ поприщѣ, Гоголь явственно обнаруживается — какъ дѣятель общерусскій, какъ начинатель одного изъ направленій, принадлежащихъ спеціально къ общерусской умственной жизни. Ниже увидимъ, что и какъ

человъкъ, какъ личность. Гоголь былъ гораздо больше общеруссъ, чъмъ малороссъ ¹).

И воть оказывается, что этоть общерусскій писатель и моралисть, одинь изь основателей общерусской литературы и нашего общенаціональнаго самосознанія, совсёмъ не интересовался историческимъ прошлымъ того цёлаго, которому онъ принадлежалъ и служилъ, съ которымъ былъ связанъ тёсными узами духовнаго сродства.

Противоръчіе, здъсь заключающееся, станетъ яснъе, если примемъ во вниманіе слъдующее.

Начиная отъ античной древности и кончая новъйшимъ временемъ, всв великіе общенаціональные поэты такъ или иначе интересовались историческимъ прошлымъ своей страны и обращались къ нему, если не для того, чтобы черпать оттуда матеріаль и сюжеты для своего творчества, то, по крайней мёрё, для расширенія своего кругозора, для саморазвитія въ духѣ національнаго самосознанія. Софоклъ и Эвринидъ у грековъ, Шекспиръ съ его трагедіями и драматическими хрониками изъ англійской исторіи, Вальтеръ-Скоттъ съ его романами изъ той же области являются прямыми и наиболее яркими представителями національноисторическихъ интересовъ н задачъ въ искусствъ. Но, можетъ быть, еще более сильнымъ подтверждениемъ мысли здъсь развиваемой, служить то, что такъ или иначе отдають дань исторіи своей страны также и тв великіе поэты, которые по характеру своего генія, по особенностямъ дарованія, казалось бы, вовсе не призваны къ этому. Они не могутъ создать въ этой области великихъ, первостепенныхъ произведеній; они дають, что могуть, какь Гете даль Германіи "Ганца-фонъ-Берлихингена", Шиллеръ — "Валленштейна". Но во всякомъ случав, вносять ли они въ лабораторію своего творчества сюжеты изъ историческаго прошлаго своей страны или нътъ, они изучаютъ это прошлое, иногда прямо высту-

¹) См. гл. V.

ная съ историческими трудами (Шиллеръ, Пушкинъ), всегда воспитывая, какъ бы выращивая въ себѣ, на почвѣ этихъ изученій, тотъ національный геній, лучшими представителями котораго они являются.

Великіе поэты всегда связаны съ своимъ національнымъ цёлымъ тою дёйствительно загадочною связью, которую Гоголь назвалъ "непостижимою" и постиженіе которой составляетъ одну изъ задачъ психологіи творчества.

Отъ этой чисто-научной задачи следуеть отличать ту, которую ставить себъ самъ субъекть, стремящійся къ самосознанію. Истинный поэтъ всегда чувствуеть свою какъ бы органическую связь съ національнымъ цёлымъ, и, чёмъ выше его дарованіе, чамъ шире его поэтическій кругозоръ и глубже захвать его мысли, тъмъ живъе и явственнъе чувствуетъ онъ свое національное значеніе и призваніе. Но иное дело-чувствовать, а иное-сознавать и понимать. Чувство, о которомъ мы говоримъ, есть фактъ или процессъ, принадлежащій къ обширной сферь ирраціональныхъ, "стихійныхъ" процессовъ психики человѣческой. Его сознаваніе и пониманіе субъектомъ--- это уже другой фактъ или процессъ, принадлежащій къ той особой сферъ психики, гдъ совершается дъятельность, превращающая процессы ирраціональные въ раціональные, въ осмысленные, въ продукты самосознанія и высшей мысли. Успашность этой даятельности зависить отъ культуры ума, отъ знаній, отъ упорядоченія этихъ знаній, отъ умственной дисциплины. Этимъ путемъ субъектъ (въ данномъ случав поэтъ) и приходитъ къ самоопредвленію, къ уясненію себв самому своего настоящаго призванія, къ яснымъ отвётамъ на вопросы: кто я? къ какому національному цілому принадлежу я въ сфері своего творчества? каково это цълое? откуда и куда идетъ оно и какое мъсто должно принадлежать ему въ болье общирномъ цёломъ-въ человечестве?

Эти вопросы ставятся болье или менье правильно только при сильномъ свъть мысли, при хорошей культурь ума.

VI.

Гоголь ставиль эти вопросы и пытался рѣшить ихъ посвоему, природными силами своего великаго ума, исходя, съ одной стороны, изъ непосредственнаго чувства, а съ другой опираясь на геніальную интуицію и на художественныя созерцанія необычайной глубины и силы.

Какъ онъ дѣлалъ это и къ какимъ результатамъ приходилъ, мы постараемся разсмотрѣть и посильно освѣтить въ слѣдующей главѣ, гдѣ исходною точкою послужитъ намъ изученіе той, въ высокой степени любопытной, стороны творчества Гоголя, которую можно назвать стихійнымъ тяготѣніемъ всѣхъ художественныхъ стремленій и помысловъ Гоголя къ Россіи, какъ единственному объекту его творчества, и поэтическимъ созерцаніемъ Руси изъ прекраснаго далека.

Настоящую же главу закончимъ подведеніемъ итога всему сказанному объ умѣ Гоголя.

- 1) Гоголь былъ геніальный самородокъ, великій умъ-талантъ, одаренный необычайными силами художественно-образнаго мышленія. Насколько велики были эти силы, видно изъ того, что онъ могъ въ своемъ творчествѣ обходиться безъ тѣхъ стимуловъ, которые являются результатомъ общенія съ другими умами, т. е. безъ изученія великихъ поэтовъ и мыслителей. Разумѣется, отсутствіе этихъ стимуловъ не могло быть абсолютнымъ: это былъ только минимумъ общенія. Но для Гоголя было достаточно этого минимума, чтобы возбудить его художественную мысль; достаточно намека, случайно занесенной искры, чтобы воспламенить его воображеніе и вызвать вдохновенную работу его ума.
- 2) Умъ Гоголя быль по преимуществу творческій, особливо приспособленный къширокимъ художественнымъ обобщеніямъ, къ созданію большихъ, національныхъ и общечеловъческихъ типовъ. Вмъстъ съ тъмъ мы видимъ въ немъ боль-

шую силу сознательно-критической мысли, подвергающей строгой критикъ результаты его же собственнаго творче-Его художественная работа запечатлена глубокою вдумчивостью, движется осмотрительно, съ постоянною оглядкой на пройденный путь, съ явнымъ, сознательнымъ самообладаніемъ художника. Гоголь, если можно такъ выразиться, старался обуздывать порывы своихъ вдохновеній, дисциплинировать свое творческое воображение, и такимъ путемъ онъ восполняль недостатокъ культуры своего ума, пробълы своего художнического воспитанія. Онъ хорошо понималь, что ему следуеть воздерживаться отъ излишней роскоши въ творчествъ, отъ разгула воображенія, что большія умственныя силы нуждаются въ большой дисциплинъ. Иначе онъ явился бы въ искусствъ дикаремъ, какимъ Шекспиръ казался Вольтеру. Поистинъ изумительно это самообладаніе художника, эта разсудительность въ творчествъ поэта, который быль одарень такой подавляющей, быющей черезь край силою вдохновенія, -- художника, въ головъ котораго столиилось столько яркихъ образовъ, столько художественныхъ идей, столько глубокихъ созерцаній... Всю эту роскошь мысли нужно было упорядочить, чтобы претворить ее въ созданія "твердыя", "сущныя" и "совершенныя въ высокой трезвости духа". Гоголь достигаль этого природною критическою силою своего ума.

3) Творческая и критическая работа этого художника была громадна. Иначе говоря, громадна была затрата умственных силь. Но, къ сожальнію, крайне слаба была другая его работа—какъ "ученика", т. е. работа накопленія умственных силь. Его огромный умъ слишкомъ много тратиль и слишкомъ скудно питался. Оттуда—недостатокъ свъта, отсутствіе широкихъ идей, принадлежащихъ къ величайшимъ умственнымъ благамъ, которыя выработало человъчество,—тъхъ идей, которыя, не принимая непосредственнаго участія въ самомъ процессъ художественнаго творчества, имъютъ, однако, огромное значеніе для искусства, ибо

питають и просвёщають умъ художника. "Ленивый ученикъ", Гоголь довольствовался крохами этой пищи...

Онъ не зналъ, что значитъ настоящая умственная пища, какой приливъ душевныхъ силъ является слѣдствіемъ общенія съ великими умами, какъ освѣжается вся душа и окрыляется мысль отъ расширенія умственныхъ горизонтовъ. Ему не дано было испытать животворящихъ радостей мысли, освободившейся отъ оковъ старыхъ формъ и идей и бодро стремящейся впередъ вмѣстѣ съ человѣчествомъ,—высокихъ радостей созерцанія безконечности въ стремленіяхъ ума и идеала.

Но истинному художнику не можетъ быть чуждо нѣкоторое, хотя бы смутное и робкое, чаяніе этихъ радостей мысли. Оно не было вполнѣ чуждо и Гоголю. Таясь въ глубинѣ его художественныхъ созерцаній, оно могло освободиться и взыграть, если бы продлился тотъ "чудный сонъ", который Гоголь "видѣлъ въ своей жизни": просвѣщающее и облагораживающее вліяніе Пушкина со всею широтою его возэрѣній, со всею глубиною его общечеловѣческихъ сочувствій, со всею лучезарностью и движеніемъ его мысли...

ГЛАВА III.

Гоголь и Россія. — "Русь изъ прекраснаго далека".

I.

Въ предыдущей главъ мы указали на русское національное призваніе Гоголя, которое такъ странно совмъщалось у него съ равнодушіемъ или даже отвращеніемъ къ изученію историческаго прошлаго той "Руси", пъвцомъ которой онъ былъ по преимуществу. Отмътить это противоръчіе намъ нужно было для характеристики ума Гоголя.

Въ настоящей главъ мы хотъли бы раскрыть психологію отношеній Гоголя къ Руси, какъ цълому. Насъ интересують здъсь внутренняя, интимная сторона національно-русскаго призванія Гоголя и отраженіе различныхъ душевныхъ процессовъ, сюда относящихся, въ его мысли, въ его самосовнаніи.

Этотъ вопросъ неразрывно связанъ съ исторіей главнаго труда Гоголя, — труда, которымъ онъ такъ блистательно оправдалъ свое призваніе великаго національнаго поэта Руси. Вотъ и посмотримъ, какими настроеніями, чувствами и мыслями сопровождалась работа надъ "Мертвыми душами", за-

полнившая собою всю жизнь поэта съ половины 30-хъ годовъ и до самой смерти.

"Поэма" была начата въ 1835 году, задуманная на сметъ, данный Пушкинымъ, въ видъ большого сатирическаго произведенія, въ которомъ должна была отразиться, "коть съ одного боку", вся Россія 1).

По мфрф того, какъ работа подвигалась впередъ и планъ "Одиссеи" Чичикова выяснялся и развертывался въ головъ великаго "хохла", -- этотъ "хохолъ" все живъе чувствовалъ и яснъе сознавалъ, что онъ дълаетъ великое дъло, которое будеть имъть огромное всероссійское національное значеніе. Въ этой мысли онъ укрвилялся съ каждымъ шагомъ впередъ и не стъснялся выражать ее въ письмахъ. Такъ, уже въ іюнъ 1836 года, когда работа была только въ началь, онъ писаль Жуковскому:Мив ли не благодарить Пославшаго меня на землю! Каких высоких, каких торжественных ощищеній, невидныхь, незамьтныхь для свыта, исполнена жизнь моя! Клянусь, я что-то сдълаю, чего не дълаетъ обыкновенный человтке 2). Львиную силу чувствую въ душъ своей и замътно слышу переходъ свой изъ дътства, проведеннаго въ школьныхъ занятіяхъ, въ юношескій возрастъ".... Далье говорится, что все, написанное имъ досель, это толькоученическая проба пера, незрълые опыты, и что настоящее, великое дъло-впереди. Для совершенія этого дъла ему необходимо быть, какъ можно дольше вню отечества, на чужбинь, гдь онь отдохнеть душой оть тьхь непріятностей и огорченій, которыя онъ испыталь на родинв и которыя въ концъ концовъ послужатъ ему на пользу, въ интересахъ его внутренняго воспитанія. "Для меня ніть жизни вні моей жизни (читаемъ: здъсь), и нынъшнее мое удаленіе изъ

^{1) &}quot;Началъ писать "Мертвыхъ душъ". Сюжетъ растянулся на предлинный романъ и, кажется, будетъ сильно смъшонъ... Мнъ хочется въ этомъ романъ показать хотя съ одного боку всю Русь". (Письмо къ Пушкину отъ 7-го октября 1835 г.).

²) Курсивъ мой.

отечества, оно послано свыше тъмъ же Великимъ Провидъніемъ, ниспославшимъ все на воспитаніе мое"... (Письмо изъ Гамбурга отъ 28/16 іюня 1836 г.).

Какъ бы мы ни относились къ вопросу объ "искренности" Гоголя, но мъста въ письмахъ, въ родъ приведеннаго, гдъ онъ говоритъ о своемъ воспитании для великаго подвига, объ участіи Промысла, о необходимости для него далекихъ путешествій и жизни за границею и т. д, дышутъ несомивнною правдой; въ нихъ своеобразно выразилось то, что въ самомъ дълъ происходило въ его душъ, когда совершался рость его духа и генія, и перековывались въ поэтическія созерцанія и художественные образы различныя впечатлівнія, вынесенныя изъ Россіи. Удалиться отъ непосредственнаго общенія съ объектами этихъ впечатліній, избавиться такимъ путемъ отъ чувствъ личнаго раздраженія и горечи было для Гоголя въ данное время насущною потребностью художникамыслителя. Въ письмъ къ Погодину (отъ 22/10 сент. того же 1836 г.) онъ говорить между прочимъ: "...на Руси есть такая изрядная коллекція гадкихъ рожъ, что невтерпежъ миъ пришлось глядъть на нихъ. Даже теперь плевать хочется, когда объ нихъ вспомню. Теперь передо мною чужбина, вокругъ меня чужбина...". Онъ живо чувствовалъ и сознавалъ, что для самаго успъха его дъла ему необходима "чужбина", какъ среда, гдъ тягостныя и безотрадныя впечатльнія, вынесенныя изъ Россіи, волшебною силою вдохновенія превращались въ художественные образы, а горечь, раздраженіе и весь порядокъ скорбныхъ чувствъ смінялись тіми "высокими, торжественными ощущеніями", о которыхъ говорить онъ въ вышеприведенной выдержки изъ письма къ Жуковскому. Въ этомъ же письмъ говорится: "Долье, какъ можно долве буду въ чужой землв. И хотя мысли мои, мое имя, мои труды будутъ принадлежать Россіи, но самъ я, но бренный составъ мой будеть удаленъ отъ нея".

Работу надъ «Мертвыми душами», начатую въ Россіи, Гоголь возобновилъ въ Швейцаріи, въ Веве, о чемъ узнаемъ

изъ письма къ Данилевскому (изъ Лозанны, отъ 23 окт. 1836 г. 1) и изъ письма къ Жуковскому отъ 12 ноября того же года изъ Парижа: «Осень въ Веве, наконецъ, настала прекрасная, почти лѣто. У меня въ комнатъ сдълалось тепло, и я принялся за «Мертвыхъ душъ», которыхъ было началъ въ Петербургъ. Все начатое передълалъ я вновь, обдумалъ болъе весь планъ и теперь веду его спокойно, какъ лѣтопись... Если совершу это твореніе такъ, какъ нужно его совершить, то... какой огромный, какой оригинальный сюжетъ! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится въ немъ!»... 2)

Работа продолжалась въ Парижъ. «Мертвыя» текутъ живо, свъжъе и бодръе, чъмъ въ Веве (читаемъ въ томъ же письмъ), и мнъ совершенно кажется, какъ будто я въ Россіи: передо мною все наше, наши помъщики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы,—словомъ, вся православная Русь. Мнъ даже смъшно, какъ подумаю, что я пишу «Мертвыхъ душъ» въ Парижъ... Огромно, велико мое твореніе в) и не скоро конецъ его. Еще возстанутъ противъ меня новыя сословія и много разныхъ господъ, но что жъ мнъ дълать! Уже судьба моя враждовать съ моими вемляками. Терпъніе! в) Кто-то незримый пишетъ передо мной могущественнымъ жезломъ. Знаю, что мое имя послъменя будетъ счастливъе меня, и потомки тъхъ же земляковъ моихъ, можетъ быть, съ глазами влажными отъ слезъ произнесутъ примиреніе моей тъни" 4).

Этотъ мотивъ—«вражда» съ «земляками», тягота и горечь русскихъ впечатлѣній и отношеній, откуда—живая потребность быть подальше отъ нихъ и жить на «чужбинѣ», гдѣ эти впечатлѣнія претворяются въ художественныя созер-

^{&#}x27;) "Я сдълался болъе русскимъ, чъмъ французомъ, въ Веве, и это все произошло отъ того, что я началъ здъсь писать и продолжать моихъ "Мертвыхъ душъ", которыхъ было оставилъ".

²⁾ Курсивъ мой.

³⁾ Курсивъ Гоголя.

⁴⁾ Курсивъ мой.

-цанія Руси и гдь, такимъ образомъ, должно осуществиться великое національное призваніе поэта, -- этотъ мотивъ повторяется и на разные лады звучить въ последующихъ письмахъ. Въ отвътъ на письмо Погодина, гдъ послъдній, сообщая о смерти Пушкина, звалъ Гоголя въ Россію, Гоголь пишетъ между прочимъ: «Ты приглашаешь меня тхать въ вамъ. Для чего? Не для того ли, чтобъ повторить въчную участь поэтовъ на родинъ? Для чего я пріъду? Не видалъ я развъ дорогого сборища нашихъ просвъщенныхъ невъждъ?.. О, когда я вспомню нашихъ судей, меценатовъ, ученыхъ умниковъ, благородное наше аристократство, сердце мое содрогается при одной мысли! Должны быть сильныя причины, когда онъ меня заставили ръшиться на то, на что бы я не хотълъ ръшиться».... Все живъе чувствоваль онъ и яснъе сознаваль невозможность для него ужиться среди непосредственныхъ впечатльній тогдашней русской дыйствительности и, оставаясь въ Россіи, любить ее любовью художника-мыслителя и художника-гражданина. Только на «чужбинъ», созерцая Русь «изъ прекраснаго далека», онъ ощущалъ живое дъйствіе этой любви, этого стихійнаго тяготёнія къ своему національному цълому. И воть онъ пишеть (въ томъ же письмъ къ Погодину-изъ Рима 30 марта 1837 г.): «Или я не люблю нашей неизмеримой, нашей родной русской земли! Я живу около года въ чужой земль, вижу прекрасныя небеса, міръ; богатый искусствами и человъкомъ; но развъ перо мое принялось описывать предметы, могущіе поразить всякаго? Ни одной строки не могь я посвятить чуждому. Непреодолимою цтпью прикованъ я къ своему, и нашъ бъдный, неяркій міръ нашь, наши курныя избы, обнаженныя пространства предпочель я небесамь лучшимь, привътливъе глядящимь на меня. И я ли послъ этого могу не любить своей отчизны?» 1)

Поселившись въ Римъ, Гоголь весьма скоро приспособился

¹⁾ Курсивъ мой.

къ условіямъ тамошней жизни и чувствоваль себя въ Въчномъ городъ такъ хорошо, какъ нигдъ. Климатъ, природа, памятники искусства, вся обстановка жизни, національный складъ итальянцевъ, пришедшійся ему такъ по душъ, — все это располагало его къ созерцательной жизни и творческой работъ художника, и здъсь онъ и написалъ (въ разное время) большую часть «Мертвыхъ Душъ». Если бы возможно было, онъ остался бы здёсь навсегда. И съ этихъ поръ въ его письмахъ то и дъло встръчаются восторженные гимны Италіи и въ особенности Риму, и почти всегда эти гимны сопровождаются выраженіемъ різкаго, порою очень странно звучащаго отвращенія къ жизни Россіи. Вотъ одно изъ наиболье характерныхъ мъстъ этого рода: «Она (Италія)-моя! Никто въ міръ ея не отниметъ у меня. Я родился здъсь. Россія, Петербургъ, снъга, подлецы, департаменть, канедра, театръ-все это мню снилось. Я проснулся опять на родиню» (Письмо къ Жуковскому, отъ 30-го окт. 1837 г., изъ Рима). «О Римъ, Римъ! О Италія! Чья рука вырветь меня отсюда!» восклицаетъ онъ въ письмъ къ Данилевскому (2 февр. 1838 г.). Въ письмахъ этого времени встръчаются иногда довольно пространныя описанія Рима, его памятниковъ, часовенъ, процессій, карнавала и т. д., и по всему видно, что совокупность условій жизни и впечатленій Рима действовала самымъ благотворнымъ образомъ на творчество Гоголя,--здёсь посёщали его лучшія его вдохновенія, здёсь, вмёстё съ чувствомъ отвращенія къ жизни въ Россіи, особливо ярко вспыхивала у него та любовь къ Россіи или то стихійное тягот вніе къ ней, въ силу котораго почти всв его художническіе помыслы устремлялись къ ней одной. Изъ этого-то «прекраснаго далека» и созерцалъ онъ которой и былъ посвященъ грандіозный замысель великой поэмы. Вспомнимъ: «...Русь! Русь! вижу тебя, изъ моего чуднаго, прекраснаго далека тебя вижу. Бъдно, разбросанно и непріютно въ тебъ; не развеселять, не испугають взоровъ дерзкія дива природы, вінчанныя дерзкими дивами

искусства... Открыто-пустынно и ровно все въ тебъ... Но какая же непостижимая, тайная сила влечетъ къ тебъ? Почему слышится и раздается немолчно въ ушахъ твоя тоскливая, несущаяся по всей длинъ и ширинъ твоей, отъ моря до моря, пъсня? Что въ ней, въ этой пъснъ? Что зоветъ, и рыдаетъ, и хватаетъ за сердце? Какіе звуки болъзненно лобзаютъ и стремятся въ душу, и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь отъ меня?..» («Мертвыя души», ч. І, гл. XI).

Это была прежде всего связь тяготвнія великаго художника къ тому національному цёлому, къ которому онъ принадлежаль. Живве всего чувствоваль онъ всю силу этого тяготвнія въ минуты вдохновеній, въ часы творчества. А вдохновеніе наичаще приходило къ нему въ Римв, и тамъ дольше, чвмъ гдв-либо, онъ могъ предаваться творческой работв,—неудивительно поэтому, что именно въ Римв онъ и любилъ Русь, предметь его художническихъ замысловъ, его вдохновеній.

И онъ все болье и болье привязывался къ Италіи, къ Риму, —ему казалось, что это и есть его настоящая, его поэтическая родина, «родина души его», и будто только здъсь онъ можетъ жить и творить... Такъ, въ письмъ къ Балабиной (изъ Рима, 1838 г.) онъ, между прочимъ, говоритъ: «И когда я увидълъ, наконецъ, во второй разъ Римъ, о, какъ онъ мнъ показался лучше прежняго! Мнъ казалось, что будто я увидълъ свою родину, въ которой нъсколько лътъ не бывалъ я, а въ которой жили только мои мысли. Но нътъ, это все не то: не свою родину, но родину души своей я увидълъ, гдъ душа моя жила прежде меня, прежде чъмъ я родился на свътъ».

И темъ невозможнее представлялась ему жизнь въ другихъ местахъ, въ особенности же въ Россіи. На пути въ отечество, въ сентябре 1839 г., онъ писалъ Жуковскому: "Если бы вы знали, чего мне стоило бросить Римъ, хотя я знаю, что это не больше, какъ на два-три месяца. Но кля-

нусь, если бы мнѣ предлагали милліоны, и эти милліоны помножили еще на милліоны, и потомъ удесятерили эти милліоны, я бы не взяль ихъ, если бы это было съ условіємъ оставить Римъ, хотя на полгода"... Гоголь въ этотъ пріѣздъ возвращался въ Россію впервые послѣ смерти Пушкина, и тѣмъ безотраднѣе казалась ему жизнь въ отечествѣ. Прибывъ въ Москву и собираясь въ Петербургъ, онъ писалъ Плетневу: "Боже, какъ странно! Россія безъ Пушкина! Я пріѣду въ Петербургъ—и Пушкина нѣтъ! Зачѣмъ вамъ теперь Петербургъ?.. Бросьте все, и ѣдемъ въ Римъ! О, если бы вы знали, какой тамъ пріютъ для того, чье сердце испытало утраты. Какъ наполняются тамъ незамѣстимыя пространства пустоты въ нашей жизни! Какъ близко тамъ къ небу! Боже, Боже, Боже! О, мой Римъ! Прекрасный мой, чудесный Римъ!.."

Наступилъ 1840 годъ, а Гоголь все еще сидълъ въ Москвъ. Какъ тяжело ему было въ Россіи, какъ бользненно-страстно рвался онъ въ Италію, въ "свой" Римъ, видно изъслъдующихъ мъсть его писемъ.

"Боже! Какъ я глупъ, какъ я ничтожно, несчастноглупъ! И какое странное мое существованіе въ Россіи! (пишеть онъ Жуковскому изъ Москвы въ началъ 1840 года). Какой тяжелый сонъ! О, когда бъ скорве проснуться! Ничто, ни люди, встрвча съ которыми принесла бы радость, ничто не въ состояніи возбудить меня. Нісколько разві брался я за перо писать вамъ и какъ деревянный стоялъ предъ столомъ: казалось, будто застыли всв нервы, находящіеся въ соприкосновеніи съ моимъ мозгомъ, и голова моя окаментла". Въ другомъ письмъ къ Жуковскому (того же года) онъ опять восклицаетъ: "О Римъ мой, о мой Римъ! Ничего я не въ силахъ сказать... Но если бы меня туда перенесло теперь, Боже, какъ бы освъжилась душа моя"! Около того же времени (25 января 1840 г.) въ письме къ Погодину онъ говорить: "О, выгони меня, ради Бога и всего святого, вонъ въ Римъ, да отдохнетъ душа моя! Скорве, скорве! Я погибну"...

Наконецъ, ему удалось убхать. Въ декабрб того же 1840 года онъ уже былъ въ Римъ и опять принялся за работу надъ "Мертвыми душами", а вмъсть съ тьмъ вновь явилось у него и чувство любви къ Россіи. 28 декабря (1840 г.) онъ писалъ С. Т. Аксакову изъ Рима: "Я теперь приготовляю къ совершенной очисткъ первый томъ "Мертвыхъ душъ". Перемъняю, перечищаю, многое перерабатываю вовсе... Между тъмъ дальнъйшее продолжение его выясняется въ головъ моей чище, величественнъе, и теперь я вижу, что можеть быть современемь кое-что колоссальное, если только позволять слабыя мои силы"... Ниже, въ этомъ же письмъ, характерно следующее: "Да, чувство любви ко Россіи, слышу, во мню сильно 1). Многое, что казалось мнв прежде непріятно и невыносимо, теперь мнѣ кажется опустившимся въ свою ничтожность и незначительность, и я дивлюсь, ровный и спокойный, какъ я могъ ихъ когда-либо принимать такъ близко къ сердцу".

Въ концъ 1841 года Гоголь пріъхалъ въ Россію для печатанія первой части "Мертвыхъ душъ". Много непріятностей и хлопотъ (главнымъ образомъ въ отношеніи къ цензурћ) ожидало его здъсь, и уже 10 января 1842 г. онъ писалъ (изъ Москвы) Максимовичу: "Если бы ты зналъ, какъ тягостно мое существованіе здёсь, въ моемъ отечестве! Жду и не дождусь весны и поры ахать въ мой Римъ, въ мой рай, гдѣ я почувствую вновь свѣжесть и силы, охладѣвающія здёсь"... Въ письмё къ Балабиной (того же года) читаемъ: "Вы уже знаете, какую глупую роль играеть моя странная фигура въ нашемъ родномъ омуть, куда я не знаю, за что попалъ. Съ того времени, какъ только ступила моя нога въ родную землю, мнв кажется, какъ будто я очутился на чужбинъ ... Въ письмъ къ Плетневу (6 февр. 1842 г.) онъ восклицаетъ: "О, какъ бы мнъ нуженъ былъ теперь мой тихій уголъ въ Римъ, куда не доходятъ до меня никакія тревоги и волненія!"

¹⁾ Курсивъ мой.

Печатаніе "Мертвыхъ душъ" приближалось къ концу, и въ маћ 1842 г., собираясь опять за границу, въ "свой" Римъ, Гоголь писалъ Данилевскому: "Черезъ недълю послъ сего письма ты получишь отпечатанныя "Мертвыя души", преддверіе немного бледное той великой поэмы, которая строится во мив и разрвшить, наконець, загадку моего существованія". А по пути въ Римъ онъ писалъ Жуковскому изъ Берлина (26 іюня 1842 года): "Скажу только, что съ каждымъ днемъ и часомъ становится свътлъй и торжественнъй въ душъ моей, что не безъ цъли и значенія были мои повздки, удаленія и отлученія отъ міра, что совершалось незримо въ нихъ воспитание души моей... что чаще и торжественный льются душевныя мои слезы и что живеть въ душъ моей глубокая, неотразимая въра, что небесная сила поможеть взойти мнв на ту лестницу, которая предстоить мнъ, хотя я стою еще на нижайшихъ и первыхъ ступеняхъ ея. Много труда и пути, и душевнаго воспитанія впереди еще! Чище горняго снъта и свътлъй небесъ должна быть душа моя, и тогда только я приду въ силы начать подвиги и великое поприще, тогда только разрѣшится загадка моего существованія!"

II.

Этотъ рядъ выдержекъ рисуетъ намъ тотъ сложный процессъ, который совершался въ душѣ Гоголя въ періодъ между 1836 и 1842 годами, когда онъ работалъ надъ первою частью "Мертвыхъ Душъ". Теперь постараемся дать этому душевному процессу посильное истолкованіе.

Въ его составъ входитъ рядъ моментовъ, изъ которыхъ каждый можетъ имъть свое объяснение, являющее ложный видъ "достаточнаго основания".

Первый моменть — "бъгство" Гоголя изъ Россіи въ 1836 году и горечь, съ которою онъ отзывается объ отечествъ въ это время, — легко объясняется тъми непріятно-

стями, какія выпали на долю автора "Ревизора" послѣ постановки знаменитой комедіи. Это была первая и, кажется, самая бурная "ссора" Гоголя съ соотечественниками. Ему пришлось испытать то, что весьма часто приходится испытывать писателямъ-сатирикамъ. Болъзненно-чуткая и неуравновъшенная натура Гоголя была глубоко потрясена всъми кривыми толками, всей массой тупого непониманія, осужденіями и своего рода "гоненіями" со стороны подавляющей массы общества, представителями которой были въ литературь Сенковскій, Булгаринь и др. Последовавшая вскорь смерть Пушкина явилась новымъ ударомъ, который, можно сказать, ошеломиль Гоголя, выбиль его изъ колен 1). Потухъ свъть, озарявшій его темный путь, и отнынь великое дело Гоголя должно было совершаться во тьмъ; разсъять эту тьму не могли -- для него-тъ лучи, которые исходили отъ немногихъ просвъщенныхъ умовъ, понимавшихъ, что такое Гоголь и въ чемъ его призваніе. Россія безъ Пушкина казалась ему еще непригляднье, еще безотраднье... И всь еголичныя, интимныя-связи съ отечествомъ ограничивались теперь семьею и дружескими отношеніями съ нъсколькими лицами, которые его понимали и ценили, которыхъ онъ любилъ, —съ Данилевскимъ, Прокоповичемъ, Жуковскимъ, Погодинымъ, Аксаковымъ и нъкоторыми другими.

Второй моменть—очарованіе Италіей вообще и Римомъ въ частности—нетрудно истолковать тѣмъ, что, при общемъ благотворномъ дѣйствіи на Гоголя климата, природы Италіи, культурной обстановки и художественныхъ впечатлѣній, какія доставлялъ Вѣчный городъ, здѣсь впервые, какъ говорится, окончательно "наладилась" завѣтная работа Гоголя надъ "Мертвыми душами" и установился извѣстный навыкъ, всегда

Digitized by Google

⁴⁾ См. соотвътственныя мъста изъ писемъ, приведенныя въ гл. II (и въ этой). Вотъ еще одно: "Смерть Пушкина, кажется, какъ будто отняла отъ всего, на что погляжу, половину того, что могло бы меня развлекатъ" (въ письмъ къ Прокоповичу отъ 19 сентября 1837 г. изъ Женевы).

необходимый для творчества. Уже въ силу одного этого навыка, т. е. усвоенной умомъ привычки работать среди опредъленной обстановки, Гоголь долженъ былъ привязаться къ Италіи, и эта привязанность къ місту по необходимости становилась тъмъ сильнъе, чъмъ дальше подвигалась работа. А эта работа была "вдохновенная", она доставляла поэту высокія умственныя наслажденія, и "восторги творчества" ассоціировались съ впечатлініями міста. Выражая свою восторженную любовь къ Риму, Гоголь, повидимому, не подозрѣвалъ, что для него величіе Колизея, красота храма св. Петра, таинственная прелесть старинныхъ часовенъ и т. д. усугублялись тымь, что здысь, среди этой чарующей обстановки, созидались и разрабатывались фигуры "Мертвыхъ Душъ". Нельзя сомивраться въ томъ, что Чичиковъ съ Коробочкой, Селифанъ съ Петрушкой и т. д. не мало украсилидля Гоголя-Римъ, и что Колизей и храмъ св. Петра безъ Собакевича, Манилова и Ноздрева утратили бы для поэта Руси добрую долю своего обаянія...

Третій моменть—любовь къ Россіи изъ прекраснаго далека—психологически связанъ съ только что разсмотрѣннымъ вторымъ: "восторги творчества", усугубляя очарованіе Римомъ, въ то же время примиряли поэта съ его отечествомъ, которое и было объектомъ этого творчества. Горечь личныхъ обидъ, острыя впечатлѣнія недавней "ссоры" съ соотечественниками исчезали въ радостяхъ вдохновеннаго труда. Среди созерцаній Руси изъ прекраснаго далека не было мѣста другимъ чувствамъ къ ней, кромѣ чувства той любви, подъ которою скрывалось тяготѣніе великаго поэта къ своему національному цѣлому.

Четвертый моменть—тоска по Риму и отвращение къжизни въ Россіи, которыя Гоголь испытываль и такъ откровенно-рѣзко выражаль въ своихъ письмахъ во время пріѣздовъ въ отечество,—получаеть свое освѣщеніе изъ предыдущаго. Отъ поэзіи творчества Гоголь переходилъ тогда къ тягостной для него прозѣ существованія, осложненной кътому же денежными затрудненіями, долгами, недоразумѣніями съ друзьями московскими и петербургскими, хлопотами и всякимъ инымъ, какъ онъ выражался, "дрязгомъ жизни" 1). Гоголь примирялся съ отечествомъ и любилъ его, когда, живя въ Италіи, онъ создавалъ свои великолѣпные національные типы (ихъ отрицательный характеръ ничуть не мѣшалъ этой "любвп"); но когда онъ, живя въ Россіи, вступалъ въ непосредственное, дѣловое, житейское общеніе съ дѣйствительностью, воплощенною въ этихъ типахъ, тогда онъ чувствовалъ себя отвратительно.

Итакъ, всъ эти моменты находятъ себъ объяснение, и притомъ такъ, что раскрывается внутренняя связь между ними.

Но нетрудно видъть всю недостаточность этихъ объясненій: въ своей элементарности и прагматичности они годились бы для всякаго другого писателя, который находился бы въ положеніи Гоголя. Они только намѣчаютъ, но отнюдь не истолковываютъ намъ данный душевный процессъ во всей его индивидуальности—такъ, чтобы изъ этого объясненія мы могли вынести что-нибудь новое, что-нибудь опредъленное и болѣе или менѣе важное для пониманія душевнаго уклада Гоголя и для освѣщенія темныхъ путей его творчества.

Поэтому необходимо, такъ сказать, индивидуализировать приведенныя объясненія, исходя изъ того, что въ предыдущихъ главахъ мы говорили о характерныхъ особенностяхъ ума и натуры творца "Мертвыхъ душъ".

Обращаясь къ этой задачь, мы сперва укажемъ на слъдующее обстоятельство, которое, на первый взглядъ, легко



¹⁾ Эти отношенія къ друзьямъ и "недоразумѣнія" прослѣжены шагъ за шагомъ и документально разслѣдованы въ капитальномъ трудѣ В. И. Шенрока ("Матеріалы для біографіи Гоголя", именно въ томахъ ІІІ и ІV). Въ высокой степени цѣнны эпизодическія изслѣдованія покойнаго Н. С. Тихоправова (въ примѣчаніяхъ къ изданію сочиненій Гоголя) и проф. А. И. Кирпичникова ("Гоголь и Погодинъ" въ "Русск. Стар.").

можно принять за выражение одного изъ многихъ противорвчій, какими такъ богата натура Гоголя. Мы указывали уже на замкнутость, на неэкспансивность, какъ на одну изъ отличительныхъ чертъ его характера. Это признается встми и было отмечено еще современниками великаго писателя. И однако же едва ли найдется у насъ другой писатель, который бы раскрыль намъ свою душу, свои тайныя помышленія, свои страданія, наконець, разныя подробности, относящіяся къ творческой работь, въ такой мьрь, съ такою обстоятельностью, съ такою откровенностью, какъ сдёдаль это Гоголь-и не только въ интимныхъ письмахъ къ друзьямъ, но и въ печатныхъ произведеніяхъ ("Авторская исповъдь", нъкоторыя страницы "Выбранныхъ мъстъ"). Въ то время, какъ въ сочиненіяхъ и письмахъ Пушкина и Тургенева едва можно набрать сотню-другую строкъ этого рода признаній, въ литературномъ наслідіи и письмахъ Гоголя они занимають не одну сотню страниць 1). Какъ согласовать это съ столь извъстною скрытностью, неэкспансивностью Гоголя?

Противоръчіе — только кажущееся и оно легко устраняется слъдующимъ соображениемъ.

Въ первой главъ мы указали на то, что творчество Гоголя было, въ значительной мъръ, субъективнымъ, т.-е. онъ во многомъ исходилъ изъ самонаблюденія, и свои художественные эксперименты зачастую производилъ надъ самимъ собой. Повидимому, эта субъективность въ творчествъ связывалась интимными психическими узами съ самой натурой Гоголя, съ его характеромъ, какъ человъка, и представляла собою, въ сферъ творчества, какъ бы отраженіе и коррелятъ все той же замкнутости въ себъ, все той же склон-



⁴⁾ Если выбрать и соединить въ одной книгъ всъ мъста изъ писемъ, прямо или косвенно относящіяся къ художественному творчеству Гоголя, то вмъстъ съ "Авторскою исповъдью" и соотвътственными частями "Выбранныхъ мъстъ изъ переписки", они составили бы порядочный томъ.

ности носиться съ своимъ "я", предаваться самонаблюденію въ большей мірь, чімь это свойственно всякой рефлектирующей и стремящейся къ самосознанію душь человыческой. Вообще представляется въроятнымъ, что существуетъ психическое сродство между такимъ избыткомъ самоанализа, какъ чертой характера, и субъективностью творчества, какъ особенностью таланта, подобно тому, какъ, съ другой стороны, должно быть сродство между душевнымъ укладомъ, характеризующимся извъстнымъ минимумомъ самоуглубленія и здоровою воздержанностью самоанализа, и объективностью творческаго дара. Какъ бы то ни было, но въ отношеніи къ Гоголю нельзя отрицать того, что субъективный пошибъ его творчества какъ нельзя лучше гармонировалъ съ присущей ему "замкнутостью въ себъ", съ его самоуглубленіемъ и самоанализомъ-чертами, которыя, въ своемъ последовательномъ и отчасти болъзненномъ развитіи, привели вскоръ къ самобичеванію, самоугрызеніямъ, покаяніямъ и, наконецъ, къ чостановкъ извъстной мудреной задачи "своего душевнаго дъла". При сильно выраженныхъ особенностяхъ такого душевнаго уклада и соотвътственнаго ему творческаго дарованія внутреннее "я" человіка становится центромъ, вокругъ котораго вращаются сперва всё его личныя стремленія, помыслы, идеалы, -- вообще его внутренній міръ, а потомъ въ эту сферу исихического тяготънія вовлекается и внъшняя среда, и тогда все, что не "я", все объективное, получаетъ для человъка смыслъ и значеніе лишь постольку, поскольку оно входить въ кругъ его душевныхъ интересовъ и въ сферу его интимнаго пониманія. Все прочее, безъ дальнихъ разговоровъ, отметается, какъ ненужное, неважное, пустое, ничтожное. На такой ступени развитія субъективности натуры, ума и дарованія осуществляется тотъ укладъ духа, который можно назвать "эгоцентричностью сознанія". Этоть укладь ясно видень у Л. Н. Толстого, впрочемъ, отчасти умъряемый широкимъ образованиемъ и разносторонностью его умственныхъ и нравственныхъ интересовъ. У Гоголя несомнѣнно была очень ярко выраженная эгоцентричность сознанія, къ тому же усиливаемая скудостью его образованія, темнотою его мысли, узкостью и неразносторонностью его умственныхъ интересовъ.

Вотъ именно этотъ эгоцентрический укладъ психики Гоголя и долженъ быть взятъ исходною точкой всъхъ попытокъ психологическаго (и при томъ "индивидуализированнаго") объясненія тъхъ душевныхъ состояній, которыя переживаль великій поэтъ въ разсматриваемое время, когда онъ, созерцая Русь изъ прекраснаго далека, воплощаль эти созерцанія въ безсмертныхъ образахъ и картинахъ "Мертвыхъ душъ".

И прежде всего, для устраненія вышеуказаннаго кажущагося противоръчія, замътимъ, что, какъ бы человъкъ ни быль скрытень и неэкспансивень, разъ онъ-натура эгоцентрическая и "полонъ собою", онъ невольно разскажетъ о себъ, откроетъ свою душу тъмъ или инымъ способомъ гораздо скорве и полнве, чвмъ сдвлалъ бы это самый экспансивный, самый откровенный человъкъ неэгоцентрическаго уклада, — человъкъ, который не "носится" съ самимъ собою, а больше смотрить по сторонамъ и живеть впечатленіями міра вившняго въ большей мірь, чімь рефлексіей своего внутренняго бытія. По пословиць "что у кого болить, тоть о томъ и говоритъ", человъкъ, полный собою, говоритъ о себъ, потому что быть полнымъ собою значитъ, въ извъстномъ смыслъ, "болъть собою". Слишкомъ центральное положение человъческаго "я" есть бремя неудобоносимое. Вниманіе, напряженно устремленное внутрь, утомляется скорве и больше, чамъ внимание, обращенное къ внашнему міру. Ибо и темно, и тревожно въ душт человтческой, и взоръ, прикованный къ ея микрокосму, смотритъ въ темноту и по необходимости становится игралищемъ всего, что тамъ залежалось, что тамъ глухо бродить, что прячется, -- разныхъ болье или менье допотопныхъ понятій, спящихъ въ безсознательной сферъ духа, различныхъ иллюзій сознанія и тайныхъ самообмановъ чувствъ, имъющихъ свой смыслъ и свою душевную правду, пока они скрыты, и становящихся ложью, когда обнаружены.

Даже при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ жизни и дъятельности человъка, когда онъ не испытываеть особливой душевной боли, когда онъ вполнъ удовлетворенъ и счастливъ, крайній эгоцентризмъ духа есть уже бользнь и самъ по себъ можетъ причинить своеобразныя душевныя страданія, особыя томленія мысли и совъсти, которыя будутъ искать себъ выхода, дъйствительнаго или кажущагося облегченія во вившнихъ выраженіяхъ, въ словъ, въ признаніи, въ исповеди, въ поступкахъ, наконецъ въ творчестве, если человакъ обладаетъ творческимъ даромъ. Тамъ паче становится этотъ укладъ бользнью, иногда роковою, и причиняетъ жестокія муки тогда, когда условія жизни и д'вятельности человъка складываются неблагопріятно для него, когда ему приходится такъ или иначе переносить несправедливость, "кривые толки, шумъ и брань", видъть себя непонятымъ, неоцьненнымъ, когда наносятся чувствительные удары самолюбію или самомнічнію человіка. И человікь будеть очень и очень "боленъ собою" и непремънно будетъ много, много говорить или писать все о себъ, о себъ...

Такъ было съ Гоголемъ.

Высказаться, "испов'вдаться", и при томъ публично, выразиться въ слов'в и въ д'в'йствій (и ч'вмъ меньше "д'в'йствія", т'вмъ больше "словъ") было для Гоголя, какъ натуры крайне эгоцентрической, глубокою душевною потребностью. Оттуда и обиліе интимныхъ писемъ, и "Авторская испов'єдь", и появленіе "Выбранныхъ м'встъ изъ переписки съ друзьями", и страсть поучать, наставлять, пропов'єдывать (если не ошибаюсь, вс'в пропов'єдники—натуры эгоцентрическія), и наконецъ, тотъ особый родъ "хлестаковщины", который составляль одну изъ чертъ личнаго характера Гоголя и долженъ быть отличаемъ отъ хлестаковщины, воплощенной въ безсмертномъ образів Ивана Александровича

Хлестакова. Лично-гоголевская хлестаковщина—не лганье, а только невольное, преждевременное оповъщение о литературныхъ предприятияхъ, которыя только задуманы ("8 томовъ" истории Малороссіи, "нѣчто колоссальное"—о "Мертвыхъ душахъ", которыя едва были начаты, выражение "преддверие той великой поэмы, которая строится во мнъ" и т. д. и т. д.). Это только отсутствие авторской скромности. Повидимому, скромность вообще не свойственна натурамъ эгоцентрическимъ 1).

Читая вышеприведенныя выдержки изъ писемъ, вникая въ ихъ приподнятый, бользненно-страстный тонъ. мы живо представляемъ себъ повышенное самочувствіе человъка, который ни при какихъ условіяхъ не перестаеть ощущать давленіе своего "я". Случится ли непріятность, горе, или, наоборотъ, явится радость, --это "я" давитъ на душу и окрашиваеть всё впечатлёнія въ первомъ случай чрезмёрностью болевыхъ ощущеній, во второмъ-избыткомъ душевнаго наслажденія. Такой человъкъ не можеть отдаться впечатленію такъ, чтобы его "я" на время потонуло въ этомъ впечатлъніи. Восторгаясь Римомъ, Гоголь не переставаль чувствовать свое "я", которое восторгалось. Въ Россіи, среди разныхъ непріятностей, гнетущихъ впечатльній, страдая отъ "дрязга жизни", онъ живо ощущалъ свое "я", которое страдало. Эгоцентрическій укладь Гоголя можеть быть охарактеризованъ такъ: невольно, самъ не отдавая себь отчета въ томъ, Гоголь становился, въ своихъ отношеніяхь къ окружающей средь, къ людямъ, къ жизни, на точку зрвнія, выражаемую въ формуль: "я и все прочее".



⁴⁾ Замътимъ кстати, что нескромность и хвастовство, свойственныя юности, являются выражениемъ того нормальнаго и преходящаго эгоцентризма, который присущъ всякому человъку, когда онъ молодъ, полонъ силъ и бодро смотритъ въ свое будущее. Этомъ юный эгоцентризмъ съ годами умъряется и исчезаетъ. Настоящія эгоцентрическія натуры — это тъ, у которыхъ эгоцентризмъ съ годами не проходитъ, а, напротивъ, все усиливается.

И вотъ именно "все прочее" отражалось въ его душъ не само по себъ, а черезъ посредство настроеній его "я", которое навязчиво и неотступно сопутствовало всякому впечатленію, всякому душевному движенію. Его чувства осложизлись самочувствіемъ. Быть можетъ, во всемъ этомъ слёдуеть видъть извъстный психозъ, но и помимо психоза Гоголь могь быть такимъ въ силу эгопентрическаго уклада своей натуры. Вспомнимъ еще разъ Л. Н. Толстого, образецъ вполив здоровой и даже уравновещенной и вместе съ твиъ рвако эгоцентрической натуры: ввдь и у него отчет-. ливо проявляется точка зрвнія, выражаемая тою же формулой: "я и все прочее", и въ его мысляхъ, впечатлъніяхъ, ощущеніяхъ всегда съ большею или меньшею ясностью обнаруживается то, что мы называемъ настойчивымъ присутствіемъ центральнаго "я". Нътъ надобности быть психически больнымъ (опредъленною формой психоза) для того, чтобы "больть" слишкомъ центральнымъ положениемъ своего "я", его давленіемъ на всю психику.

Для. Гоголя, какъ натуры эгоцентрической, въ высокой степени характерно также и то, что всю жизнь онъ бился надъ разръшеніемъ "загадки своего существованія". Ему всегда казалось, что онъ "посланъ" въ міръ свыше (вспомнимъ: "Мнъ ли не благодарить Пославшаго меня на землю..."-въ письмъ къ Жуковскому), что ему предстоитъ великое "поприще", что жизнь его должна быть какимъ-то "служеніемъ". Это также одно изъ проявленій общей неспособности души отдаться впечатленію, делу, призванію такъ, чтобы не думать о себь, не чувствовать себя. Пытливый вворъ художника, созерцавшаго Русь, то и дело устремлялся внутрь. Великій поэть одновременно видель и Русь, и себя самого, ее созерцающаго. И какъ разновидность общей формулы "я и все прочее", возникала болфе частная формула "я, Гоголь, и Русь". Упрочиваясь на этой точкъ зрънія, онъ думалъ "разръшить загадку своего существованія", и созерцанія Руси сливались въ одно целое, въ одну сложную за-

дачу съ тъми внутренними самосозерцаніями, на которыхъ основывалось его "душевное дело", - дело воспитанія себя, нравственнаго совершенствованія. Казалось бы, послів созданія первой части "Мертвыхъ душъ" призваніе Гоголя, какъ великаго національнаго поэта-сатирика и мощнаго двигателя общественнаго сознанія на Руси, выяснилось съ достаточною опредъленностью; но онъ продолжаль думать, что загадка его существованія еще далеко не разръшена, и все глубже и глубже вперяль онъ взоръ внутрь себя, а тамъ становилось все темнье, все тревожные. Помимо разныхъ чисто личныхъ невзгодъ, которыя только осложняли дело или обостряли душевную боль, великая тревога его души состояла въ томъ, что онъ, въ силу все того же крайне эгопентрическаго уклада натуры, не могь цъликомъ отдаться своему призванію художника, не быль въ состоянии повиноваться вельніямъ своего генія. Недаромъ, уже воплотивъ свои созерцанія Руси въ безсмертные типы и картины "Мертвыхъ душъ", онъ пришелъ къ вопросу: "Русь! какая непостижимая связь таится между нами?" Великое художественное дело не разрешило личной задачи художника и выдвинуло новый вопросъ. Ему казалось, что онъ призванъ къ чему-то иному: въ великомъ художественномъ подвигъ не растворилось, не упразднилось то, что было дано въ формуль: "я и Русь". Формула осталась попрежнему и требовала новой работы. Попрежнему "Русь" смотрела (такъ казалось ему) на поэта очами, полными ожиданія. "Русь! чего же ты хочешь отъ меня?"-вопрошаль онь. Полныя ожиданія очи действительно были обращены на него, -- это были очи Ефлинскаго, Аксаковыхъ, Анненкова, Тургенева, Герцена и др., но на эти очи Гоголь обращаль мало вниманія. Весь погруженный въ себя, "полный собою", можно сказать подавленный тяжестью своонъ былъ жертвою идлюзіи, будто съ такою же силою и властностью выступаеть его личность и передъ лицомъ "Руси", будто "все, что ни есть на Руси, обратило въ него полныя ожиданія очи" ("Мертв. души" ч. 1, гл. XI).

Оттуда роковымъ образомъ зарождалась мысль, что его личная задача далеко не исчерпывается призваніемъ художника. Его эгопентризмъ былъ того рода, который характеризуется или осложняется стремленіемъ человіка проявить свое "я" не столько въ творчествъ, сколько въ другомъ, иногда довольно трудномъ выраженіи, которое мы назовемъ "осуществленісмъ общественной стоимости" человька. Ньть надобности, конечно, быть натурою эгоцентрическою, чтобы стремиться къ осуществленію своей общественной стоимости. Это-стремленіе вообще человіческое, слишкомъ человіческое... Но у натуръ эгоцентрическихъ оно должно проявляться съ особливою настойчивостью. Повидимому, разъ онъ одержимы этой "духовной жаждой" проявленія себя въ общественной средь, онь томятся и страдають при невозможности достичь его въ гораздо большей мара, чамъ натуры иного склада. Это станеть ясиве, когда мы разъяснимъ, что именно понимаемъ мы подъ терминомъ "осуществленіе общественной стоимости человъка".

III.

Человъкъ, искони "животное общественное", прежде всего хочетъ быть членомъ общества, единицею въ группъ себъ подобныхъ. Личная задача всякаго нормальнаго человъка сводится къ тому, чтобы, вступая въ сознательную и лично отвътственную жизнь, онъ не оказался въ общественной средъ нулемъ или балластомъ. Въ обществахъ, стоящихъ на болъе или менъе низкихъ, архаическихъ или "варварскихъ" ступеняхъ культуры, гдъ еще нътъ расцвъта индивидуальности, человъку не трудно стать членомъ общества, почувствовать и сознать себя единицею въ группъ. Тамъ люди, можно сказатъ, рождаются съ готовою общественною стоимостью, которую, придя въ возрастъ, они безпрепятственно осуществляютъ среди несложныхъ, стойкихъ, отно-

сительно неподвижныхъ формъ общественности. Тамъ общественная роль человъка заранъе опредълена и мъсто ему уготовано, проложенъ и утоптанъ его путь въ жизни, для прохожденія котораго не требуется особой подготовки, спеціальныхъ знаній, личныхъ качествъ. При несложности отношеній, при незначительности индивидуальных различій человъческой особи не трудно приспособиться къ группъ, войти въ тъсное общение съ себъ подобными, безъ чего невозможно осуществленіе общественной стоимости. Пусть, съ нашей точки зрвнія, она ничтожна, она — грошъ, но это "грошъ" реальный, а не только мечта о грошъ, не только стремленіе къ нему. Совершенно иную картину являютъ намъ отношенія личности къ группъ въ современномъ цивилизованномъ обществъ, характеризующемся большою сложностью отношеній, многообравіемъ и нерадко трудностью задачь, предстоящихъ человъку, необходимостью особой подготовки, спеціальныхъ знаній, господствомъ борьбы и конкуренціи, пышнымъ развитіемъ индивидуализма. Здёсь человъкъ, вступая въ сознательную жизнь, долженъ еще найти, раздобыть, завоевать себъ мъсто въ обществъ, вовсе не уготованное ему заранве; факть присутствія человвка въ обществъ еще не дълзетъ его величиной общественной. Лишь крайне редко становится онъ таковою непроизвольно, въ силу стеченія особо благопріятных условій; въ огромномъ большинствъ случаевъ осуществление общественной стоимости является мудреною задачей со многими неизвъстными, которую человекъ долженъ решить самъ, конкурируя съ другими, вооружаясь знаніями всякаго рода, приспособляясь къ требованіямъ и условіямъ все усложняющейся и растущей цивилизаціи. Вопросъ труда и заработка на разныхъ поприщахъ, т. е. личная задача матеріально необезпеченнаго человъка найти въ обществъ спросъ на свой трудъ и пріобръсть средства къ существованію, образуеть лишь особую, хотя и чрезвычайно важную сторону общаго вопроса осуществленія человъкомъ своей общественной стоимости. Можно быть вполнъ обезпеченнымъ матеріально и все-таки не осуществить своей общественной стоимости. Относясь въ тому порядку психическихъ явленій, который обнимается понятівмъ психологіи общественных отношеній и связей личности, задача осуществленія общественной стоимости есть, по существу, вадача общественно-психологическая. Суть дъла здесь не въ томъ, чтобы человекъ фактически находился въ обществъ, имълъ въ немъ свое мъсто, дъло, заработокъ, а чтобы онъ, имъя это, кромъ того чувствоваль себя величиной общественной и звеномь въ психологической цъпи, связующей людей въ организованное соціальное цълое. Если онъ не чувствуетъ этого, то его общественная стоимость не можетъ считаться осуществленною. Весьма и весьма часто ея осуществление въ самомъ дълъ зависить отъ того, найдетъ ли человъкъ въ обществъ спросъ на свой трудъ. Но всегда возможны случаи, когда люди, найдя этотъ спросъ и пріобрътя прочное положение въ обществъ, все-таки остаются случайными наемниками, не вступають въ тесное, интимное общение съ соціальною средой, не чувствують себя въ ней величиною общественною. Съ другой сторсны, мы видимъ людей, которымъ не приходится завоевывать себъ свое мъсто въ обществъ, потому что оно само собою упрочивается за ними въ силу ли ихъ таланта, или ихъ богатства, или, наконецъ, происхожденія. Для нихъ осуществленіе общественной стоимости представляетъ задачу сравнительно легкую. Но это еще не значить, что она непременно будеть решена ими. Нередко оказывается, что ихъ, повидимому, осуществленная общественная стоимость на добрую долю-фиктивна, что она какъ бы пародія настоящей общественной стоимости, что въ сущности эти люди только живуть въ обществъ, какъ проъзжающие въ гостиницъ. Встръчаются также и такіе случаи: человъкъ сознаеть себя несомивиною величиной въ обществъ и дълаетъ дъло, которому нельзя отказать въ общественномъ значеніи, но общество не цінитъ его заслугъ, не понимаетъ пользы и смысла его дъятельности, и человъкъ поневолъ является "лишнимъ". Таковымъ онъ можеть сдълаться и по своей винъ, т. е. по неумънію согласовать свою дъятельность съ интересами общества. Въ томъ и въ пругомъ случав его общественная стоимость остается неосуществленною, хотя бы онъ и не былъ "безпріютнымъ скитальцемъ", какъ Рудинъ. Дъйствительность представляетъ большое разнообразіе случаевъ неосуществленія общественной стоимости людей и незачымъ перечислять ихъ. Сложились даже типы людей съ неосуществленною общественною стоимостью, извъстные подъ названіями: "неудачники", "лишніе люди", "отщепепцы" и т. д.

Все вышесказанное объединяется въ следующихъ положеніяхъ: 1) Осуществленіе общественной стоимости предполагаетъ: а) общественное значеніе діятельности человіка, б) признаніе этого значенія обществомъ, в) сознаваніе личностью, что она-величина общественная. 2) Подъ обществомъ понимается въ данномъ случав та соціально-органивованная среда, къ которой личность фактически принадлежитъ-какъ житель, обыватель, деятель, гражданинъ. При классовомъ характеръ общественнаго строя ближайшею средой, гдъ осуществляется общественная стоимость личности, являются именно классы; но личность можеть, разумвется, стремиться къ осуществленію своей общественной стоимости и въ болье широкой средь, внъ классовъ, служа на томъ или иномъ поприща всему народу или же государству, если последнее не носить слишкомъ определеннаго классоваго характера. 3) Среда, гдв осуществляется общественная стоимость человъка, можетъ быть для одного уже, для другого шире; она можетъ мвняться: сейчась человькь имъть свою общественную стоимость въ одномъ мъстъ, въ одномъ классъ, въ одномъ государствъ; съ теченіемъ времени онъ можетъ перенести ее въ другое мъсто, въ другой классъ, въ другое государство. 4) Общественная сшоимость человтка есть явленіе прижизненное: со смертью человака она исчезаеть, въ противоположность другому значенію человъка—національному а также общечеловъческому, которыя со смертью не всегда прекращаются, а неръдко еще возрастають, иногда же только послъ смерти и выясняются съ полною опредъленностью.

Этотъ послѣдній пунктъ (различеніе общественной стоимости человѣка съ одной стороны и его національнаго или общечеловѣческаго значенія съ другой) представляетъ особую важность и требуетъ нѣкоторыхъ поясненій.

Національное или, еще шире, общечеловъческое значеніе пріобрътають сравнительно немногія личности, большею частью въ силу извъстныхъ дарованій или того, что называется геніальностью 1). Общественная стоимость (въ возможности)-это принадлежность всёхъ и каждаго (кроме. разумфется, техъ, которые отъ природы не способны къ общественной жизни, напр., идіоты, психически-больные, прирожденные преступники и проч.). Осуществляясь въ широкой соціальной средв (напр. въ государствв), общественная стоимость выдающагося человека можеть возвыситься до національнаго или даже общечеловъческаго значенія (Солонъ, Периклъ, Цезарь, Наполеонъ, Петръ Великій, Николай Милютинъ, Бисмаркъ и т. д., и т. д., при огромномъ разнообразіи въ размірахъ и самомъ характері значенія личности). Въ этихъ случаяхъ мы видимъ совмющение двухъ явленій (общественной стоимости и національнаго или общечеловъческаго значенія), но самыя-то явленія остаются различными, — явленіями разнаго порядка. И, очевидно, чувствовать свое національное значеніе - это одно, а чувствовать свою общественную стоимость осуществленною-это другое. Это — два разныхъ чувства. Сплошь и рядомъ осуществленіе даже очень большихъ общественныхъ стоимостей

¹⁾ Говорю "большею частью", потому что возможны (да и бывали) случаи, когда, благодаря исключительным обстоятельствам пріобрътали такое значеніе лида, не имъвшія особых дарованій или вообще соотвътственнаго призванія.

отнюдь не приводить къ пріобретенію ихъ обладателями значенія національнаго. И наобороть: даже великое національное или общечеловеческое значеніе великаго человека вовсе не предполагаеть, что онъ при жизни осуществиль свою общественную стоимость. Вёдь національное или общечеловеческое значеніе можно пріобрести, находясь, такъ сказать, внё общества, т.-е. не будучи непосредственнымъ участникомъ въ жизни опредёленной соціальной группы и слёдовательно не имёя фактической возможности осуществить свою общественную стоимость. Яркій примёръ этого — Спиноза. Колоссальное всемірное значеніе его внё сомнёнія; но общественной стоимости этотъ великій человекъ не имёлъ, ибо не быль единицею ни въ какомъ коллективномъ цёломъ и жилъ, вёрнёе — "существовалъ", внё общества, принадлежа "только" человечеству на всё грядущіе вёка.

И по-своему онъ былъ счастливъ. Онъ не нуждался ни въ какой общественной стоимости. Но это большая радкость. Въ огромномъ большинствъ случаевъ ни національное, ни общечеловъческое значение не отнимають у человъка живой душевной потребности чувствовать свою общественную стоимость осуществленною. Человъкъ жаждетъ быть. сейчасъ, ежедневно, постоянно, въ своемъ будничномъ существованіи, опреділенною общественною величиною, единицею (а не нулемъ) въ средъ, гдъ онъ живетъ, съ которою онъ сроднился, гдъ всъ важнъйшіе интересы его. Завидная, славная доля національнаго генія не парализуеть стремленія къ блаженству быть обывателемъ. Ибо, по существу "обывательское", чувство осуществленной общественной стоимости есть въ самомъ дълъ одно изъ наиболъе "блаженныхъ" чувствъ. Оно изъ числа тѣхъ, происхожденіе кототеряется ВЪ глубинъ доисторическихъ когда человъческой личности не было, а было только человъческое общество-стадо. Чувство, о которомъ мы гововоримъ, представляетъ собою одну изъ позднихъ и сложныхъ метаморфозъ стаднаго чувства. Оно-инстинктъ. И

всѣ проявленія его отмѣчены стихійностью и силою, свой-

Невозможность осуществить свою общественную стоинеръдко сопровождается душевными страданіями. Участь отщепенца слишкомъ тяжела, иногда невыносима, и, если не ошибаюсь, многія самоубійства, въ последнемъ счетъ, должны быть относимы къ этой причинъ. Правда, на ряду съ этимъ мы видимъ не мало людей, повидимому, вполнъ равнодушныхъ къ возможности или невозможности осуществить свою общественную стоимость. Это, конечно,отнюдь не Спинозы, не исключительно-великія индивидуальности, поднявшіяся выше общественности, а индивидуумы съ атрофированнымъ соціальнымъ чувствомъ, опустившіеся ниже уровня общественности, --- соціальные нули и балласть... Симптомомъ такой атрофіи служить полное отсутствіе у нихъ чувства честолюбія, какъ, съ другой стороны, наличность этого чувства является показателемъ живого стремленія человъка къ осуществленію его общественной стоимости.

Теперь мы можемъ вернуться къ Гоголю. Намъ кажется, что многое во внутреннемъ мірѣ и въ поступкахъ этого загадочнаго человѣка пслучитъ свое объясненіе, если подойдемъ къ нему съ точки зрѣнія предлагаемыхъ здѣсь понятій общественной стоимости человѣка, стремленія къ ея осуществленію и честолюбія, какъ симптома этого стремленія.

IV.

Начнемъ съ симптома. Честолюбіе Гоголя достаточно извъстно изъ его біографіи и засвидътельствовано имъ самимъ. Сюда относится между прочимъ слъдующее мъсто въ "Авторской исповъди": "Я не могу сказать утвердительно, точно ли поприще писателя есть мое поприще. Знаю только то, что въ тъ годы, когда я сталъ задумываться о моемъ будущемъ (а задумываться о будущемъ я началъ рано, въ

Digitized by Google

тъ поры, когда всъ мои сверстники думали еще объ играхъ), мысль о писатель мнь никогда не всходила на умъ, хотя мив всегда казалось, что я сдвлаюсь человвкомъ известнымъ, что меня ожидаетъ просторный кругъ дъйствій и что я сдълаю даже что-то для общаго добра. "Я думаль, просто, что я выслужусь, и все это доставить служба государственная. От этого страсть служить была у меня въ юности очень сильна. Она пребывала неотлучно въ моей головъ впереди встах моих дтя и занятій... 1). Этимъ признаніямъ нельзя не придавать большого значенія. Они вполнъ согласуются съ тъмъ, что мы знаемъ о жизни Гоголя въ Петербургъ въ началъ 30-хъ годовъ, когда онъ, можно сказать, быль поглощень столь характернымь, для русскаго человъка дъломъ — исканіемъ "мъста" на государственной службъ и лелъялъ честолюбивыя мечты. Достаточно извъстно. что необходимость матеріальнаго обезпеченія была далеко не единственною и не главною пружиною, имъ двигавшею въ этомъ случав. Равно извъстно и то, что его честолюбіе не было обыкновеннымъ честолюбіемъ маленькаго чиновникапровинціала, мечтающаго дослужиться до тепленькаго мфстечка съ приличнымъ окладомъ и чиномъ. Еще въ 1827 г., только собираясь въ Петербургъ, 18-льтній юноша, онъ писалъ Косяровскому: "Еще съ самыхъ временъ прошлыхъ, съ самыхъ лётъ почти непониманія, я пламенёль неугасимою ревностью сдёлать жизнь свою нужною для блага государства, я кипълъ принести хотя малъйшую пользу. Тревожныя мысли, что я не буду мочь, что мив преградятъ дорогу, что не дадутъ возможность принесть ему малейшую пользу, бросали меня въ глубокое уныніе. Холодный потъ проскакивалъ на лица моемъ при мысли, что, можетъ быть, мий доведется погибнуть въ пыли, не означивъ своего имени ни однимъ прекраснымъ деломъ-быть въ міре и не означить своего существованія-это было для меня ужасно.

⁴⁾ Курсивъ мой.

Я перебираль въ умъ всъ состоянія, всъ должности вь 10сударствъ и остановился на одномъ-на юстиціи. Я видълъ, что здёсь работы будеть болёе всего, что здёсь только я могу быть благодъяніемъ, здъсь только буду истинно полезенъ для человъчества. Неправосудіе, величайшее въ свъть несчастіе, болье всего разрывало мое сердце... и т. д.— Гоголя-юношу, стучавшагося въ двери канцелярій и департаментовъ, манила какая-то неопределенная, ему самому неясная, мечта о какомъ-то великомъ поприщъ, о служеніи отечеству, -- и подъ его юнымъ и наивнымъ "карьеризмомъ" скрывалось инстинктивное стремленіе къ тому, что я называю "осуществленіемъ общественной стоимости человівка". По условіямъ времени, для этого почти не было другихъ поприщъ, кромъ государственной службы. Общество еще цъликомъ было заслонено государствомъ. "Выйти въ люди" значило сдёлаться чиновникомъ. Служить отечеству значило ноступить на государственную службу.

Излишне описывать тѣ разочарованія, которыя необходимо долженъ быль испытать здѣсь геніальный юноша, еще не уяснившій себѣ своего настоящаго призванія. Приведемъ только слѣдующее мѣсто изъ письма къ матери отъ 30 апрѣля 1829 г.: "Каждая столица вообще характеризуется своимъ народомъ, набрасывающимъ на нее печать національности; на Петербургѣ же нѣтъ никакого характера: иностранцы, которые поселились сюда, обжились и вовсе не похожи на иностранцевъ; а русскіе, въ свою очередь, объиностранились и сдѣлались ни тѣмъ, ни другимъ. Тишина въ немъ необыкновенная, никакой духъ не блеститъ въ народѣ, все служащіе да должностные, всѣ толкують о своихъ департаментахъ да коллегіяхъ, все подавлено, все погрязло въ бездѣльныхъ ничтожныхъ трудахъ, въ которыхъ безплодно издерживается жизнь ихъ…"

Уже по этой выдержкъ можно было предугадать, что честолюбивый юноша не осуществить своей общественной стоимости службою въ департаментахъ и будетъ пытаться

осуществить ее гдв-нибудь внв департаментовъ. И вотъ мы видимъ Гоголя на педагогическомъ и "ученомъ" поприще преподавателемъ въ институтъ благородныхъ дввицъ и профессоромъ университета. Но этому повороту въ его карьеръ частью предшествовали, частью съ нимъ совпали другія, болье важныя, событія его выступленіе на литературное поприще, появленіе "Вечеровъ на хуторъ" и "Миргорода", знакомство съ Плетневымъ, Жуковскимъ и Пушкинымъ, его первые успъхи, какъ писателя, первые лучи восходящей славы, первое сознаніе своего великаго таланта и своего истиннаго призванія.

И съ этого момента въ Гоголъ одновременно растутъ и вступають въ довольно сложныя взаимоотношенія, даже въ конфликтъ, "двъ личности", съ двумя различными призваніями и дорогами въ жизни. Одна-это Гоголь-великій писатель, личность съ огромнымъ національнымо всероссійскимъ значеніемъ; другая-то Гоголь-носитель потенціальной и крайне настойчивой общественной стоимости и соответственнаго честолюбія. Насколько быстро и успъшно оправдывалось призваніе писателя, настолько туго и неудачно шло дъло осуществленія общественной стоимости. Гоголю пришлось испытать тв душевныя муки, которыя хорошо извёстны всвиъ честолюбцамъ-неудачникамъ. Литературные успвхи не могли заглушить ихъ. Значеніе и слава писателя были безсильны устранить неудобоносимое бремя неосуществленной общественной стоимости. И съ этой тяготой и отравой души Гоголь останется на всю жизнь-до гроба.

Какъ велика была у Гоголя потребность осуществить свою общественную стоимость, видно, между прочимъ, изътого, что уже въ первомъ, петербургскомъ, періодъ его литературной дъятельности невольно проявляется у него какъ бы инстинктивное стремленіе быть не только писателемъ-художникомъ, но и писателемъ-гражданиномъ, непосредственно вліять на общество. Оттуда—раннее обращеніе къ драматической формъ, къ театру, какъ естественному

проводнику этого вліянія. Повидимому, уже тогда онъ сознаваль то, что было высказано имъ гораздо позже въ стать в "О театръ" ("Выбранныя мъста", статья XIV): "Театръ ничуть не бездълица и вовсе не пустая вещь, если примешь въ соображеніе то, что въ немъ можетъ помъститься вдругъ толпа изъ пяти, шести тысячъ человъкъ и что вся эта толпа, ни въ чемъ несходная между собою, разбирая ее по единицамъ, можетъ вдругъ потрястись однимъ потрясеніемъ, зарыдать однъми слезами и засмъяться однимъ всеобщимъ смъхомъ. Это такая каеедра, съ которой можно много сказать міру добра".

Въ этомъ-то смыслъ, т.-е. въ смыслъ стремленія вліять на общество, "служить" ему посредствомъ художественнаго слова и такимъ путемъ осуществить свою общественную стеимость, вполнъ оправдывается терминъ "писатель-гражданинъ", которымъ г. Венгеровъ озаглавилъ свои интересныя статьи о Гоголь ("Очерки", т. І). Впослъдствіи, съ дальнъйшимъ развитіемъ художественныхъ и, вообще, душевныхъ силъ Гоголя, этотъ инстинктъ "гражданина" подскажеть ему своеобразную теорію служенія отечеству и государству на поприщъ писателя-художника и моралиста. Въ "Авторской исповеди" онъ говорить: "Мне захотелось служить 1) въ какой бы ни было, хотя на самой мелкой и незаметной должности, но служить земле своей, такъ служить, какъ я хотъль нъкогда, и даже гораздо лучше, нежели я нікогда хотіль. Я примирился и съ писательствомъ своимъ только тогда, когда почувствовалъ, что на этомъ поприщъ могу также служить землъ своей 2). Но и тогда, однако же, я помышляль, какъ только кончу большое сочинение, вступить, по примъру другихъ, въ службу и взять місто"... Литературная дінтельность представляется здесь какъ бы суррогатомъ настоящаго служенія "земле

⁴⁾ Уже послъ того, какъ вполнъ выяснилось его настоящее призваніе—писателя.

²) Курсивъ мой.

своей", которое отождествляется съ занятіемъ "міста" на государственной службь. Какъ извъстно, это не состоялось: карьера профессора университета не удалась, и, выйдя въ отставку въ 1835 г., Гоголь потомъ ужъ не поступалъ на службу. Но былъ моментъ, именно около половины 30-хъ годовъ, когда ему казалось, что дъятельность писателя-художника могла бы явиться не суррогатомъ государственной службы, а особымъ "служеніемъ", равносильнымъ ей. Это видно изъ следующаго места той же "Авторской исповеди": "... какъ только я почувствоваль, что на поприщь писателя могу сослужить также службу государственную, я бросиль все: и прежнія свои должности, и Петербургь, и общество близкихъ душъ моей людей, и самую Россію, чтобы вдали и въ уединеніи оть всёхъ обсудить, какъ это сдълать, чтобы доказать, что я быль также гражданинь земли своей и хотълъ служить ей" 1)....

Какъ бы мы ни относились къ "Авторской исповеди" въ цёломъ (написанной, какъ извёстно, съ цёлью не то оправданія себя, не то разъясненія разныхъ недоразуміній, вызванныхъ изданіемъ "Выбранныхъ мъстъ"), приведенныя выдержки являются документомъ, подтверждающимъ взглядъ на Гоголя, какъ на "писателя-гражданина" по призванію. Иначе говоря, Гоголь не принадлежаль къ числу техт художниковъ, которые находять полное удовлетвореніе въ своемъ творчествъ, которые, если можно такъ выразиться, "духовно сыты" своими художественными созерцаніями и не ощущають настоятельной потребности быть деятелями жизни, величиной общественной. Онъ не могь успокоиться на сознаніи своего значенія какъ великаго національнаго поэта,нужны были живыя — прижизненныя — связи не только съ національнымъ, но и съ общественнымъ цёлымъ. Этимъ цёлымъ была для него вся Россія, —онъ стремился осуществить свою общественную стоимость не въ томъ или

¹⁾ Курсивъ мой.

иномъ классъ, не въ той или другой мъстности, не въ опредъленной, болъе или менъе узкой, средъ, а въ громадномъ объединенномъ—всероссійскомъ—пъломъ, представителемъ котораго являлось государство. Выраженіемъ этого стремленія и были его помыслы о службъ и его взглядъ на свою литературную дъятельность то какъ на суррогатъ службы, то какъ на особый родъ "служенія землъ своей", равносильный "государственному".

V.

Изучая Гоголя съ этой стороны, мы получаемъ возможность глубже проникнуть во внутренній міръ этого загадочнаго человіка, и намъ стануть ясніе ті душевныя состоянія, которыя переживаль онъ, когда, созерцая Русь изъ прекраснаго далека, онъ созидаль великую національную "поэму".

Психологія этого созерцанія была гораздо сложиве, чвмъ это кажется на первый взглядъ. Не только какъ художникъ, не спокойнымъ зрителемъ, не исключительно поэтомъсозерцателемъ являлся Гоголь, когда, живя въ онъ воплощалъ "Русь" въ безсмертные образы и картины "Мертвыхъ душъ". Въ непосредственной связи съ творчествомъ художника трепетали въ его душт и тт струны, въ игръ которыхъ такъ причудливо переплеталось тяготъніе великаго поэта къ своей національной стихіи съ тягот ніемъ человъческой личности къ своей общественной средъ. Эти двъ тяги, національная и общественная, претворялись въ живыя чувства высокаго подъема и большой глубины, --- въ душевныя движенія, которыя, среди искрящагося - "гоголевскаго"-смѣха, проступали "незримыми", "невѣдомыми міру" слезами.

Въ "Авторской исповъди", уже заднимъ числомъ, этотъ процессъ представленъ такъ: "Проектъ и цъль моего путешествія были очень неясны. Я зналъ только, что ъду вовсе не за тѣмъ, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорѣй, чтобы натерпѣться, точно какъ бы предчувствовалъ, что узнаю цѣну Россіи только внѣ Россіи и добуду любовь къ ней вдали отъ нея".

Эта "любовь къ Россіи вдали отъ нея", любовь, которую нужно было "добывать" за границею, только на первый, поверхностный взглядь можетъ показаться въ своемъ родѣ "странною", пожалуй, чисто-разсудочною, "головною", и дать поводъ вспомнить слова, сказанныя кѣмъ-то въ одномъ изъ романовъ П. Д. Боборыкина: "Русскій человѣкъ особенно сильно любитъ свое отечество тогда, когда у него заграничный паспортъ въ карманѣ". Нѣтъ, любовь о которой говоритъ Гоголь, была настоящимъ, подлиннымъ чувствомъ, крѣико и цѣнко державшимся въ глубинъ души двумя корнями: тягой къ національности и той другой тягой, которую мы называемъ стремленіемъ осуществить свою общественную стоимость.

Первая требуетъ еще нъкоторыхъ поясненій, которыя мы дадимъ ниже (въ гл. V-ой), а вторая, достаточно ясная послѣ всего вышесказаннаго, окончательно дорисовывается тъми неустанными помыслами о благъ Россіи и тъмъ стремленіемъ найти "правильный" путь для плодотворной діятельности "на пользу отечества", которые такъ занимали Гоголя во второй половина 40-хъ годовъ, въ эту столь знаменательную въ его жизни эпоху, когда въ его "больной" душт совершался рышительный повороть въ сторону моральной процоведи, аскетизма и мистики. Разсмотренію этой эпохи мы посвятимъ следующую главу. Здесь же приведемъ только одинъ документъ, относящійся къ концу ея и свидетельствующій о томъ, что даже въ это печальное время порабощенія великаго поэта зловіщей власти мрачнаго фанатика, о. Матвъя, все еще было живо у Гоголя стремленіе къ живому дёлу, къ плодотворной расотв "на пользу отечества". Я разумью проекть докладной записки, въ которой Гоголь, прося "позволенія и даже средствъ прово-

дить три зимніе місяцы въ году въ Греціи или на островахъ Средиземнаго моря и три летніе-где-нибудь внутри Россіи", срокомъ на три года, говоритъ, что это ему необходимо для окончанія "Мертвыхъ душъ", гдв будеть "выставлено наружу все здоровое и крвикое въ нашей природъ", и что въ тотъ же срокъ онъ, кромъ того, можетъ исполнить и другой, не менве важный, трудъ. Двло идетъ о книгъ, "за которую многіе отцы семейства скажуть" ему "спасибо:" "Намъ нужно живое, а не мертвое изображение Россіи, та существенная, говорящая ея географія, начертанная сильнымъ, живымъ слогомъ, которая поставила бы русскаго лицомъ къ Россіи еще въ то первоначальное время его жизни, когда онъ еще отдается во власть гувернеровъиностранцевъ, но когда все его способности свеже, чемъ когда-либо потомъ, а воображение чутко и удерживаетъ навъки все, что ни поражаеть его. Такую книгу (мит всегда казалось) могъ составить только такой писатель, который умфетъ схватывать вфрно и выставлять сильно и выпукло черты и свойства народа 1), а всякую мистность 1) (тоже) со всеми ея красками выставлять такъ живо, поставлять такъ ярко, чтобы она навсегда осталась въ глазахъ,--который, наконецъ, имълъ бы способность сосредоточить сочиненіе въ одно слитное цілое такъ, чтобы вся земля отъ края до края, со всею особенностью своихъ мёстностей свойствами кряжей и грунтовъ врезалась бы, какъ живая, въ память даже несовершеннолетняго отрока, и было бы ему очевидно даже и во младенчествъ, какому углу Россіи что именно свойственно и прилично, и не шло бы ему потомъ въ голову, придя въ зрѣлый возрастъ, заводить несвойственныя ей фабрики и мануфактуры, довъряя иностраннымъ промышленникамъ, заботящимся о временной собственной выгодь. И точно такимъ же образомъ, чтобы ему во младенчествъ видны были въ настоящемъ видъ ка-

⁴⁾ Курсивъ подлинника.

чества и свойства русскаго народа, со всвиъ разнообразіемъ особенностей, какими отличаются его вътви и племена. Чтобы еще во младенчествъ ему было видно, въ чему именно каждый (sic) изъ этихъ племенъ способенъ вслёдствіе орудій и силь, ему данныхь, и обращаль бы онь вниманіе потомъ, когда приведетъ его Богъ въ арвломъ возраств сдвлаться государственнымъ человъкомъ, на особенности каждаго изъ нихъ, уважалъ бы обычаи, порожденные законами каждой мистности 1), и не требоваль бы повсемъстнаго выполненія того, что хорошо въ одномъ углі и дурно въ другомъ. -- Книга эта составляла давно предметь моихъ размышленій. Она врветь вместе съ нынешнимъ моимъ трудомъ 2) и, можетъ быть, въ одно время съ нимъ будетъ готова. Въ успъхъ ея я надъюсь не столько на свои силы, сколько на любовь къ Россіи, слава Богу, безпрестанно во мнъ увеличивающуюся... (Опубликовано впервые профессоромъ И. А. Линиченко въ "Русск. Мысли" 1896 г. кн. 5-ая. — "Письма Н. В. Гоголя" подъ ред. В. И. Шенрока, т. IV, стр. 344-345).

Этотъ въ высокой степени любопытный документъ говоритъ самъ за себя. Разумвется, планъ "отчизновъдънія", здъсь набросанный, не могъ быть выполненъ въ то время ни Гоголемъ, ни къмъ-либо другимъ.—Но какая върная мысль, какая здравая постановка вопроса, и все это въ эпоху 3), когда Гоголь, погруженный въ помыслы о загробной жизни, казалось, былъ такъ далекъ отъ всего земного, такъ чуждъ вопросамъ времени и пониманію задачъ жизни!..

Сейчасъ увидимъ, что самый поворотъ въ сторону крайняго мистицизма совмѣщался у Гоголя съ постановкою и даже своеобразнымъ рѣшеніемъ той личной задачи, которую мы называемъ стремленіемъ осуществить свою общественную стоимость.

⁴⁾ Курсивъ подлинника.

²⁾ Окончаніе "Мертв. душъ".

в) Документь относится къ 1850-му году.

VI.

Неосуществленная общественная стоимость, сказали мы, есть бремя неудобоносимое, и когда человакъ видитъ всю невозможность ея осуществленія, тогда нередко его душа, именно его будничная, повседневная, прозаическая душа обывателя, наполняется горькими чувствами обиды, оскорбленнаго честолюбія, отравляется сознаніемъ, что онъ ненуженъ, что онъ лишній, и своеобразно-враждебно настраивается въ отношеніи къ данной-родной-средь. И чъмъ ближе и дороже человъку эта среда, тъмъ болъе обостряется эта специфическая "вражда". И, смотря по человъку, пълая гамма разныхъ дополнительныхъ или производныхъ чувствъ возникаетъ на почвъ такого разлада личности съ ея общественною средой. Мы находимъ здёсь и жалкія, мелкія, но при всемъ томъ нередко въ самомъ дълъ жестокія, буднично- мелодраматическія страданія обывателя-неудачника, не сумъвшаго стать единицею въ своемъ муравейникъ, потому, что даже и для этого муравейника поднятыя, аффектированныя душевныя движенія "непонятыхъ" натуръ, и болъе или менъе искреннюю поддълку подъ участь неоціненнаго, осміннаго "дінтеля", или гонимаго "обличителя", пародію на тахъ, о комъ по праву можно сказать, что они---, не пророки въ своемъ отечествъ", и настоящую трагедію "лишнихъ людей", и наконецъ истинно-высокія страданія гражданина, а чаще всего-тупую тоску, унылую скуку ненужнаго, безцельнаго существованія человіка, у котораго ніть никакого другого призванія, кром'в какъ быть единицею въ общественномъ цізломъ, и которому пришлось быть нулемъ.

Но возможенъ и иной исходъ: натуры сильныя и "полныя собою", съ богатымъ внутреннимъ содержаниемъ, не-

ръдко, при невозможности осуществить свою общественную стоимость въ данной средъ, при данныхъ условіяхъ мъста и времени, стремятся либо передълать эту среду по-своему, либо искусственно создать для себя новую среду, или, наконецъ, берутся за то, и за другое вмъстъ. Это-реформаторы разнаго рода, пропов'вдинки-моралисты, основатели религіозныхъ и иныхъ сектъ. При такомъ исходе те чувства, на которыя мы только что указали, не застаиваются въ душт человъка, и онъ быстро переходить отъ унынія, тоски, скуки, мелкой или немелкой "вражды" и т. д. къ иному порядку чувствъ. Его душа становится ареною новыхъ движеній чувствъ, страстей и мысли, движеній болье или менье творческаго, зиждительнаго характера. На этомъ пути жажда общественныхъ связей незамътно переходить въ жажду вліять на людей, подчинять умы и сердца своему нравственному авторитету, и честолюбіе, какъ чувство-симптомъ, уступаеть мѣсто властолюбію.

Такой именно обороть и приняли общественно-психологическія отношенія Гоголя, но только у него весь процессъ сильно осложнился, во-первыхъ, перекрестнымъ дъйствіемъ его геніальнаго художественнаго дарованія, его призванія, какъ великаго національнаго поэта, а во-вторыхъ, тою темнотою его ума, той ирраціональностью его мышленія, въ силу которыхъ онъ не могъ правильно поставить свою личнообщественную задачу и ста́лъ жертвою крайняго мистицизма.

Здёсь, въ этой главе, насъ интересуетъ первое, т. е. перекрестное действие его художественнаго дарования и соответствующаго ему призвания великаго напіональнаго поэта, сатирика.

Это дъйствіе выразилось въ томъ, что безсознательно, инстинктивно Гоголь, если можно такъ выразиться, "ухватился" за свое великое національное значеніе, какъ за суррогатъ общественнаго значенія,—онъ, смѣшавъ національное съ общественнымъ, сталъ смотрѣть на свое дѣло художника, какъ на орудіе осуществленія своей общественной стоимости.

Работая надъ "Мертвыми душами" и поэтически созерцая Русь изъ прекраснаго далека, онъ лелвялъ мысль, или, скорве, иллюзію, будто твив самымь онъ становится непосредственнымъ участникомъ общественной (въ обширномъ смысль) жизни своего отечества, входить органическимь звеномъ въ ту соціальную среду, которую онъ называлъ "Русью". Несомивнное-и огромное въ своихъ посивдствіяхъ-общественное значеніе его сатиры, какъ понимали это лучшіе умы времени (сперва Пушкинъ, потомъ Аксаковы, Бълинскій, Анненковъ, Тургеневъ и др.), было ему самому далеко не ясно, и во всякомъ случав не на немъ онъ могъ осуществить свою общественную стоимость. Этой стороной своей дъятельности онъ пріобрълъ великое имя и производилъ • обаяніе, равносильныя темъ, какія были уделомъ Пушкина, въ передовыхъ кругахъ, западническомъ и славянофильскомъ; но для него это было ничтожнымъ суррогатомъ, которымъ онъ весьма мало дорожилъ. Онъ хотълъ чувствовать свой "соціальный въсъ" въ общирномъ цъломъ, именуемомъ Русью, онъ стремился стать единицею въ государствъ, а не въ ничтожныхъ численностью своихъ членовъ передовыхъ кружкахъ: онъ не въ силахъ былъ понять огромное значеніе этихъ кружковъ въ дълъ созданія нашего общественнаго и національнаго самосознанія, -- да впрочемъ, если бы онъ и понималь это, кружки мыслящихъ людей, все равно, не могли служить для него тою соціальною средой, въ которой онъ нуждался для осуществленія своей общественной стоимости. И вообще "общество" того времени (а не только передовые круги) не годилось ему для этой-личной-цъли: слишкомъ было оно ничтожно и безсильно. Только государство, которое, обнимая всю Русь, было тогда единственною авторитетною, властною, дъйствующею и живущею "соціальною средой", являлось въ его глазахъ стихіей, гдв могъ спределиться "удъльный въсъ" его личности. Въ передовыхъ кругахъ, какъ западническомъ, такъ славянофильскомъ, ему было тесно, и онъ тянулся къ государству, не замъчая, или, можетъ быть,

не желая замічать, что тамъ ему сиротливо, пожалуй даже совсемъ нетъ места. Не замечалъ онъ этого, и ему казалось, будто онъ, какъ авторъ "Ревизора" и "Мертвыхъ душъ", являясь поэтомъ національнымъ, какъ бы состоитъ на государственной службъ, точно это казенныя торжественныя оды. И, правду сказать, своего рода торжественной одой, -- только, разумъется, не казенной, звучать знаменитыя лирическія мъста въ XI-ой главъ первой части "Мертвыхъ душъ". Тамъ восиввается необъятный просторъ Руси ("грозно объемлетъ меня могучее пространство..."), "чудная, сверкающая даль", быстрое, головокружительное "движеніе" Руси, конечно, прежде всего, какъ государства ("Русь, куда жъ несешься ты?.. Летить мимо все, что ни есть на земль, и, косясь, постараниваются и дають ей дорогу другіе народы и государ- • ства"). Но изъ-за поэтическаго образа этого государства уже явно пробивалась національность, именно общерусская, - не офиціальная, а живая, подлинная, та, которая находить свое лучшее выражение въ высшемъ творчествъ. Вопросы: "Русь! чего же ты хочешь отъ меня? Какая непостижимая связь таится между нами?" и далье: "Что пророчить сей необъятный просторь? Здёсь ли, въ тебё ли, не родиться безпредъльной мысли, когда ты сама безъ конца... относятся уже не къ государству, а къ національному целому, и въ нихъ прежде всего проявилось чувство національнаго тяготвнія великаго поэта къ этому цёлому.

Мы видимъ здѣсь два цѣлыхъ: государство и національность, но не усматриваемъ третьяго—общества. За отсутствіемъ или неразличеніемъ послѣдняго, общественная стоимость великаго поэта могла осуществиться только въ первомъ, и онъ, подставляя свое національное тяготѣніе на мѣсто общественнаго, лелѣялъ мечту встать "единицею" въ средѣ государственной. И чѣмъ больше подвигался онъ въ своемъ вдохновенномъ трудѣ, тѣмъ больше укрѣплялся онъ въ мысли, что дѣлаетъ дѣло, имѣющее государственную важность, во всякомъ случаѣ такое, которому правительство должно по-

кровительствовать. Быть можеть, благосклонное отношеніе. Николая Павловича къ "Ревизору" заронило въ душу Гоголя первое съмя этой горделивой идеи, которое сперва прозябало въ тиши и дало плодъ поэже, когда, оканчивая первую часть "Мертвыхъ душъ", поэтъ упрочивалъ свои связи съ извъстнымъ кругомъ высокопоставленныхъ лицъ (Смирнова, граф. А. П. Толстой, Вьельгорскіе) и писалъ имъ тъ письма, изъ которыхъ потомъ и составилась пресловутая книга "Выбранныя мъста изъ переписки съ друзьями". Не лишне отмътитъ также, что въ его ходатайствахъ о пособіи, при всемъ почтительно-просительномъ тонъ, звучитъ увъренность, что онъ имъетъ право на поощреніе и поддержку со стороны государства 1).

И постепенно "Русь", объектъ его художественнаго творчества, излюбленный предметъ его поэтическихъ созерцаній, превращалась для него въ государственно-національную среду, гдв онъ стремился стать единицею и даже дюйствующею силою, орудіемъ которой должна была служить моральная проповъдь. Этимъ путемъ онъ и думалъ претворить "непостижимую связь", которая "таилась" между нимъ и Русью, въ ту вполнъ постижимую, осязательную, живую связь личности съ цълымъ, которую мы называемъ осуществленіемъ общественной стоимости человъка. Излишне пояснять что для установленія такой связи, чтобы она не ососталась чистой иллюзіей, необходимо была сперва завязать

¹) Напр., въ письмъ къ гр. С. С. Уварову (1840 г.): "Почему знать, можетъ быть, несмотря на мой трудный и тернистый путь, суждено бъдному имени моему достигнуть потомства. И ужели вамъ будетъ пріятно, когда правосудное потомство, отдавъ вамъ должное за ваши прекрасные подвиги для наукъ, скажетъ въ то же время, что вы были равнодушны къ созданіямъ русскаго слова и не трочулись положеніемъ бъднаго, обремененнаго болъзнями, писателя, не могшаго найти себъ угла и пріюта въ міръ, тогда какъ вы первые могли бы быть его заступникомъ и меценатомъ…" и т. д.

живыя, душевныя, интимныя отношенія съ болье теснымъ кругомъ лицъ, которыя могли бы явиться посредствующимъ ввеномъ между великимъ поэтомъ-моралистомъ и великимъ государственнымъ цёлымъ и стать проводниками предполагаемаго воздъйствія писателя на эту обширную соціальную среду. Въ тесномъ круге высокопоставленныхъ лицъ должна была совершиться, такъ сказать, предварительная проба общественной стоимости національного поэта-уже не просто какъ обывателя, а какъ свовобразнаго дтятеля, жданина и патріота. Такимъ путемъ предварительной пробы въ тъсномъ кругъ обывновенно и идутъ къ своей цъли великіе реформаторы, основывающіе секты и поднимающіе великія движенія, которымъ суждено развернуться въ обширной, государственной или напіональной, средъ. Тъмъ же путемъ направляются и тъ, которые только мнятъ себя реформаторами и выступають съ идеями, несогласуемыми съ вадачами общественнаго прогресса. Ихъ деятельность, по необходимости, будеть только пародією на д'ятельность настоящихъ реформаторовъ. Нашему великому поэту и пришлось разыграть такую пародію...

Дальше "предварительной пробы" онъ не пошелъ и не могъ пойти. Производилась же она въ кружкъ морально и религіозно настроенныхъ лицъ,—Вьельгорскихъ, Толстыхъ, Смирновыхъ и др. гдъ его проповъдь, его мысли и наставленія встръчали созвучный откликъ, гдъ устанавливались живыя связи взаимнаго пониманія и сочувствія. Здъсь впервые Гоголь почувствовалъ себя "величиною общественною", а такъ какъ члены кружка были особы высокопоставленныя, которымъ, казалось, открывалась полная возможность, путемъ государственной службы, дъйствовать на широкомъ соціальномъ поприщъ, именуемомъ Русью, то сама собою навязывалась великому поэту иллюзія—стать, черезъ посредство даннаго интимнаго кружка, великою дъйствующею силою на Руси, вліять на ходъ вещей, искоренять неправду,

чуть ли не совершить чудо превращенія Чичиковыхъ, Собакевичей, Ноздревыхъ, Плюшкиныхъ и пр. — въ людей добра и правды... Эта иллюзія въ свою очередь вліяла на дальнъйшее развитіе замысла "Мертвыхъ душъ", и въ перспективъ уже возникали фантастическіе образы — кающагося Чичпкова, правственно преображеннаго Плюшкина, пожалуй даже душевно-изящнаго Собакевича... Уже созидались "положительные" типы въ родъ пресловутаго Констанжогло и откупщика Муразова... Неудивительно, что поэтъ два раза жегъ свои рукописи.

Въ эти тяжелые-не для одного Гоголя--годы (вторая половина 40-хъ и начало 50-хъ) внутренній міръ великаго художника являль следующую "картину" своего рода "болъзни сознанія": пристально и напряженно всматривается онъ въ свою собственную душу, онъ "полонъ собою" и чутко следить за ходомъ своего "душевнаго дела", и вместе съ тъмъ столь же напряженно и пристально созерцаеть онъ Россію, но уже не столько въ качествъ художника, сколько въ качествъ своеобразнаго гражданина-моралиста, и нишетъ о томъ, какъ "нужно любить Россію", о томъ, что "нужно проъздиться по Россіи", о благотворной дъятельности лицъ высокопоставленныхъ, направленной на улучшение нравовъ, на искорененіе разныхъ беззаконій, объ обязанностяхъ помъщика, о томъ, "что такое губернаторша"... Извъстная книга ("Выбранныя мъста"), гдъ все это изложено, явилась печальнымъ памятникомъ этого періода жизни великаго поэта... И даже теперь, когда мы можемъ спокойно и объективно судить о ней, мы все еще, перечитывая ее, невольно вспоминаемъ ставшія классическими слова Базарова: "Я сегодня прескверно себя чувствую, точно начитался писемъ Гоголя къ калужской губернаторшь ". Но въ оправдание Гоголя, кром' всего вышесказаннаго, можно еще отм' тить его полную искренность: ни въ какомъ смыслѣ здѣсь онъ не лгалъ, не притворялся и въ самомъ деле такъ думалъ, такъ

върилъ, такъ понималъ вещи, какъ это изложено въ книгъ 1).

Изданіемъ этой книги онъ думалъ сдёлать рёшительный шагъ впередъ въ своихъ стремленіяхъ осуществить свою общественную стоимость. И конечно, ни на шагъ не подвинулся дальше... Ею онъ выходилъ изъ тёснаго, интимнаго круга, гдё уже была сдёлана "предварительная проба", и очутился въ непріютномъ, "грозно-объемлющемъ" пространствё, на "снёгомъ занесенной станціи", и съ потрясающимъ разочарованіемъ, почти съ отчаяніемъ долженъ былъ убёдиться въ неизбёжномъ крушеніи своихъ замысловъ и въ непригодности, въ недёйствительности своей моральной проповёди.

Тѣмъ не менѣе эта проповѣдь остается по-своему важнымъ фактомъ какъ въ психологіи самого Гоголя, такъ и въ историческомъ движеніи русской литературы. Къ разсмотрѣнію этой стороны дѣла, къ изученію Гоголя-моралиста, мы и должны обратиться теперь.



¹) Окончательное выясненіе искренности Гоголя въ данномъ случав составляеть одну изъ многихъ заслугъ Шенрока (см. преимущественно въ IV мъ томъ "Матеріаловъ").

ГЛАВА ІУ.

"Душевное дъло".—Гоголь—моралистъ и мистикъ.

I.

Нравственное присуще (имманентно) художественному, ибо искусство есть процессъ познанія человіка и человічности, а нравственное — по преимуществу и специфически человічно. Въ каждомъ сколько-нибудь значительномъ созданіи искусства уже дана, въ большинстві случаевъ непреднамізренно и наивно, та или иная проблемма этики. Одна изъ важнійшихъ творческихъ силъ искусства, симпатическое воображеніе, служить вмісті съ тімь и основаніемъ нравственныхъ отношеній человіка къ человіку.

Но отъ этой этики, присущей искусству, нужно отличать тѣ, такъ сказать, нарочитыя моральныя стремленія, которыя мы видимъ у нѣкоторыхъ художниковъ проявляющимися внѣ ихъ творчества или же, хотя и вмѣстѣ съ творчествомъ, но такъ, что мы ясно различаемъ въ нихъ художника съ одной стороны и моралиста—съ другой.

У насъ въ творчествъ Пушкина, Тургенева, Гончарова и друг. мы имъемъ этику, присущую искусству, но при всей важности и глубинъ нравственныхъ проблеммъ, данныхъ въихъ произведеніяхъ, никому и въ голову не придетъ говорить объ этихъ поэтахъ, какъ о моралистахъ въ тёсномъ смыслѣ. Но зато, наприм., у Достоевскаго, у Льва Толстого моралистъ-проповѣдникъ явственно виденъ, во-первыхъ, въ самомъ художникѣ, а кромѣ того, выступаетъ и самостоятельно, въ ихъ нехудожественныхъ, "прозаическихъ" произведеніяхъ.

Къ этому-то типу принадлежитъ и Гоголь. Онъ былъ у насъ первымъ по времени представителемъ морализующаго направленія въ искусствъ и своеобразной — морализирующей — публицистики.

И прежде всего въ этой сторонъ его дъятельности бросается въ глаза одна, повидимому, характерная для насъ, русскихъ, черта,—та самая, которая какъ нельзя лучше обозначается имъ же придуманнымъ терминомъ: "свое душевное дъло". Въ самомъ дълъ, наши художники-моралисты, выступая съ нравственною проповъдью, прежде всего и въ сущности заняты "своимъ душевнымъ дъломъ", раскрываютъ намъ свой внутренній міръ, "каются", стремятся къ самовоспитанію,—однимъ словомъ, ставятъ и преслъдуютъ свою личную нравственную задачу. Оттуда столь характерныя для нихъ признанія, "исповъди", критика своей жизни и дъятельности, иногда отрицаніе этой послъдней, исканіе новаго пути и новыхъ нравственныхъ истинъ и т. д.

Это, можно сказать, особая "школа" или особое—и очень важное — теченіе въ нашей художественной литературів, зачинателемъ котораго быль Гоголь. Въ ряду представителей "школы", послів Гоголя, мы находимъ великія имена—Достоевскаго, Глюба Успенскаго, Льва Толстого.

Эти писатели, подобно Гоголю, выступили въ литературъ со "своимъ душевнымъ дъломъ". Ихъ характерная черта, которою они, объединяясь, отличаются отъ другихъ дъятелей нашего искусства (Пушкинъ, Тургеневъ, Гончаровъ, Писемскій и друг.), состоитъ въ томъ, что, кромъ обязательныхъ для всякаго художника "мукъ слова", они

въ своемъ творчествѣ (да и внѣ его) переживаютъ еще— для художника вовсе необязательныя—, иуки совъсти" 1).

Человъкъ можетъ испытывать муки совъсти какъ потому, что онъ — большой грашникъ, такъ и потому, что онъ — большой праведникъ, а чаще всего оттого, что его совъсть есть аппарать, въ достаточной степени чувствительный, чутко отзывающійся на всё воздействія, способныя оскорбить нравственное чувство, откуда бы они не шли: отъ самого ли субъекта, или отъ другихъ людей, отъ окружающей среды. Но обязательныя въ личной жизни, въ живой дъятельности души, эти муки совъсти вовсе обязательны въ искусства, въ художественномъ творчествъ. Никто не откажетъ, наприм., Пушкину или Тургеневу въ даръ тонко-развитаго нравственнаго чувства, въ чуткомъ аппаратъ совъсти, но гдъ же у нихъ слъды мукъ совъсти — какъ элементи или какъ одной изъ пружинъ творчества? Весьма возможно, что у нихъ этого рода душевныя муки являлись прецедентомъ творчества, но въ самомъ процессъ его онъ не разгорались, а потухали. Какъ человъкъ, какъ нравственная личность, художникъ этого типа можетъ испытывать острую душевную боль, настоящую скорбь души отъ сознанія своихъ и чужихъ несовершенствъ, а всего чаще при видъ всяческихъ неправдъ, безобразій, пошлости въ окружающей средь. Къ ръдкимъ впечатланіямъ жизни не примашивается доля горечи, недовольства, стыда за себя, за другихъ, -- и у натуръ съ тонкою и сложною душевною организаціей, каковы художники, опыть жизни редко обходится безъ томленія нравственнаго "я" человъка, безъ-порою острой, порою глухоноющей — боли души. Эти тягостныя душевныя состоянія



⁴⁾ О "мукахъ слова", какъ необходимомъ элементъ или спутникъ творчества, трактуетъ превосходная, глубокая по мысли и блестящая по формъ статья А. Г. Горифельда "Муки слова" въ "Сборн. Рус. Богатства". 1899 г. (недавно переиздана "Свъточемъ").

могуть у одного занимать больше мъста въ жизни, у другого меньше; у одного и того же субъекта они могутъ измъняться съ годами въ ту или другую сторону. Но каково бы ни было значение этой тяготы душевной въ личной интимной жизни человъка, она легко можетъ быть снята съ души въ процессъ высшей умственной дъятельности вообще, въ художественномъ творчествъ въ частности. Повидимому, въ большинствъ случаевъ такъ и бываетъ. Высшая работа мысли ученаго, философа, художника очищаетъ душу отъ всякой никипи жизни... Оттуда извъстный взглядъ на искусство, какъ на дъятельность, которая умиротворяетъ душу. Въ процессъ творчества происходитъ собираніе души, раздробляемой повседневною психическою жизнью, сосредоточеніе, объединеніе душевныхъ силъ, и неудивительно, что тутъ исчезаетъ всякій внутренній разладъ, въ томъ числь и тоть, который связань съ "муками совъсти". И художникъ, какимъ бы "мученикомъ совъсти" онъ ни былъ въ своей личной жизни, перестаетъ мучиться, когда творить, хотя бы объектомъ его творчества и были эти самыя муки. Мы узнаемъ это по его произведеніямъ, въ которыхъ мы не усматриваемъ признаковъ внутренняго томленія, душевной тревоги, судорожныхъ порывовъ, исканій, - всего, чімъ характеризуется творящая мысль, когда она внутренно не свободна, а такъ или иначе связана въчно бодрствующими муками совъсти или отравлена ядомъ внутренняго разлада, нравственныхъ укоровъ, душевныхъ недоумъній, томленія нравственнаго чувства.

Вотъ именно такую картину связаннаго творчества, картину отравленной мысли и являетъ намъ художественная (и нехудожественная) дъятельность тъхъ писателей, которыхъ мы называемъ "художениками-моралистами и исповъдниками". Суть дъла здъсь не въ томъ собственно, что они ставятъ нравственныя задачи и отъ искусства переходятъ къ моральной проповъди,—суть дъла здъсь въ томъ, что у нихъ само художественное творчество не обладаетъ полнотою "внутренней свободы", что на ихъ художественных созданіяхъ, какъ бы они ни были совершенны, и вообще на ихъ умственной двятельности лежить отпечатокъ внутренней тревоги и, съ большею или меньшею ясностью, видны слъды ихъ личнаго "душевнаго дъла".

Возьмемъ Толстого: уже въ первыхъ его произведеніяхъ (въ. "Дътствъ", "Отрочествъ", "Юности", "Казакахъ") ясно чувствуется, что художникъ занятъ какимъ-то своимъинтимнымъ, строго-личнымъ-вопросомъ и что этотъ вопросъ есть задача нравственная; видно также и то, что художникъ еще не ръшилъ ея, что она продолжаетъ, если не мучить, то вообще занимать его: онъ все ходить вокругь да около недоумъній своего нравственнаго сознанія. Это отнюдь не мѣшаетъ созданнымъ образамъ и картинамъ быть истиннохудожественными. Но когда онъ отъ поэзіи образовъ перейдетъ къ прозаическому мышленію, тогда "внутренняя тревога" помъщаеть его мыслямъ, какъ бы онъ ни были значительны и даже порою геніальны, быть истинно-философскими. Очевидно, въ противоположность наукъ и философіи, искусство не боится "мукъ совъсти" и всякой душевной боли, не терпитъ ущерба отъ недоуманій и противорачій нравственнаго сознанія. Съ особливой наглядностью обнаруживается это въ "Войнъ и Миръ" и "Аннъ Карениной", гдъ огромная высота художественнаго творчества такъ причудливо совмъщается съ тою его "несвободою", о которой мы говоримъ. Вопросы личнаго нравственнаго сознанія продолжають занимать и тревожить художника, выражаясь въ психологіи князя Андрея и Пьера Безухова, въ оцінкі событій, въ освъщении фигуръ Кутузова и Наполеона, въ создании исторіи"; Каратаева, въ своеобразной "философіи (въ "Аннъ Карениной") въ изображении идей и настроений Левина, въ нравственной оценке другихъ лицъ и т. д.

Какъ бы мы ни судили о художественныхъ достоинствахъ и недостаткахъ произведеній Достоевскаго, не подлежитъ сомнвнію его огромное творческое дарованіе въ предвлахъ

изображенія извъстныхъ сторонъ души человъческой. Въ своей области онъ, можно сказать, не имъетъ соперниковъ. Но вмъстъ съ тъмъ очевидно, что его творчество было далеко не свободно, —оно было сковано вопросами и муками его лична го правственна го сознанія, откуда возникала и своеобразная моральная проповъдъ-публицистика, особливо ярко выразившаяся въ "Дневникъ писателя".

Въ лицѣ Глюба Успенскаго мы имъемъ первостепеннаго художника, который въ своемъ творчествъ не могъ и шагу ступить безъ того, чтобы не поднять того или иного вопроса своей личной совъсти, необычайная чуткость которой достаточно извъстна. В. Г. Короленко въ высоко-художественномъ очеркъ («Воспоминанія о Г. И. Успенскомъ», «Русск. Бог.» 1902 г., кн. 5) съ изумительною ясностью раскрыль намъ тайну этой прекрасной души, -- души мученика за чужіе гръхи, и показалъ, какъ фактически тъсно связывалось художественное творчество Успенскаго съ муками его совъсти, чистой, какъ кристаллъ, съ великою скорбью его сердца и мысли. «Публицистика» Успенскаго была въ существъ дъла «моральною проповъдью», вышедшею изъ глубины его творчества, какъ «Дневникъ писателя» выдълился изъ творчества Достоевскаго, какъ морально-религіозная доктрина Толстого развиласъ изъ этики его художественныхъ созерцаній.

II.

Если взять чисто-художественныя произведенія Гоголя. (собственно «Ревизора» и «Мертвыя души») и сопоставить ихъ съ таковыми же произведеніями другихъ нашихъ художниковъ-моралистовъ, то прежде всего бросится въ глаза слёдующая особенность Гоголя: у него моралисто заслонена сатирикола, и не будь въ нашемъ распоряженіи «Авторской исповёди», «Выбранныхъ мёсть» и огромнаго матеріала пи-

семъ, мы едва ли и догадались бы, что, создавая Хлестакова, Чичикова, Манилова, Ноздрева и такъ дал., великій поэтъ задавался вопросами своего нравственнаго сознанія и преслѣдовалъ какія-то моральныя задачи.

Теперь мы знаемъ, что Гоголь довольно рано сталъ задумываться надъ вопросами своего нравственнаго развитія, и уже не можемъ сомнъваться въ справедливости его признанія, что, выставляя на всеобщее посм'яніе разныя «мерзости» или «гадости», онъ стремился самъ избавляться отъ нихъ, что онъ исправлялъ самого себя 1). Это подтверждается между прочимъ созданіемъ фигуры Хлестакова. Какъ было уже уномянуто, въ характеръ Гоголя были черты въ своемъ родь «хлестаковскія». При извъстной вдумчивости Гоголя, при его въчномъ стремленіи вникать въ свой внутренній замыселъ Хлестакова необходимо долженъ былъ сопровождаться постановкою соотвътственной лично-правственной задачи. Создавъ образъ Хлестакова, Гоголь лучше созналь ту долю или тоть родь хлестаковщины, который быль у него самого, и, несомивнио, сдвлалъ шагъ впередъ въ дълъ нравственнаго самосознанія и самовоспитанія.

Но туть же проявилась и другая сторона творчества великаго поэта, въ высокой степени важная для пониманія его, какъ художника-моралиста, заслоненнаго сатирикомъ. Это именно тоть факть, что Хлестаковъ вышелъ типольт національными: въ этомъ образѣ дана злая критика плевъстныхъ чертъ нашей—русской— національный психики. Тоже самое нужно сказать и о большинствѣ другихъ типовъ, созданныхъ Гоголемъ. Изъ его писемъ и признаній (наприм., въ «Авторской исповѣди») достаточно извѣстно, что всего болѣе интересовался онъ, какъ художникъ, національной психологіей русскаго человъка. Большой мастеръ улавливать различныя черты нашей русской, національной складки и повадки, онъ почти непроизвольно превращалъ свои быто-



¹⁾ Относящіяся сюда цитаты изъ «Выбранныхъ мѣстъ» см. въ І-ой главѣ этого этюда.

вые типы въ національные. А такъ какъ эти бытовые типы (чиновниковъ, помъщиковъ и пр.) были продуктомъ не чистаго наблюденія, а художественнаго эксперимента, въ которомъ сгущались и выступали наружу черты отрицательныя (экспериментаторъ былъ моралистъ-сатирикъ), то и національные признаки получили въ этихъ образахъ характеръ отрицательных в качество, недостатково, даже пороково. И въ результатъ вышло не только изображение отрицательныхъ сторонъ русской действительности въ данную эпоху, но вийсти съ тимъ получилась картина искривленія національной физіономіи, геніальная художественная картина, на которой русская національная психика представлена со стороны всего (пошлаго, мелочного, нравственно-несостоятельнаго, что наблюдается въ русскомъ человъкъ и, въ существъ дъла, принадлежитъ не ей, а ему. Такимъ образомъ лганье Хлестакова, грубость Собакевича, слащавость Манилова и т. д. получили отпечатокъ особаго-русскаго - лганья, специфически-русской грубости, слащавости и т. д. Но въ ряду этихъ фигуръ по преимуществу національными безсмертныхъ должны быть признаны Хлестаковъ, Чичиковъ, Ноздревъ, Сквозникъ-Дмухановскій, Тентетниковъ, генералъ Бетрищевъ, Патухъ, о которыхъ съ полнымъ правомъ можно сказать: «Здісь русскій духь, здісь Русью пахнеть»... И, въ нравственномъ смыслъ, вовсе не такъ скверно пахнетъ, какъ кажется съ перваго взгляда. Дъло въ следующемъ: національныя черты-не качества (хорошія или дурныя), а свойства, въ этическомъ отношении безразличныя і), но художникъ-экспериментаторъ, въ интересахъ художественнаго познанія, имфеть право дать имъ такую обработку и такое освъщение, что онъ явятся уже не безразличными свойствами, а опредъленными качествами, подлежащими нравственной оценкъ. Люди, одержимые національнымъ самомнъніемъ и

⁴⁾ Я неоднократно высказываль эту мысль, см., наприм., въкнижкъ "Л. Н. Толстой какъ художникъ".

шовинизмомъ, всегда склонны въ подобныхъ случаяхъ обвинять художника во лжи и клеветь. Излишне опровергать ихъ, -- достаточно вамътить, что это--- "ложь и клевета" микроскопа, который показываеть въ чудовищно-увеличенномъ видь то, что въ дъйствительности существуетъ въ микроскопически-маломъ видъ. Но нелишне указать на то, что и сама жизнь спорадически производить своего рода "эксперименты", аналогичные художественнымъ: она создаетъ типичные экземпляры съ искривленной національной физіономіей. Такъ, Хлестаковы, Сабакевичи, Маниловы, Чичиковы, Ноздревы и т. д. существовали и существують, не столь "художественные", какъ у Гоголя, но во всякомъ случав не уступающіе имъ въ "уродствъ", въ искривленіи національной физіономіи. Одна изъ великихъ заслугъ экспериментальнаго искусства въ томъ и состоитъ, что оно показываеть, какъ и при какихъ условіяхъ происходить въ действительности обезображение національной психики, какъ совершается превращение безразличныхъ въ нравственномъ отношеніи національныхъ черть въ качества, подлежащія этическому суду и осужденію. Понятно огромное значеніе такихъ художественныхъ экспериментовъ для развитія національнаго самосознанія.

При этомъ необходимо отмътить слъдующее. Національное самосознаніе осуществляется не иначе, какъ путемъ преувеличенія національныхъ чертъ. Это преувеличеніе бываеть двоякое: либо національныя черты представляются въ видъ какихъ-то якобы добродѣтелей или вообще положительныхъ качествъ, либо въ видъ якобы пороковъ или вообще качествъ отрицательныхъ. Первый путь—опасенъ: онъ ведетъ къ гръху шовинизма, національнаго самомнънія. Второй путь, напротивъ, ведетъ къ самокритикъ, просвътляетъ и облагораживаетъ на ціональное чувство, предупреждаетъ возможность извращенія національныхъ чертъ и внушаетъ глубоко-върную мысль о томъ, что для правильнаго развитія національной формы, для ея усовершенствованія необходимо сперва выйти на широкую, торную дорогу общественнаго и умственнаго про-

гресса. Самая богатая, наилучше одаренная національная психика можетъ извратиться и размѣняться на пустяки при отсутствіи здоровой общественности, при господств' такихъ пагубныхъ началъ, какимъ было кръпостное право, при пустоть и пошлости жизни и "пугающемъ отсутствіи свъта" 1). Гоголь чувствоваль и по-своему понималь это, но онъ не могъ возвыситься до критики общественнаго строя того времени, не могъ уяснить себъ все безобразіе кръпостного права и несостоятельность дореформенныхъ порядковъ: при свойственной ему темнотъ ума онъ не имълъ въ своемъ распоряженіи ни выработанныхъ общественныхъ сколько-нибудь удовлетворительнаго критерія для оцфики формъ общественности. Но зато онъ отлично видълъ порчу ("искривленіе") національной психики, — онъ видёль, онъ живо чувствоваль эту порчу-како моралисто по натурю. Его нравственное чувство оскорблялось не прямо безобравіемъ строя жизни, а душевными уродствами русскихъ людей; ему казалось, будто эти уродства вообще присущи русскому человъку, какъ таковому, т. е. онъ возводилъ ихъ на степень русскихъ національныхъ признаковъ. И его геніальная сатира являлась, въ его глазахъ, не могучимъ орудіемъ развитія общественнаго самосознанія, а только какъ бы исповъданіемъ національныхъ гръховъ и призывомъ къ покаянію, къ нравственному исправленію. Въ этомъ отношеніи весьма характерно для Гоголя одно изъ слабъйшихъ его произведеній-, Развязка Ревизора", гдѣ дано аллегорическое толкованіе великой комедіи, при чемъ говорится, будто подъ городомъ, гдв происходить двйствіе, следуеть понимать "душевный городъ", подъ фигурами чиновниковъ-человъческія страсти, а Хлестаковъ--это "вътреная свътская совъсть, продажная, обманчивая совъсть", въ то время какъ настоящая, нелицепріятная совъсть человъка символизируется настоящимъ ревизоромъ, о прибытіи котораго возвъ-

¹⁾ Выраженіе Гоголя, см. въ І-й главъ.

щается въ концъ комедіи 1). Подобныя же морально-аллегорическія толкованія даваль Гоголь и "Мертвымъ душамъ".

Здёсь воочію обнаружился и заговориль своимъ языкомъ моралисть, раньше оставшійся въ тени и говорившій языкомъ художника-сатирика.

Но еще ярче и поливе выступаетъ этотъ моралистъ, вмъстъ съ занимающимъ его "душевнымъ дъломъ" и съ его широкими планами художественной деятельности, направленной на служение нравственнымъ цёлямъ, въ различныхъ мъстахъ писемъ, въ родъ, наприм., слъдующихъ: «Я ръшился собрать (въ «Ревизоръ») все дурное, какое только я зналъ, и за однимъ разомъ надъ всемъ посменться-вотъ все происхожденіе "Ревизора"! Это было мое первое произведеніе, замышленное съ цълью произвести доброе вліяніе на общество, что, впрочемъ, не удалось... Представление "Ревизора" произвело на меня тягостное впечатленіе. Я быль сердить и на зрителей, меня не понявшихъ, и на себя самаго, бывшаго виной тому, что меня не поняли. Мнъ хотълось убъжать отъ всего. Душа требовала уединенія и обдуманія строжайшаго своего дёла. Уже давно занимала меня мысль большого сочиненія 2), въ которомъ бы предстало все, что ни есть и хорошаго, и дурного въ русскомъ человъкъ, и обнаружилось бы передъ нами виднъй свойство 2) нашей русской природы... "Это быль замысель "Мертвыхъ душъ". Далье говорится о томъ, что «планъ цьлаго никакъ не могъ выясниться и опредълиться», и что ему пришлось учиться «у великихъ мастеровъ постройкъ большихъ твореній»,--и онъ принялся за нихъ, начиная съ Гомера. «Съ большими усиліями,--продолжаеть онь,--удалось мив кое-какъ выпустить въ свъть первую часть «Мертвыхъ душъ», какъ бы затьмъ, чтобы увидьть въ ней, какъ я быль еще далекъ



¹⁾ См. весь заключительный монологь "перваго комическаго актера", а также "Дополненіе къ развязкъ Ревизора".

²⁾ Курсивъ мой.

отъ того, къ чему стремился. Послѣ этого нашло на меня вновь безблагодатное состояніе... Я думалъ, что способность писать просто отнялась отъ меня»... Но тутъ постигли его «болѣзни и тяжкія душевныя состоянія», подъ вліяніемъ которыхъ онъ обратился къ тому, къ чему и «прежде, чѣмъ сдѣлаться писателемъ, имѣлъ охоту,—къ наблюденію внутреннему надъ человѣкомъ и надъ душой человъческой» 1).

Безъ всякаго сомивнія, тутъ рвчь идеть не о твхъ наблюденіяхъ, которыя производять всё художники, а о техъ, какія свойственны только художникамъ-моралистамъ. Это была задача "своего душевнаго дела",—здесь подымались вопросы нравственнаго самовоспитанія. "О, какъ глубже передъ тобой раскрывается это познаніе (души человіческой), когда начнешь дёло съ собственной своей души!" читаемъ дальше. У Гоголя эта постановка личной нравственной задачи сопровождалась оживленіемъ его религіознаго чувства,поэть впадаль въ религіозный экстазь и мистицизмъ. "На этомъ пути", - продолжаетъ онъ, - "поневолъ встрътишься ближе 2) съ Тъмъ, Который одинъ изъ всъхъ, доселъ бывшихъ на землъ, показалъ въ Себъ полное познаніе души человъческой"... Выраженіемъ этнхъ морально-религіозныхъ настроеній и идей и явились "Выбранныя міста изъ переписки съ друзьями". Неуспъхъ этой книги показалъ Гоголю, что "не его дело поучать проповедью". "Искусство",-говорить онь, — "и безъ того уже поучение в). Мое дело говорить живыми образами, а не разсужденіями. Я долженъ выставить жизнь лицомъ, а не трактовать о жизни. Истина очевидная. Но вопрось: могь ли бы я безь этого большого крюку сдълаться достойнымъ производителемъ искусства? могъ ли бы я выставить жизнь вь ея глубинт, такъ, чтобы она пошла въ поучение?" 4)

⁴⁾ Курсивъ Гоголя.

²⁾ Курсивъ Гоголя.

³⁾ Курсивъ мой.

⁴⁾ Курсивъ мой.

Такими вопросами не задаются тѣ художники, которые ограничиваются этикой, присущей искусству, и не преслъдують особливыхъ моральныхъ цѣлей. Имъ чуждъ поэтому и тотъ узко-моралистическій, дидактическій взглядъ на искусство, который высказываетъ Гоголь въ слѣдующемъ мѣстѣ того же письма:

"Искусство есть водворение въ душу стройности и порядка, а не смущенія и разстройства. Искусство должно изобразить намъ такимъ образомъ людей земли нашей, чтобы каждый изъ насъ почувствоваль, что это живые люди 1), созданные и взятые изъ того же тъла, изъ котораго и мы. Искусство должно выставить намъ на видъ всв доблестныя народныя 2) наши качества, не выключая даже тъхъ, которыя, не имъя простора свободно развиться, не всъми замечены и опенены такъ верно, чтобы каждый почувствоваль ихъ и въ себъ самомъ и загорълся бы желаніемъ развить и возделъять въ себъ самомъ то, что имъ заброшено и позабыто. Искусство должно выставить намъ всв дурныя наши народныя 3) качества и свойства такимъ образомъ, чтобы следы ихъ каждый изъ насъ отыскаль прежде въ себе самомъ и подумаль бы о томъ, какъ прежде съ самого себя сбросить все, омрачающее благородство природы нашей. Тогда только, и такимъ образомъ дъйствуя, искусство исполнитъ свое назначение и внесеть порядокъ и стройность въ обще-CTBO". 4)



¹⁾ Курсивъ Гоголя.

²) «Народныя»—въ смыслъ «національныя» Курсивъ Гоголя.

въ значени «народныя» въ значени «національныя».

⁴⁾ Всё эти выдержки взяты изъ извёстнаго письма къ Жуковскому $\left(\frac{1848, \text{ генв. } 10}{1847, \text{ декаб. } 29}\right)$, присоединеннаго къ «Выбраннымъ мёстамъ изъ переписки съ друзъями».

III.

Едва ли возможно возстановить полную психологическую картину "душевнаго дёла" Гоголя и того "самовоспитанія", о которомъ онъ такъ часто говорить въ своихъ письмахъ. Но мы, кажется, не ошибемся, если скажемъ, что въ основаніи «душевнаго дёла» лежало преувеличенное, ипохондрическое представленіе о своихъ недостаткахъ, даже «грёхахъ», большею частью воображаемыхъ. Самовоспитаніе же, сколько извёстно, сводилось къ самоанализу, углубленію въ себя, покаянію, молитвамъ, религіознымъ упражненіямъ разнаго рода, чтенію душеспасительныхъ книгъ. Но все это получитъ надлежащее освёщеніе только въ томъ случаё, если мы не будемъ упускать изъ виду того, что Гоголь былъ натура не только глубоко-религіозная, но и мистическая.

Онъ принадлежалъ къ тому типу върующихъ, которымъ, чъмъ они больше въруютъ, тъмъ недостаточнъе кажется пхъ въра. Это—религіозность мнительная и тревожная; ея отличительныя черты—жажда знаменій и чудесъ, стремленіе къ непосредственному общенію съ Божествомъ, постоянные переходы отъ смиренія и самоуничиженія человъка къ гордому и счастливому сознанію, что Божество открывается ему, печется о немъ и таинственно ведетъ его куда-то, посылая испытанія, бользни, разнаго рода указанія... И человъкъ сосредоточивается на постоянномъ, напряженномъ истолкованіи себъ самому смысла этихъ указаній свыше...

Случится ли съ нимъ какая-нибудь бѣда, неудача, болѣзнь,—онъ уже задумывается, ломаетъ голову и старается понять, что именно хотѣло сказать этимъ Божество. Его сны становятся вѣщими,—вся жизнь его обставляется таинственными символами, его умъ безсильно бьется надъ мудреною казуистикой толкованія этихъ символовъ. А если къ этой, отчасти горделивой и всегда утѣшительной, вѣрѣ въ непосредственное вмёшательство Божества въличную жизнь человёка мы присоединимъ еще и другую, уничижительную и устрашающую, вёру въ «нечистую силу», въ дьявола, который то и дёло подстерегаетъ человёка и изыскиваетъ всяческія средства овладёть его душой, то и получимъ печальную картину крайняго миеологическаго мистицизма, образчикъ котораго мы видимъ у Гоголя.

Чтобы лучше охарактеризовать этотъ минологическисуевърный родъ мистицизма, приведемъ нъсколько выдержекъ изъ писемъ Гоголя.

Онъ въриль въ предчувствія и, мало того, готовъ быль видъть въ нихъ данный ему свыше «даръ пророчества». Указанія на это мы находимъ въ его перепискъ еще задолго до окончательнаго поворота въ сторону крайняго мистицизма. Такъ, въ письмъ къ овдовъвшему Плетневу отъ 27 сент. 1839 г. онъ говоритъ: «Вы лишились вашей доброй и милой супруги, столько лътъ шедшей объ руку вашу... Знаете ли, я предчувствовалъ это и, когда я прощался съ вами, мнъ что-то смутно говорило, что я увижу васъ въ другой разъ уже вдовцомъ. Еще одно предчувствіе, но оно еще не исполнилось, но исполнится, потому что предчувствія мои върны, и я не знаю, отъ чего во мнъ поселился теперь даръ пророчества»...

Истолкователемъ указаній, идущихъ свыше, глашатаемъ воли Божьей является Гоголь сперва и чаще всего въ письмахъ къ матери, и можно утверждать положительно, что это отнюдь не была у него только манера выражаться примънительно къ умственному уровню и простой въръ матери. Нътъ, въ данномъ случать Гоголь върилъ больше и кръпче, чъмъ върятъ люди обычно-религіозные. Въ письмъ къ матери отъ 25 янв. 1840 г. онъ говоритъ по поводу затруднительнаго матеріальнаго положенія его семьи: «Намъ грозитъ крайность. Это значитъ—насъ Богъ вызываетъ на битву. Онъ хочетъ поглядъть на насъ, какъ мы пройдемъ по этому пути и справедливо ли то, что мы говорили до сихъ поръ,

будто мы въруемъ въ Него и на Него возлагаемъ надежду». Такихъ мъстъ можно привести десятки.

Съ годами все очевиднъе становилось ему нарочитое вмѣшательство Божества въ его личную жизнь и судьбу. Такъ, въ черновомъ наброскъ письма къ Раевской, относящемся къ 1840 году, онъ говоритъ, что его постигла опасная бользнь, отъ которой врачи не могли исцълить его, и "одна только чудная воля Бога воскресила" его. "Это чудное мое исцеленіе", продолжаеть онь, паполняеть душу мою утъшениемъ несказаннымъ: стало быть, жизнь моя еще нужна и не будетъ безполезна".-Въ письмъ къ Аксакову отъ 28 дек. 1840 г. читаемъ: «...Я радъ всему, всему, что ни случается со мною въ жизни, и какъ погляжу я только, къ какимъ чудеснымъ пользамъ и благу вело меня то, что называется въ свътъ неудачами, то растроганная душа моя не находить словь благодарить Невидимую Руку, ведущую меня». Жуковскому онъ писалъ 10 мая 1843 г.: «Бользнь моя такъ мит была доселт нужна, какъ разсмотрю поглубже все время страданія моего, что не даеть духу просить Бога о выздоровленіи. Молю только Его о томъ, да ниспошлетъ нъсколько свъжихъ минутъ и надлежащихъ душевныхъ расположеній, нужныхъ для изложенія на бумагу всего того, что пріуготовляла во меж бользнь страданіями и многими, многими искушеніями и сокрушеніями всёхъ родовъ, за которыя недостаеть словъ и слезъ благодарить его всеминутно и ежечасно...»

Вникая въ тайный смыслъ посылаемыхъ ему испытаній, неустанно прислушиваясь къ указаніямъ свыше, Гоголь незамѣтно выработалъ себѣ нѣчто въ родѣ "теоріи познанія" путей Провидѣнія и вмѣстѣ теоріи чудодѣйственной силы молитвы. Онъ писалъ Языкову (4 нобря 1843 г.): "Молитва не есть словесное дѣло; она должна быть отъ всѣхъ силъ души; безъ того она не возлетитъ. Молитва есть восторгъ. Если она дошла до степени восторга, то она уже проситъ о томъ, чего Вогъ хочетъ, а не о томъ, чего мы хотимъ. Какъ

узнать хотвніе Божье? Для этого нужно взглянуть разумными очами на себя и изследовать себя: какія способности, данныя намъ отъ рожденія, выше и благороднье другихъ? Теми способностями мы должны работать преимущественно, и въ сей работъ заключено хотъніе Бога; иначе онъ не были бы намъ даны. Итакъ, прося о пробужденіи ихъ, мы будемъ просить о томъ, что согласно съ Его волею; стало-быть, молитва наша прямо будетъ услышана. Но нужно, чтобы эта молитва была отъ всёхъ силъ души нашей. Если такое постоянное напряжение, хотя на двъ минуты въ день, соблюсти въ продолжение одной или двухъ недель, то увидишь ея дъйствія непремънно. Къ концу этого времени въ модитвъ окажутся прибавленія. Вотъ какія произойдуть чудеса. Въ первый день еще ни ядра мысли нёть въ голове твоей: ты просишь просто о вдохновеніи. На другой или на третій день ты будешь говорить не просто: "Дай произвести мнъ". но уже "дай произвести мив въ такомъ-то духв". Потомъ, на четвертый или пятый: "Съ такою-то силою". Потомъ окажутся въ душъ вопросы: какое впечатльніе могуть произвести задумываемыя творенія и къ чему могуть послужить? И за вопросами въ ту же минуту последують ответы, которые будуть прямо отъ Бога. Красота этихъ отвътовъ будетъ такова, что весь составъ уже самъ собою превратится въ восторгъ; и къ концу какой-нибудь другой недвли увидишь, что уже все составилось, что нужно: и предметь, и значение его, и сила, и глубокій внутренній смысль, словомъ--все; стоить только взять въ руки перо, да и писать". Эти любопытныя строки говорять сами за себя. Онв какъ нельзя лучше раскрывають намъ самую суть того мистическаго уклада души, какой быль присущъ Гоголю.

Какъ видно изъ приведеннаго отрывка, Гоголь стремился внушить такое воззрвніе и настроеніе другимъ,—въ данномъ случав поэту Языкову. Вотъ аналогичное внушеніе, обращенное къ художнику Иванову: "Вы еще далеко не христіанинъ, хотя и замыслили картину на прославленіе Христа и хри-

стіанства. Вы не почувствовали близкаго къ намъ участья Бога и всю высоту родственнаго союза, въ который Онъ вступиль съ нами".

Нетрудно понять какое вліяніе должно было оказать это мистическое воззрѣніе на постановку той личной нравственной задачи, того "душевнаго дѣла", которое такъ занимало Гоголя: этическое поглощалось у него религіознымъ, проблемма нравственнаго совершенствованія ставилась и рѣшалась въ духѣ личнаго подвижничества, аскетизма, удаленія отъ міра. Онъ глубоко вѣрилъ, что на этомъ пути устанавливается и крѣпнетъ связь человѣка съ Божествомъ и за человѣкомъ обезпечивается загробное блаженство на небесахъ.

IV.

Вникая въ психологическій составъ "душевнаго дёла" Гоголя, мы ясно различаемъ въ этомъ мудреномъ "дёль" двъ половины: 1) религіозно-нравственное самовоспитаніе съ тѣми мистическими пріемами, на которые я только что указаль, и 2) стремленіе къ плодотворной (какъ понималь Гоголь) общественной дъятельности, дающей субъекту нравственное удовлетвореніе. Это стремленіе, въ высокой степени характерное для развитія нашего общественнаго самосознанія, прекрасно выражается въ предложенной Н. К. Михайловскимъ формуль: "Какъ мнъ жить свято". Въ нашей литературь оно впервые проявилось съ достаточно яркой силой именно у Гоголя, и потому-то творедъ "Мертвыхъ душъ" и моралисть "Выбранныхъ мъстъ" по праву долженъ быть названъ основоположникомъ морализирующихъ, "проповъдническихъ" теченій или направленій въ развитіи нашей общественной мысли.

Этому значенію Гоголя не могла повредить та крайнемистическая и аскетическая постановка нравственных задачь, какую мы видимъ у него. Ибо, во-первыхъ, важно было

не то, какъ задача ставилась, а то, что она впервые была такъ или иначе поставлена, что вопросъбылъ поднятъ, что великій художникъ сталь моралистомъ и заговориль о нравственномъ достоинствъ человъка, о его призваніи къ лучшему нравственному существованію, о необходимости стремиться къ добру, къ чистотъ души, къ внутренней правдъ и проявлять эти стремленія въ поступкахъ, въ жизни. А во-вторыхъ, по свойственной человъку непослъдовательности, -- у Гоголя особливо-замътной, -- крайне аскетическая, отръшенная отъ жизни, постановка задачи не была доведена у него до конца; въдь онъ не ушелъ въ монастырь и другихъ не побуждалъ къ тому; напротивъ, его проповѣдь приняла направленіе общественное: онъ хотъль вліять на общество, исправлять нравы, съ какою целью и издаль "Выбранныя места". Мало того: всю свою художественную работу онъ хотыль повернуть въ эту сторону, выработавъ извъстный-правственнопоучительный-планъ второй и третьей части "Мертвыхъ Душъ". Наконецъ, мы видимъ, что онъ ведетъ своеобразную пропаганду среди лицъ высокопоставленныхъ, стремясь подвинуть ихъ на активную борьбу съ общественнымъ зломъ (неправосудіемъ, взяточничествомъ и т. д.). И мы можемъ смёло сказать о Гоголе, что онъ, преследуя свое "душевное двло", не только "спасалъ свою душу", но и стремился посвоему "дълать благое дъло среди царюющаго зла".

Но съ гедами "душевное дѣло" Гоголя принимало обороть все болѣе неблагопріятный для его личнаго—душевнаго благополучія и для его художественнаго творчества. Оно развивалось въ духѣ крайняго аскетизма и мистики. Это зависѣло ближайшимъ образомъ, во-первыхъ, отъ болѣзненной мнительности Гоголя въ отношеніи его нравственнаго сознанія,—мнительности, переходившей въ "нравственную ипохондрію", а во-вторыхъ, отъ присущаго ему—совсѣмъ уже нераціональнаго—вѣрованія въ чорта, въ "нечистую силу". Оттуда у него вѣчные страхи, постоянное содроганіе отъ содѣянныхъ или несодѣянныхъ грѣховъ, ужасъ при мысли, что,

можеть быть, воть сейчась онь попадеть въ когти дьявола и потеряетъ столь тяжкимъ трудомъ завоеванное блаженство въ раю... Оттуда постоянныя покаянія, учащенныя молитвы, оттуда, если можно такъ выразиться, "душевныя вериги", которыя онъ носиль, наконець-подчинение вліянію о. Матвая. Мы живо чувствуемъ этотъ мучительный, этотъ бользиенный страхъ и трепетъ души "гръшника", когда читаемъ извъстное духовное завъщание Гоголя, гдъ сказано: "Во имя Отца и Сына... Я хотель бы, чтобы по смерти выстроень быль храмъ, въ которомъ бы производились частыя поминки по гръшной душь. Для того кладу въ основание половину моихъ доходовъ съ сочиненій.. Я бы хотель, чтобы тело мое было погребено, если не въ церкви, то въ оградъ церковной, и чтобы панихиды по мнъ не прекращались". (Письма Н. В. Гоголя", подъ редакціей В. И. Шенрока, 1902, т. IV, стр. 426). Въ другомъ мъстъ того же документа читаемъ: "Помилуй, Господи, меня гръшнаго: свяжи сатану вновь" (стр. 424). И еще: "Помилуй меня гръшнаго, прости, Господи! Свяжи вновь сатану таинственною силою неисповъдимаго креста" (написано за нъсколько дней до кончины, см. тамъ же, стр. 426). Вспомнимъ и извъстный разсказъ о томъ, какъ незадолго до смерти Гоголя (въ началъ февраля 1852 г.) о. Матвъй такъ "напугалъ его изображениемъ отвътственности на Страшномъ Судъ, что Гоголь, не владтя собою, прервалъ его ръчь и сказалъ ему: "Довольно! Оставьте меня! Не могу далье слушать! Слишкомъ страшно!" (Примъчаніе В. И. Шенрока на стр. 423-й IV тома "Писемъ", со ссылкою на "Последніе дни Н. В. Гоголя" д-ра Тарасенкова).

Однако даже въ самый разгаръ такихъ страховъ Гоголь не упускалъ изъ виду общественной стороны нравственныхъ задачъ личности. Въ началъ того же "духовнаго завъщанія" находимъ обращеніе къ "друзьямъ", гдъ сказано: "Не смущайтесь никакими событіями, какія ни случатся вокругъ васъ. Дълайте каждый свое дъло, моляся въ тишинъ. Общество тогда только поправится, когда всякій

частный человъкъ займется собою и будетъ жить какъ христіанинъ, служа Богу тъми орудіями, какія ему даны, и стараясь имъть доброе вліяніе на небольшой кругъ людей, его окружающихъ. Все придетъ тогда въ порядокъ, сами собой установятся тогда правильныя отношенія между людьми, опредълятся предълы законные всему. И человъчество двинется впередъ..." (тамъ же, стр. 423—4).

Излишне опровергать эту точку зрвнія и доказывать, что таким способом викакія общества не "поправлялись", и человвчество этим в путем не двигалось впередь и не можеть двинуться... Но для насъ важно указать на то, что эта нераціональная, противорвчащая и историческому опыту, и всвмъ предпосылкамъ науки, точка зрвнія не разъвыставлялась и въ последующее время въ нашей литературь,—именно некоторыми представителями того морализирующаго направленія, основателем котораго быль Гоголь. Съ особливою настойчивостью и последовательностью проводилась она въ проповеди Л. Н. Толстого. Вмёстё сътемъ укажемъ и на то, что едва ли найдется подобная постановка нравственно-общественной задачи у представителей другого теченія, именно того, которое идеть отъ Пушкина.

V.

Когда появились "Вечера на хуторъ", "Миргородъ", потомъ "Ревизоръ", никому и въ голову не могло прійти, что авторъ этихъ вещей, по своему душевному укладу и характеру дарованія, призванъ сдѣлаться художникомъ-моралистомъ. Нравственныя основанія смѣха въ "Ревизоръ", конечно, были поняты лучшими умами эпохи; но что "Ревизоръ" былъ написанъ при особливомъ давленіи "мукъ совъсти", это зналъ только одинъ человъкъ—самъ Гоголь, да и тотъ еще не понималъ истиннаго смысла и всего значенія этого факта.

Фактъ состоялъ въ пробуждении особливой, болъзненной отзывчивости нравственнаго чувства, реагирующаго, съ чуткостью барометра, на давление нравственной атмосферы общества, А самому обладателю этого "барометра" казалось, что дъло идетъ только объ указании на частные случаи "злоупотреблений", да еще объ исправлении себя самого отъ нъкоторыхъ недостатковъ и дурныхъ замашекъ...

Но вскорт онъ сталъ уже яснте различать голосъ своихъ душевныхъ мукъ и понялъ, что онъ-одна изъ важныхъ пружинъ его творчества. Впоследствін, въ "Авторской исповъди", онъ вспоминалъ: "Причина той веселости, которую заметили въ первыхъ сочиненіяхъ..., заключалась въ нъкоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мнъ самому необъяснимой, которая происходила, можетъ быть, отъ моего бользненнаго состоянія. Чтобы развлекать себя самого, я придумываль себъ все смѣшное, что только могъ выдумать...". Объясненіе-довольно наивное, но въ немъ нельзя не видъть правильнаго указанія на симптомы сложнаго душевнаго процесса, который въ ту эпоху (первыхъ произведеній Гоголя) только начиналь развиваться. Припадки безотчетной тоски, отъ чего бы она ни происходила, были прецедентами той напряженной работы нравственнаго сознанія, которая вскорв должна была обнаружиться съ полною очевидностью. Потребность въ смѣхѣ, въ утѣхахъ беззаботнаго, веселого творчества-безъ мукъ совъсти-явилась, при огромномъ комическомъ талантъ, естественною реакціей противъ припадковъ "необъяснимой тоски".

"Ревизоръ" былъ поворотнымъ пунктомъ въ творчествъ Гоголя: великою комедіей онъ круто повернулъ въ сторону того творчества, которое мы называемъ "связаннымъ" запросами личнаго нравственнаго сознанія художника. Въ той же "Авторской исповъди" читаемъ: "Я увидълъ 1), что

^{&#}x27;) Послъ тото какъ Пушкинъ раскрыль ему глаза.

въ сочиненіяхъ своихъ смъюсь даромъ, напрасно, самъ не зная зачамъ. Если смаяться, такъ ужъ лучше смаяться сильно и надъ тамъ, что дайствительно достойно османия всеобщаго. Въ "Ревизоръ" я ръшился собрать въ одну кучу все дурное въ Россіи, какое я тогда зналь, всь несправедливости, какія дёлаются въ техъ местахъ и въ техъ случаяхъ, гдв больше всего требуется отъ человъка справедливости, и за однимъ разомъ посмъяться надъ всъмъ. Но это, какъ извъстно, произвело потрясающее дъйствіе. Сквозь смёхъ, который никогда еще во мнё не появлялся въ такой силь, читатель услышаль грусть. Я самь почувствоваль, что уже смехь мой не тоть, какой быль прежде, что уже не могу быть въ сочиненіяхъ моихъ тёмъ, чёмъ быль дотоль, и что самая потребиость развлекать себя невинными, беззаботными сценами окончилась вмёстё съ молодыми моими льтами".-Онъ все болье углубляется въ въ свой внутренній міръ, вникаеть въ мудреныя задачи, которыя подымались тревожной работой нравственнаго чувства и-при темнотъ мысли-такъ нераціонально ставились его огромнымъ умомъ, -- и вотъ въ письмахъ его все чаще и чаще попадаются указанія на какое-то "душевное діло", его занимающее, на необходимость "самовоспитанія", на благотворное вліяніе на его душу разныхъ "отлученій отъ міра", уединенія, "сокрушеній", наконецъ бользней...

Изумлялись, читая все это, друзья его и не совсѣмъ върили искренности его признаній. "Хитритъ хохолъ", думали они, и терялись въ догадкахъ о томъ, къ чему все это, какая скрытая цѣль или задняя мысль могла руководить въ данномъ случаѣ "хитрымъ хохломъ"... Въ настоящее время искренность этихъ признаній Гоголя уже не можетъ возбуждать сомнѣнія: этотъ человѣкъ дѣйствительно былъ поглощенъ внутренней работой "самовоспитанія", и его творчество и двигалось, и связывалось "муками совѣсти" и своеобразною постановкою лично-нравственной задачи; его дѣйствительно занималъ и мучилъ вопросъ: "какъ

мить свято?",—и онъ соединяль свои нравственныя стремленія съ задачею осуществленія своей "общественной стоимости".

И нътъ никакихъ основаній сомнъваться въ искренности его признаній въ родъ слъдующаго: "Я еще не зналъ тогда (говорить онъ въ "Авторской исповеди" по поводу своихъ поисковъ "мъста на государственной службъ"), какъ многаго мив недоставало затвмъ, чтобы служить такъ, какъ я хотълъ служить. Я не зналъ тогда, что нужно для этого побъдить въ себъ всъ щекотливыя струны самолюбія личнаго и гордости личной, не забывать ни на минуту, что взяль мѣсто не для своего счастья, но для счастья многихъ твхъ, которые будутъ несчастны, если благородный человъкъ бросить свое мъсто... Я не зналъ еще тогда, что тому, кто пожелаетъ истинно-честно служить Россіи, нужно имъть очень много любви къ ней, которая бы поглотила уже всв другія чувства, тужно иметь много любви къ человъку вообще и сдълаться истиннымъ христіаниномъ во всемъ смыслѣ этого слова". Вскорѣ, именно все тѣмъ же путемъ самовоспитанія, самоуглубленія, "сокрушеній" и молитвъ, онъ и позналъ эту истину, гласящую, что въ Россіи (его времени) нужно быть истиннымъ христіаниномъ для того, чтобы на службъ быть порядочнымъ человъкомъ...

Но ему не дано было постичь другой—простой—истины, что великая задача общественнаго развитія и вмѣстѣ государственной пользы въ томъ-то и состоитъ, чтобы создать условія, при которыхъ человѣкъ, служащій государству и обществу, легко могъ бы добропорядочно исполнять свои обязанности и не будучи "настоящимъ христіаниномъ во всемъ смыслѣ этого слова"... Впослѣдствіи, паденіе крѣпостного права, развитіе общественнаго самосознанія, рядъ реформъ 60-хъ годовъ, распространеніе образованія и т. д. явились первыми шагами на этомъ пути. Какъ творецъ "Ревизора" и "Мертвыхъ душъ", Гоголь былъ одной

изъ силъ, создававшихъ самую возможность этихъ первыхъ шаговъ.

Если мы признали, что постановка вопросовъ личнаго правственнаго сознанія ("душевное дѣло") была у него необходимою пружиной его творчества, то этимъ самымъ признали великую важность этого лично-правственнаго стремленія и для дѣла нашего общественнаго развитія, только не прямо (ибо содержаніе проповѣди Гоголя было безусловно непригодно для этого развитія), а косвенно—черезъ посредство художественнаго творчества, которое есть дѣятельность, въ своей психологической сути, чисто личная, а по значенію и призванію—общественная и національная.

ГЛАВА У.

Гоголь—общеруссъ на малорусской основъ. Къ вопросу о національномъ—общерусскомъ значеніи его.

Національность человіка опреділяется не его происхожденіемъ, а его языкомъ, именно тьмъ, который называють "роднымъ" (Muttersprache). "Родной языкъ" это тотъ, который, будучи усвоенъ человъкомъ съ дътства, сталъ для него привычнымъ, удобнъйшимъ, необходимымъ органомъ его Это-тотъ, на которомъ человъкъ непроизвольно мыслить, и который служить ему не столько для передачи мысли другимъ, сколько для созданія его собственной мысли. На немъ онъ молчаливо думаетъ, на немъ онъ видитъ свои сны и онъ же является всегда готовымъ средствомъ выраженія его чувствъ, его настроеній и страстей, всёхъ интимныхъ движеній души.—Если для васъ, по обстоятельствамъ вашей жизни, такимъ языкомъ сталъ, скажемъ, французскій, то вы по національности, несомнінно, французь, хотя бы происходили отъ русскихъ родителей и у васъ не было ни капли "французской" крови. Ваше чисто-русское происхожденіе можеть только внести кое-какіе оттінки въ вашу французскую національную форму, но последняя, по существу,

останется столь же французскою, какою является она у чистокровныхъ французовъ.

Прилагая къ Гоголю это понятіе о національности, мы ръшительно отвергаемъ обынное представление о Гоголъкакъ малороссъ въ собственномъ смыслъ. При малорусскомъ происхожденіи, онъ былъ, по національности, не малороссъ, а общеруссь. Это съ очевидностью явствуеть изъ двухъ фактовъ, которые въ данномъ вопросъ имъютъ ръшающее значеніе: 1) художественное творчество Гоголя совершалось на общерусскомъ, а не на малорусскомъ языкъ, -- а въдь давно дознано, что художественно творить на языкъ неродномъ (въ вышеуказанномъ смыслѣ)-это психологическая невозможность; на народномъ, на искусственно усвоенномъ языкъ можно только сочинять, упражняться въ слогъ, но нельзя поэтически — мыслить; 2) четыре тома его писемъ, начиная съ дътскихъ, свидътельствуютъ о томъ, что обиходнымъ языкомъ его личной жизни былъ общерусскій, на немъ, очевидно, говорили въ его семьъ, и онъ усвоилъ его еще въ дътствъ, въ домъ родителей, въ Васильевкъ; на немъ же писалъ онъ письма близкимъ друзьямъ-землякамъ (А. С. Данилевскому, Прокоповичу, Максимовичу). Въ огромной масст писемъ Гоголя есть только одно малорусское, да и то адресовано поляку Богдану Залъсскому, и само по себъ (если бы, положимъ, малорусское происхождение Гоголя было неизвъстно намъ) такъ же мало свидътельствовало бы о его малорусской національности, какъ итальянское письмо къ Балабиной-о его итальянской національности.

При всемъ томъ нельзя, разумъется, отрицать присутствія въ національномъ складъ Гоголя извъстныхъ чертъ, принадлежащихъ національности малорусской. Гоголь былъ общеруссъ, но въ его общерусскомъ національномъ укладъ и въ его общерусскомъ языкъ были признаки малорусскаго происхожденія, подобно тому какъ у другого общерусса найдутся признаки великорусскіе, у третьяго—бълорусскіе, у четвертаго—польскіе, у пятаго—еврейскіе и т. д.

Чтобы не сбиваться въ этомъ вопросѣ, который, при всей лингвистической и исихологической простотѣ и ясности, запутанъ и затемненъ неправильными ходячими представленіями о національности, необходимо прежде всего усвоить себѣ истинную природу того явленія, для обозначенія котораго мы пользуемся терминами "общеруссъ", "общерусскій", давно узаконенными въ филологической литературѣ, но малоупотребительными въ общежитіи.

Обывновенно въ томъ смыслѣ, какъ мы говоримъ здѣсь "общеруссь", говорять "русскій",-и это вносить путаницу. И въ самомъ деле: хохолъ изъ глубины Полтавщины и русинъ изъ Галиціи, въдь, также русскіе, не меньше великоросса изъ Москвы, великоросса изъ Новгородской губ., сибиряка, бълорусса и т. д. Все это-этническія разновидности, подводящіяся подъ видовое понятіе - "русскіе", которое служитъ только для ихъ обобщенія, ихъ суммированія. Совсемъ не то — "общеруссы": это слово означаеть не объединеніе или обобщение понятій "великороссы", "малороссы", "бълоруссы" съ ихъ многочисленными деленіями по наречіямъ и говорамъ въ одну группу, а служить названиемь особой, фактически существующей разновидности. Иначе говоря, подъ общее понятіе «русскіе» подводятся всв великороссы, малороссы, білоруссы со всіми ихъ подразділеніями, и еще-общеруссы, также имъющіе свои подраздъленія: общеруссы на великорусской основъ, общеруссы на малорусской, на бълорусской и потомъ также на разныхъ основахъ не русскаго происхожденія, а инороднаго. Сомніваться въ существованіи особой національной формы, обозначаемой названіемъ «общерусской», нельзя, — ибо не подлежить сомньнію существованіе особаго общерусскаго языка, отличнаго отъ великорусскаго, малорусскаго, бълорусскаго, и при томъ языка не искусственнаго, мертваго, а «натуральнаго», живого. Общеруссы — это всё тё, для которыхъ онъ является «роднымъ» въ вышеуказанномъ смыслѣ. Возникъ онъ, какъ извъстно, изъ московскаго наръчія великорусскаго языка; но ставъ языкомъ государственнымъ, а также языкомъ интеллигенціи и литературы, онъ давно уже перешель за предълы московскаго нарвчія, воспринялъ массу чуждыхъ послъднему словъ и оборотовъ, получилъ высшее развитіе и сталъ однимъ изъ міровыхъ языковъ. Онъ продолжаетъ развиваться и совершенствоваться, онъ живетъ и при томъ—высшею жизнью, служа, помимо своей роли,—какъ способа общенія многочисленныхъ племенъ, населяющихъ Россію,—орудіемъ созданія творческой мысли, какъ общественной, такъ и научно-философской и художественной. Это—языкъ Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Бълинскаго, Добролюбова, Л. Н. Толстого и т. д.,—языкъ высокой поэвіи, великой литературы.

Необходимымъ условіемъ его жизнеспособности и его дальнейшаго развитія, какъ всегда въ этихъ случаяхъ, является сохраненіе тахъ родниковъ, изъ которыхъ образовался этотъ могучій потокъ, т. е. народныхъ языковъ (великорусскаго, малорусскаго, бълорусскаго съ ихъ наръчіями). Литературная обработка этихъ последнихъ, т. е. развитіе мъстныхъ, преимущественно народныхъ литературъ, имъя огромное просвътительное значеніе, въ то же время расчищаетъ «родники», не даетъ имъ засариваться или застаиваться и съ темъ вместе подводить прочный культурный фундаменть подъ зданіе общерусскаго языка и литературы, претендующихъ на міровое значеніе. Дальнъйшая же судьба того или другого народнаго языка, той или иной мъстной литературы — это вопросъ исторіи, грядущаго, которое предвидеть или предопределить намъ не дано.

Великій общерусскій поэтъ-художникъ, одинъ изъ основателей общерусской литературы. Гоголь, конечно, былъ общеруссъ на малорусской основа. Какую долю въ его національномъ складѣ и въ его творчествѣ слѣдуетъ отнести насчетъ этой основы, это—вопросъ

детальныхъ изследованій, которыя едва начаты ¹). Намъ приходится ограничиться указаніями на элементарные и общеизвестные факты.

Онъ любилъ малорусскую народность и не переставалъ чувствовать свое психологическое родство съ нею. Онъ любиль малорусскія песни, собираль ихъ, пель ихъ... Для этого, разумъется, нътъ надобности непремънно быть «настоящимъ малоросомъ», но, повидимому, въ душт Гоголя были особыя-національныя-«струны», которыя отзывались на эти «родные звуки» трепетиве и сочувствениве, чвмъ это могло бы быть у посторонняго любителя малорусской народности, поэзіи и старины. Онъ тонко и отзывчиво, какъ говорится, «нутромъ» понималь особенности малорусскаго національнаго склада, потому что эти особенности, или нѣкоторыя изъ нихъ, были у него самого. Сюда относится, между прочимъ, его несравненный юморъ, специфическималорусскій, и веселый, жизнерадостный сміхь, искрящійся въ его произведеніяхъ изъ малорусской жизни. Можеть быть, сюда же прійдется отнести и склонность къ «поэтической льни», къ художественно - созерцательной жизни... Другія черты Гоголя, которыя нередко также приписывають его малорусскому происхожденію, напримірь, ого «хитрость» и «неискренность», конечно, не образують особенности малорусской національности и принадлежали Гоголю лично, какъ человтку. Вообще черты нравственного порядка не входять въ составъ національныхъ формъ. Онв могуть быть принадлежностью извёстныхъ общественныхъ классовъ и профессій, но отнюдь не національности, какъ таковой, и совершенно ошибочно приписываются этой последней — въ силу привычки судить о ней по тому или другому классу,



⁴⁾ На первый планъ выдвигаются здѣсь наблюденія надъ языкомъ и слогомъ Гоголя, гдѣ много малорусизмовъ. Почтенное изслѣдованіе проф. Мандельштама («О характерѣ Гоголевскаго стиля». С. П. Б., 1902 г.) пролагаетъ путь этимъ наблюденіямъ. О немъ см. превосходную статью А. Г. Горифельда (въ «Русск. Бог.», 1902, I).

который почему-либо разсматривается какъ типичный представитель ея 1).

Національно - малорусскія черты въ умственномъ складѣ Гоголя въ извѣстной мѣрѣ оживлялись тѣмъ, что Гоголь хорошо владѣлъ малорусскимъ языкомъ, не забывалъ его, зачастую говорилъ на немъ—съ "земляками" (и другими, напр., съ Богд. Залѣсскимъ), могъ писать на немъ. Но спрашивается: могъ ли онъ творить на немъ? Вѣроятно, могъ бы — въ предѣлахъ малорусскихъ впечатлѣній и наблюденій на сюжеты "Вечеровъ", "Тараса Бульбы", пожалуй — "Ссоры Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ". Но въ высокой степени знаменательно то, что фактически онъ даже и не пробовалъ творить на малорусскомъ языкѣ, и что единственнымъ и необходимымъ орудіемъ его творчества былъ языкъ общерусскій.

Изученіе Гоголя какъ поэта и писателя, какъ одного изъ творцовъ русской (общерусской) литературы представляеть особливый интересь между прочимь для изученія психологіи самой общерусской національной формы. Дело въ томъ, что, несмотря на великорусское происхожденіе общерусскаго языка, общерусскую національную форму, какъ явленіе психологическое, нельзя считать разновидностью великорусской. Мы сказали выше, что національность человъка опредъляется языкомъ. Но это не значитъ, чтобы языкомъ исчерпывалась вся совокупность чертъ, образующихъ національную форму личности. Эта форма, какъ собраніе или, лучше, психологическій синтезъ извістныхъ чертъ духовнаго склада и особенностей ума, есть явленіе болье сложное и широкое; она содержить въ себъ много такого, что не принадлежить непосредственно къ психологіи языка Напр., въ національныхъ формахъ мы находимъ черты, ко-



¹⁾ Такъ, напримъръ, польской національности приписали пресловутый «гоноръ», черту чисто шляхетскую, а вовсе не польскую, ошибочно отождествляя «польское» (національное) со шляхетскимъ (классовымъ). Такихъ «ошибокъ»—масса.

торыми характеризуется высшее мышленіе, возвышающееся надъ языкомъ. Такъ, на англійской философіи лежить явственный отпечатокъ англійскаго національнаго генія; на нъмецкой-отпечатокъ специфически нъмецкихъ привычекъ и пріемовъ мысли, німецкаго "генія" и т. д.; связь съ языкомъ и его психологіей здісь не исчезаеть, но она-не прямая, а косвенная, болье отдаленная, болье сложная, чьмъ та, которан видна въ некоторыхъ другихъ проявленіяхъ или дъятельностяхъ національнаго сознанія, напр., въ поэзіи. Далье, національный складь сказывается въ практикъ жизни, въ народныхъ движеніяхъ, въ учрежденіяхъ, въ явленіяхъ общественнаго самосознанія, въ соціальномъ творчествъ. Національныя особенности, проявляющіяся въ этой области, конечно, не вытекають изъ психологіи языка, и последняя только участвуеть какъ одинъ изъ составныхъ элементовъ въ этой двятельности національнаго духа.

Общерусская національность образовалась (и продолжаетъ развиваться дальше) общими силами всъхъ русскихъ этнографическихъ разновидностей при довольно замътномъ участіи обрусвишихъ иностранцевъ и инородцевъ. Въ особенности значителенъ вкладъ малоросовъ, который, начавшись въ XVII-мъ въкъ, идетъ все увеличиваясь. Поистинъ поразительна та легкость и быстрота, съ которою уже въ XVIII-мъ въкъ, а еще болъе въ XIX-мъ малоросы переходили отъ своей національной формы къ общерусской. Это не значить, что они превращались въ великоросовъ: это значить, что они вивств съ великоросами, бълорусами и т. д. принимали дъятельное участіе въ образованіи и развитіи четвертой русской національности — общерусской, внося въ нее извъстный вкладъ изъ своего языка, а еще болье-изъ другихъ сторонъ своей основной національности. Въ этомъ смысль общерусскій національный складь на добрую долю долженъ быть признанъ "малорусскимъ", при языкъ великорусскаго происхожденія. Однимъ изъ самыхъ богатыхъ вкладовъ въ общерусскую національность со стороны малорусской быль Гоголь, или, лучше сказать, онъ быль типичнымъ и яркимъ представителемъ этого явленія, частнымъ случаемъ огромной важности въ этомъ историческомъ процессъ — образованія общерусской національности при особливо дъятельномъ участіи малорусской.

Въ этомъ "стихійно-историческомъ" процессъ наблюдается между прочимъ одно любопытное въ теоретическомъ отношеніи явленіе, которое можно назвать "раздвоеніемъ національной личности" человівка. Гоголя мы причислили къ общерусамъ, но у многихъ другихъ мы найдемъ совивщеніе, параллелизмъ двухъ національныхъ формъ-общерусской и малорусской то при равновъсіи объихъ, то съ преобладаніемъ одной надъ другою. Сюда относятся, напр.: Квитка, у котораго малорусская форма преобладала надъ общерусскою; Гребенка, у котораго, повидимому, было наобороть; наконець, даже самъ Шевченко, сохранившій благодаря происхожденію изъ народа малорусскую форму въ особливой чистотъ и ставшій первостепеннымъ національнымъ поэтомъ; однако при всемъ томъ въ немъ была и общерусская національная форма (характерно, что свой изв'єстный "Дневникъ" онъ писалъ на общерусскомъ языкъ).

Что касается Гоголя, то въ немъ мы (вопреки взгляду глубокоуважаемой А. Я. Ефименко, изложенному въ ея талантливой стать о Гоголь, "Въстн. Евр.", іюль 1902 г. не видимъ совмъщенія или параллелизма двухъ національныхъ личностей, и вст его "малорусскія симпатіи" объясняемъ не сохраненіемъ въ немъ малорусской національности, а только его малорусскимъ происхожденіемъ, малорусскою основою его общерусской національности. Къ тому же подобнаго рода симпатіи неръдко наблюдаются и у другихъ, о малорусской національности которыхъ не можетъ быть и ръчи, но у которыхъ либо есть доля "хохлацкой крови", либо еще въ дътствъ залегли живыя впечатлънія края, его природы, культурной обстановки, нравовъ жителей, звуковъ ихъ ръчи, мелодій ихъ пъсенъ. Этого рода

симпатіи "ко всему малорусскому" мы находимъ, напр., у А. О. Смирновой, у гр. Ал. К. Толстого, а также и у лицъ, совершенно "постороннихъ", которымъ просто полюбилась малорусская національная складка, какъ Гоголю полюбилась итальянская. И. С. Тургеневъ, слегка "подтрунивая" надъ "хохлами", всегда однако относился къ нимъ съ большой симпатіей (Михалевичъ въ "Дворянскомъ Гнёздѣ", воспоминанія о Шевченкѣ, переводъ малорусскихъ очерковъ Марка Вовчка, личныя признанія въ этомъ смыслѣ, напр., въ бесѣдѣ съ Драгомановымъ).

Малорусскія симпатіи Гоголя, разумѣется, не были симпатіями "посторонняго", ибо онъ былъ "по крови" настоящій хохолъ, но и не были выраженіемъ живой національной формы, — иначе онъ, при его поэтическомъ геніи, не могъ бы воздержаться отт творчества на малорусскомъ языкъ. По всему видно, что у него совсѣмъ не было внутренняго побужденія творить на этомъ языкъ. Пусть "Ревизора" и "Мертвыя Души" не было и смысла писать по-малорусски, но великій поэтъ, если бы онъ былъ настоящій малоросъ по національности, по языку, съ психологическою необходимостью долженъ былъ бы написать "Вечера на хуторъ" прежде всего на своемъ родномъ языкъ.

Въ заключение вспомнимъ здѣсь извѣстное суждение самого Гоголя о своей паціональности и объ отношеніяхъ между двумя важнѣйшими русскими народностями. Въ огромномъ письмѣ къ Смирновой отъ 24 дек. 1844 г. находимъ между прочимъ слѣдующее:

"Скажу вамъ одно слово насчетъ того, какая у меня душа, хохлацкая или русская, потому что это, какъ я вижу изъ письма вашего, служило одно время предметомъ вашихъ разсужденій и споровъ съ другими. На это вамъ скажу, что я самъ не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская 1).



¹⁾ Это очень характерно, именно для общерусса, такъ же какъ и слъдующее: "Я... соединилъ въ себъ двъ природы: хохлика и русскаго..."

Знаю только то, что никакъ бы не далъ преимущества ни малороссіянину передъ русскимъ, ни русскому передъ малороссіяниномъ. Обѣ природы слишкомъ щедро одарены Богомъ и какъ нарочно каждая изъ нихъ порознь заключаетъ въ себѣ то, чего нѣтъ въ другой: явный знакъ, что онѣ должны пополнить одна другую. Для этого самыя исторіи ихъ прошедшаго быта даны имъ не похожія одна на другую, дабы порознь воспитались различныя силы ихъ характеровъ, чтобы потомъ, слившись воедино, составить собою нѣчто совершеннѣйшее въ человѣчествѣ"...

Это мъсто требуетъ нъкоторыхъ поясненій. Прежде всего, что понималь Гоголь подъ терминомъ "русскій"? Такъ какъ это слово противопоставлено слову "хохлацкій", то, на первый взглядь, подъ нимъ следуетъ понимать "великорусскій". Ибо въ противномъ случав выходило бы, что "хохлы" (малороссы)---не русскіе, т.-е. не принадлежать къ русской вътви славянского племени, чего Гоголь, конечно, не думалъ. Но если выражение "русская душа" означаеть у него принадлежность къ великорусской національности, то получается другое недоразумение: не могъ же въ самомъ дёлё Гоголь сомнёваться въ томъ, что онъ не великорусъ. Очевидно, терминъ "русскій" употребленъ здісь въ томъ значеніи, въ какомъ мы брали выше терминъ "общерусъ". Поставимъ этотъ последній на место перваго-и все неясности устранятся. Гоголь, действительно, могь колебаться въ опредълении своей "національной души", ибо онъ, съ одной стороны, ясно сознаваль ея общерусскій укладь, а съ другой-столь же ясно ощущаль ея малорусскую основу. Далве, ихъ гармонія, дополненіе одной "души" другою, о которомъ онъ говорить, фактически осуществляется именно и только въ предвлахъ общерусской національной формы, гдв малорусская основа (у общерусовъ малорусскаго происхожденія) сливается съ тімь, что вносится другими элементами этой формы, въ особенности великорусскими. Но, говоря объ этомъ, Гоголь, очевидно, беретъ терминъ "русскій" уже, въ смыслѣ "великорусскій" (двѣ разныя "исторіи", которыя "даны" двумъ русскимъ племенамъ, и пр.),-и происходить обычная въ подобныхъ случаяхъ путаница понятій, приводящая между прочимъ къ странному утвержденію, что "объ души", "слившись воедино, составять собою нъчто совершеннъйшее въ человъчествъ". Суть дъла въ томъ, что силою психологического синтеза національныхъ чертъ образовалась особая -- общерусская -- національная форма, существованіе и дальнъйшее развитіе которой вовсе не предподагаеть фактическаго "сліянія" данныхъ національностей, т.-е. прекращенія этническаго бытія великорусовъ, съ одной стороны, малорусовъ-съ другой. Это превращение означало бы, что изсякли "родники", и привело бы къ оскудънію самой общерусской "души", черпающей свои силы изъ тъхъ родниковъ. Если они изсякнутъ, то ужъ навърно "общерусская душа" не будетъ "нвчто совершеннвищее въ человъчествъ". Разумъется, не станетъ она такимъ совершенствомъ и при ихъ сохраненіи ("гдѣ ужъ! что ужъ!"), но во всякомъ случав явится достаточно жизнеспособнымъ національнымъ укладомъ, призваннымъ къ самобытному творчеству, какъ въ высшихъ сферахъ мысли (въ наукъ, философіи искусстві, такъ и въ юдоли общественно-государственныхъ отношеній, въ средъ соціальной.

Приведенное мъсто очень характерно для Гоголя, именно какъ общеруса, при чемъ даже неустойчивость терминологіи ("русскій" то въ смысль "великорусскій", то въ смысль "общерусскій"), а равно и ложное пониманіе синтеза національныхъ чертъ, какъ фактическаго сліянія народностей, являются ошибками и иллюзіями, свойственными по преимуществу общерусамъ.

Все сказанное нами въ этой главъ о настоящей національности Гоголя служитъ необходимымъ дополненіемъ къ тому, что выше (въ гл. II-ой и III-ей) мы говорили о національномъ—общерусскомъ—призваніи Гоголя, о таковомъ же характеръ типовъ "Ревизора" и "Мертвыхъ душъ", о

ведикомъ національномъ значеніи великой комедіи и геніальной поэмы, потомъ (въ гл. III-ей)—о созерцаніи Руси изъ прекраснаго далека, о психологіи этого созерцанія, наконецъ (въ гл. IV-й)—о роли великаго "хохла", созерцателя Руси, какъ перваго начинателя у насъ моральной проповѣди, художественной и нехудожественной.

"Хохолъ" былъ геній общерусскій. Онъ созерцаль Русь изъ прекраснаго далека какъ общерусъ, и дъло моральной проповъди на Руси было предпринято имъ какъ общерусомъ.

ГЛАВА VI.

Заключеніе: къ вопросу о геніальности Гоголя.

I.

Заканчивая этотъ опытъ психологическаго изученія на туры и творчества Гоголя, постараемся въ заключеніе уяснить себъ хотя бы нъкоторыя стороны психологіи его геніальности.

Насъ интересуетъ здѣсь вопросъ о томъ, какъ отражалась геніальность Гоголя на общемъ строю его душевной жизни, какъ проявлялась она въ никоторыхъ, наиболие характерныхъ для него, особенностяхъ его творчества.

Нельзя сомнъваться въ томъ, что такъ называемая "геніальность" является въ душь человъческой "осложняющимъ обстоятельствомъ" высокой важности: она могущественно вліяеть на всю психику человъка. Если возьмемъ двъ натуры приблизительно одинаковыя, то при геніальности одной изъ нихъ получатся двъ весьма различныя картины душевной жизни. Но, конечно, при современномъ состояніи психологіи, еще нельзя съ точностью опредълить, въ чемъ состоятъ и къ чему сводятся эти воздъйствія геніальности человъка на всю его психику. Впрочемъ, нъкоторыя общія и предварительныя соображенія представляются мнъ возможными.

Но прежде, чъмъ выставить ихъ, необходимо разобраться въ самомъ понятіи "геніальности".

Нельзя сказать, чтобы это понятіе было достаточно прочно установлено: въ противномъ случав намъ незачвмъ было бы "разбираться" въ немъ. Если оно не вполнъ установлено, это значить, что само психологическое явленіе геніальности недостаточно лизучено. Но при всемъ томъ оно достаточно извъстно, ибо оно такъ заметно, такъ ярко и выступаеть съ такою очевидностью, съ такою, выражаясь грубо, "осязательностью", что не могло остаться не отмъченнымъ. Не имъя въ своемъ распоряжения научно выработаннаго понятія геніальности, мы однако легко распознаемъ ее, называя геніями, напр., Ньютона, Рафаэля, Канта, Гете. Бетховена, Гейне, Пушкина, Мицкевича, Лобачевскаго и т. д., и т. д. Иначе говоря, мы имъемъ эмпирическое понятіе геніальности, которое оказывается въ общемъ достаточно правильнымъ и удобопримѣнимымъ 1).—Какъ извѣстно, это понятіе геніальности обосновано на двухъ главныхъ привнакахъ: на творчествт и оригинальности. Нетрудно дать признакамъ болве обстоятельное психологическое истолкованіе. Во-первыхъ, очевидно, геніальность есть явленіе мысли, а не чувства и воли, и когда говорять: "геній чувства", "геній дійствія" (напр., посліднее—о реформаторахъ, о великихъ людяхъ въ политикъ и т. д.), то это только "фигуральное выраженіе": въ этихъ случаяхъ геніальность, какъ таковая, принадлежитъ уму, но этотъ геніальный умъ въ силу особенностей натуры человъка проявляетъ свою творческую дъятельность въ сферъ чувствъ или въ практикъ жизни. Сами по себъ чувство или воля не могутъ



¹⁾ Можно, конечно, ошибиться, назвавъ такого-то геніемъ или, наоборотъ, отказывая ему въ этомъ названіи; можно спорить, были ли напр. Гельмгольцъ, или Вирховъ, или Пастеръ геніи, или только отличные работники въ своей области. Но это значило бы только, что характерные признаки геніальности у этихъ лицъ выражены не такъ ярко, чтобы быть безспорными.

быть геніальны или не геніальны, какъ не могуть быть талантливы или не талантливы.-- Далве, геніальность какъ особый строй ума характеризуется силою обобщенія (въ обширномъ смыслъ, какъ научномъ и философскомъ, такъ и художественномъ, а равно и "прикладномъ") 1). Всъ геніи, какихъ только мы знаемъ, были въ области отвлеченной мысли создателями великихъ научныхъ и философскихъ обобщеній, въ области художественной-создателями широкихъ типовъ, объединяющихъ образовъ, въ лирикъ и музыкътворцами той высшей "гармоніи", которая въ сферф чувствъ является коррелятомъ объединяющей мысли, въ прикладной и въ практической дъятельности-творцами частнаго, въ которомъ осуществлялось или оправдывалось общее. — Но въдь даръ обобщенія--- это вообще свойство мысли человъческой, и всв мы обобщаемъ: въ такомъ случав, гдв же разница между геніемъ и не геніемъ? Очевидно, разница въ томъ, что, въ то время какъ мы обобщаемъ шаблонно, польвуясь давно добытыми и ходячими формулами, -- геніи создають новыя обобщенія или совершенствують старыя. Умізніе усмотръть вопросъ тамъ, гдъ другіе его не видятъ, или уминіе искать новыхъ отвётовъ на старые вопросы-это характерная, быющая въ глаза особенность геніевъ, которую можно назвать "творческою пытливостью ума". Не будеть парадоксомъ сказать, что геніальность есть особый видъ задумчивости. Для генія не столько существенно и характерно нахожденіе положительныхъ отвътовъ на новые или старые вопросы, сколько "даръ задумчивости", уманіе ста-



²) Геніальность въ сферѣ прикладной (т.-е. геніальность изобрѣтателя, какъ Эдиссонъ, полководца какъ Ганнибалъ и Наполеонъ I, политическаго дѣятеля, какъ Петръ Великій или Бисмаркъ), очевидно, сводится къ дару нахожденія, созданія, уловленія частнаго случая для приложенія или осуществленія общей идеи (научнаго закона, принципа, правила, идеала и т. д.). Здѣсь творчество направлено не на общее, а на частное, на конкретную дѣйствительность, но оно исходитъ изъ общаго, оно орудуеть имъ.

вить вопросы и задумываться надъ ними. "Ответы" (напр., положительныя открытія въ наукі, и при томъ "отвіты" высокой важности, огромнаго значенія, неръдко получаются умами далеко не геніальными, а только обладающими достаточной подготовкой и работоспособностью въ данной области. Въ точныхъ наукахъ путемъ долговременныхъ, методическихъ и кропотливыхъ изысканій зачастую достигаются блестящіе результаты, дёлаются великія открытія, какихъ не сдълаетъ никакой геній. Если бы наука была монополіей геніевъ, она не далеко ушла бы, и не только потому, что геніевъ-сравнительно мало, а еще болье потому, что научная дъятельность во всъхъ областяхъ изобилуетъ задачами такого рода, что геній оказывается мало приспособленнымъ къ ихъ решенію, задачами, для которыхъ нужны коллективныя усилія многихъ, а также и спеціальные таланты, вовсе не предполагающіе геніальности или даже несовитстимые съ нею. Геній всегда "широкъ", а въ наукъ есть немало такой работы, для удовлетворительнаго исполненія которой нужно быть "узкимъ".--Нетрудно видъть, что то же самое съ полнымъ правомъ можетъ быть сказано и объ искусствъ: оно не имъло бы должнаго развитія, распространенія и вліянія, если бы было монополіей геніевъ. И въ немъ есть много задачь и вопросовъ, для которыхъ требуется не геніальность съ ея широтою, а спеціальные таланты съ ихъ узостью. Искусство основывается на многообразіи и обиліи наблюденій надъ природой человічноской и всегда тісно связано съ текущими потребностями и запросами культурнаго развитія. Колоссальный складъ "человъческихъ документовъ", данный въ искусствъ, могь быть накопленъ только коллективными усиліями различныхъ художественныхъ дарованій, спеціализировавшихся каждое въ своей области и по необходимости болъе или менъе узкихъ и ограниченныхъ.

Эти соображенія приводять насъ къ вопросу о принципіальномъ различіи между геніемъ и талантомъ.

Было бы ошибкою думать, что геніальность-это только

высшая степень талантливости. Какъ есть люди, одаренные огромными талантами, но безъ всякихъ признаковъ геніальности, такъ, наоборотъ, легко можно представить себъ геніальнаго человіка, не наділеннаго никакимъ талантомъ.-Талантъ-это нъчто спеціальное: нельзя быть вообще талантливымъ, а можно только имъть опредъленный талантъ въ данной области, причемъ, какъ извъстно, таланты всегда узко спеціализируются. Напр., въ искусствъ мы различаемъ. съ одной стороны, таланты поэтическіе, съ другой-живописные, съ третьей-скульптурные, съ четвертой-музыкальные и т. д.; въ каждой изъ этихъ вътвей искусства, въ свою очередь, спеціализація дарованія идеть дальше: различается таланть лирика отъ таланта драматурга, таланть пейзажиста-отъ таланта жанриста и т. д., и т. д. Такъ же и въ наукъ: есть дарованія спеціально математическія, есть дарованія экспериментатора, наблюдателя-зоолога, наблюдателя-соціолога, есть особая одаренность въ лингвистикъ и особая-въ другихъ отдълахъ филологіи и т. д. Изъ этого, конечно, не следуеть, чтобы человекь не могь иметь двухъ, трехъ и болье талантовъ, даже въ весьма различныхъ областихъ. Но это будетъ не талантливость вообще, а совмъщеніе двухъ или болье спеціальныхъ талантовъ.

Весьма нер'ядко (можеть быть, пожалуй, и въ большинств случаевъ) геніи оказываются обладателями тіхъ или другихъ спеціальныхъ талантовъ; но въ этомъ совміщеніи мы не видимъ признаковъ внутренней психологической необходимости. И, повидимому, сама психологія ума, одареннаго тімъ или другимъ талантомъ, по существу отлична отъ психологіи геніальности.—Талантъ и геній—это дві весьма различныя, какъ психическія, такъ и психо-физическія организаціи.

Наконецъ, упомянемъ и о томъ, что таланты—наслъдственны или могутъ быть таковыми, между тъмъ какъ геній, сколько извъстно, не передается наслъдственнымъ путемъ.

Человъкъ, одаренный извъстнымъ талантомъ (скажемъ,

художникъ-пейзажистъ), но не обладающій геніальностью, тімъ не меніе можетъ проявить въ своей діятельности ті самыя черты, которыми обычно характеризуется геніальность, именно—творчество и оригинальность. Геніевъ—мало, талантовъ—много, и между послідними достаточно извістны во всевозможных областяхъ такіе, которымъ никто не откажетъ въ оригинальности и творчестві. Оригинально творять не одни геніи—на этомъ нітъ надобности настаивать.

Но если таланты—одно, а геніи—другое, то въ чемъ разница между оригинальностью и творчествомъ первыхъ и оригинальностью и творчествомъ вторыхъ?

Первое, что бросается здёсь въ глаза, -- это следующее. Творчество человъка, одареннаго извъстнымъ талантомъ (но безъ геніальности), такъ сказать, адэкватно его таланту: оно объясняется и, если можно такъ выразиться, "исчерпывается" или, лучше, измъряется этимъ талантомъ. Напротивъ, творчество генія, обладающаго извъстнымъ талантомъ, далеко не соизмъримо съ этимъ послъднимъ и не можетъ быть объяснено имъ однимъ. Такъ, напр., математическое дарованіе Лобачевскаго едва ли было значительное, скажемъ, соотвътственнаго дарованія другихъ математиковъ его времени, хотя бы Остроградскаго, а между темъ никто изъ нихъ не сдълаль того, что сдълаль Лобачевскій. Пусть даже его дарованіе будеть признано особливо великимъ: все-таки имъ однимъ нельзя объяснить возникновенія въ умі этого человъка геніальной идеи. Не своимъ математическимъ талантомъ, а своимъ геніальнымъ умомъ, геніальною вдумчивостью ума позналь Лобачевскій возможность новаго вопроса тамъ, гдъ для другихъ, не менъе одаренныхъ и сильныхъ математиковъ, никакого вопроса не существовало. Дарованія Дарвина какъ наблюдателя, при всей своей значительности, отнюдь не представляли собою чего-то небывалаго: были зоологи и ботаники съ неменьшимъ талантомъ наблюденія. И для того, чтобы обосновать идею измѣняемости видовъ, неоднократно выставлявшуюся и раньше, на новыхъ понятіяхъ борьбы за существованіе, подбора и наслѣдственности, обставленныхъ новыми, оригинальными наблюденіями,—очевидно, надо было имѣть еще нѣчто другое, иную творческую силу мысли, особый даръ вдумчивости и проникновенія въприроду данныхъ явленій.

Этотъ характерный признакъ генія, который мы стараемся уловить и описать при помощи выраженій "даръзадумчивости", "вдумчивость", "проникновеніе", обыкновенно обозначается извъстнымъ терминомъ "интуциія".

Желательно было бы пойти нѣсколько дальше термина и указать хотя бы предположительно на тѣ процессы мысли, которые образують психологическую суть "интуиціи".

Повидимому, дёло сводится здёсь къ особому укладу безсознательной сферы и ея отношеній къ сознанію. Безсознательная сфера ума, надо думать, у генія отличается не только особымъ богатствомъ идей, но и особою работоспособностью, интенсивною дёятельностью, направленною на созданіе общихъ идей, на выработку объединяющихъ категорій мысли (у философовъ—общихъ философскихъ принциповъ, у ученыхъ—научныхъ обобщеній, у художниковъ—образовъ и т. д.). Засимъ, очевидно эта сфера обладаетъ у нихъ необыкновенною чуткостью или воспріимчивостью, такъ что достаточно мимолетнаго впечатлѣнія, случайнаго наблюденія, бъглой мысли, промелькнувшей въ сознаніи, чтобы возбудить живую работу въ глубинъ безсознательнаго.

Наконецъ, общеніе или взаимодъй ствіе двухъ сферъ такъ организовано, что безсознательное даетъ сознанію преимущественно общія идеи, категоріи, формы мысли, которыя всегда, такъ сказать, наготовъ, всегда къ услугамъ сознанія, и потому то, что воспринимается этимъ послъднимъ изъ внъшняго міра, изъ той среды, на которую направлена его дъятельность, сейчасъ же получаетъ свое истолкованіе, свое обобщеніе и освъщеніе въ этихъ формахъ мысли. Такъ, у философа всегда бодрствуютъ широкія, мірообъемлющія точки зрънія, у ученаго — научныя идеи, у художника — образы-

Это "бодрствованіе" объединяющих формь мысли и есть то, что принято называть интуціей генія. Но не слѣдуеть упускать изъ виду того, что сами эти формы мысли образують нѣчто не только высшее, но и новое: онѣ—отнюдь не элементарны, не составляють общаго достоянія. Этоть процессь можеть быть разсматриваемь какъ гомологь аналогичнаго процесса, совершающагося у всѣхъ насъ, когда мы говоримъ и мыслимъ. У всѣхъ насъ вѣчно бодрствующими категоріями мысли являются основныя формы мышленія и формы рѣчи. Геніальность есть повтореніе того же процесса въ области высшаго мышленія, причемъ сами "категоріи" этого высшаго мышленія являются продуктами оригинальной дѣятельности безсознательной сферы ума.

Излишне указывать на то, что этой интуиціей работа мысли генія не ограничивается.

Интуиція даеть только исходную точку работы; настоящая же работа мысли совершается сознательно, разумвется, при дальнъйшемъ участіи безсознательной сферы. Точки зрѣнія, идеи, образы и пр., посылаемые этою последнею, фиксируются въ сознаніи, которое подвергаетъ ихъ дальнвишей переработкъ. Идея философа въ томъ видъ, какъ она вышла изъ глубины безсознательнаго, есть, если можно такъ выразиться, сырой продукть, который подлежить сознательному обдумыванію, критикъ, логическому обоснованію, провъркъ данными опыта, вившняго и внутренняго. Обобщающая идея ученаго должна быть доказана или согласована съ фактами, она должна быть утилизирована въ процессъ сознательной методической работы изследованія. Образь художника требуеть дальнейшей разработки, основанной на сознательныхъ наблюденіяхъ и размышленіяхъ. Вотъ именно во всёхъ этихъ деятельностяхъ сознанія и вступаеть въ свои права то, что называется талантомъ. Философу, чтобы не остаться при однъхъ интуиціяхъ, нужно им'ть, кром'т знаній, еще спеціально-философскій таланть, который и скажется такь или иначе въ сознательной работв его мысли. Ученый проявить свой спеціальный таланть въ той работь наблюдателя, экспериментатора, систематизатора, аналитика и т. д., которая обусловливается самой природой изучаемыхъ явленій. Художникъ долженъ, кромь интуитивныхъ идей-образовъ, имъть спеціальный художественный талантъ, необходимый, во-первыхъ, для разработки самихъ образовъ, а во-вторыхъ, для ихъ выраженія средствами того или другого искусства (словомъ, красками, лъпкой и т. д.).

Повидимому, эта сознательная работа, основанная на соотвётственномъ талантё, при нормальныхъ условіяхъ, при успёшномъ ходё ея, представляетъ собою количественно и качественно, величину пропорціональную работё интуитивной, т. е. тому, что совершалось въ сферё безсознательной. Чёмъ шире, глубже, значительнёе интуиція, тёмъ продолжительнёе, упорнёе, методичнёе должна быть соотвётствующая ей работа сознанія. Чёмъ выше геній, тёмъ больше онъ трудится. Огромная ученая работа Дарвина прямо пропорціональна значенію и достоинству его интуицій. Кажется, это положеніе можетъ быть провёрено и оправдано фактами изъ жизни и дёятельности геніевъ на всёхъ поприщахъ творчества.

II.

Послѣ этихъ предварительныхъ разъясненій и соображеній, мы можемъ прійти къ нѣкоторымъ заключеніямъ по занимающему насъ вопросу о вліяніи геніальности на всю психику человѣка.

Геніальность, какъ мы ее понимаемъ, не можетъ не играть видной роли на сценъ душевной жизни человъка, а въ особенности—за ея кулисами. Она—сила, и по необходимости такъ или иначе сказывается и дъйствуетъ.

И прежде всего сказывается она тѣмъ, что, въ извѣстномъ смыслѣ, раздваиваетъ личность человѣка. Послѣдній

невольно чувствуеть, что онь какъ геній — одно, а какъ человъкъ жизни и будней-уже другое. Интуиція геніяне ко двору среди текущихъ заботъ, тревогъ и злобъ дня, среди "дрязга" жизни, какъ выражался Гоголь, и зачастую въ этой средв положение генія оказывается ложнымъ и неудобнымъ. Генію трудно быть хорошимъ обывателемъ, потому что онъ во власти своихъ интуицій, которыя уносять его далеко въ сторону отъ окружающей среды, хотя бы она и была главнымъ объектомъ его думъ и его творчества. Онъ видить жизнь сквовь призму своихъ идей,и это очень хорошо для созданія "философіи" жизни, но очень скверно-для непосредственнаго, активнаго или пассивнаго участія въ ней. Оттуда — особое общественное самочувствіе генія, очевидно, не такое, како у насо. Мы въ нашей соціальной стихіи — какъ рыба въ водь, они въ ней-чужіе. Помимо всякихъ стремленій къ протесту, къ реформъ и т. д., геній по самой сути своей въ извъстной мъръ и въ нъкоторомъ смыслъ есть существо "антиобщественное": онъ-слишкомъ личность, чтобы уживаться въ человъческомъ стадъ, и слишкомъ принадлежитъ человъчеству, чтобы всецьло отдаться опредвленному цьлому, ограниченному во времени и пространствъ. Фактически геніи, разумъется, уживаются въ своей средъ, но почти всегда такъ, что живутъ уединенно, своей работой, своими интересами, своими думами, ---чуждые, если не всему, то многому, что творится въ этой средв, чвмъ "живы" окружающіе ихъ люди, что ихъ заботить и волнуетъ... Далеко не всегда геніи отдають себв отчеть въ этомь: часто они сами этого не замѣчаютъ, и имъ кажется, будто они тоже участвують въ общей жизни. Иные симулирують это участіе. Другіе стараются войти въ интересы общества или извъстной части его. Но, я думаю, едва ли найдется геній, который бы хоть разъ въ жизни не почувствовалъ фатальнаго, психически-необходимаго разлада съ общественной средой, — своей отчужденности отъ нея. Оттуда, между прочимъ, — предрасположенность генія къ пессимизму разныхъ степеней и оттънковъ, которому вовсе не обязательно непремънно быть философскимъ и систематизированнымъ. Онъ можетъ даже не сознаваться какъ таковой, онъ можетъ быть заслоненъ иною доктриною, но рано или поздно такъ или иначе онъ скажется, какъ, напр., сказался онъ у жизнерадостнаго Пушкина въ стихахъ:

Въ степи мірской, печальной и безбрежной, Таинственно пробились три ключа: Ключъ юности, ключъ быстрый и мятежный, Бъжитъ, кипитъ, сверкая и журча; Кастальскій ключъ волною вдохновенья Въ степи мірской изгнанниковъ поитъ; Послъдній ключъ—холодный ключъ забвенья,— Онъ слаще всёхъ жаръ сердца утолитъ...

Геній даже при наилучшихъ личныхъ обстоятельствахъ чувствуетъ "тяготу бытія", именно "тяготу соціальнаго бытія", въ большей мъръ, чъмъ другіе люди, даже чъмъ тъ, которые по призванію являются критиками общественнаго строя, "отрицателями", реформаторами.

Будучи "слишкомъ личностью" и очень плохимъ "соціальнымъ животнымъ" и потому такъ или иначе чувствуя "тяготу соціальнаго бытія", геній, тѣмъ не менѣе (и даже тѣ изъ нихъ, которые одержимы настоящимъ пессимизмомъ) живо чувствуетъ радость бытія вообще и является однимъ изъ самыхъ жизнерадостныхъ существъ.

Это противоръчіе, въ значительной мъръ только кажущееся, вытекаетъ изъ самой психологіи геніальности и вносить новыя осложненія въ душевный міръ геніальнаго человъка.

Чтобы это понять, нужно сдёлать одно добавленіе къ тому, что выше было сказано о психологическомъ укладё генія.

Въ ряду идей, служащихъ необходимыми формами на-

тего мышленія, есть одна такая, которой мы въ нашемъ обыденномъ, житейскомъ мышленіи чуждаемся, даже боимся, и она остается у насъ скрытой, лишь изръдка проникая въ сознаніе: это идея безконечнаго. Безъ нея мы не можемъ въ сущности мыслить ни пространства, ни времени. Безъ нея невозможна математика, даже элементарная. Безъ нея (въ формъ тезиса въчности матеріи и силы) невозможенъ простъйшій физическій или химическій опыть. Можно было бы раскрыть ея огромную психологическую важность въ искусствъ. Такъ воть именно эта идея, прячущаяся и ускользающая у насъ, всегда бодрствуетъ у геніевъ, и ихъ интуиціи всегда такъ или иначе, прямо или косвенно сопряжены съ нею. Геній мыслить при особливо дъятельномъ участіи категоріи безконечнаго, "sub specie aeternitatis". Излишне пояснять, насколько этотъ типъ мышленія не подходить къ требованіямъ, въяніямъ, духу общественности и повседневности, гдъ все — преходяще и условно, гдв нужно жить настоящимъ, котораго, съ точки зрвнія вічности, собственно говоря, не существуеть и которое есть одна изъ иллюзій обыденнаго мышленія 1).

Идея безконечнаго и является для генія источникомъ особой "радости существованія".

Намъ трудно понять этотъ укладъ сознанія, озареннаго идеей безконечнаго, и этотъ общій строй души, въ которой бодрствуетъ особое чувство, намъ едва доступное, — чувство безконечнаго. Но непроходимой пропасти между ними и нами все-таки нѣтъ: они тоже—люди. а въ нашемъ распоряженіи—ихъ творенія, по которымъ мы всетаки имѣемъ нѣкоторую возможность представить себѣ хотя бы приблизительно самочувствіе и самосознаніе человѣка, мыслящаго и чувствующаго безконечное. Ихъ душа



⁴⁾ Настоящее—это неуловимая, всегда уходящая, моментальная грань между прошедшим и будущим. Оно существуеть только въ языкъ, образуя одну изъ формъ грамматическаго мышленія.

согръта особою радостью существованія, открывающеюся ихъ совнанію подъ видомъ радости творчества. И ею не то уравновъшивается, не то странно осложняется психологическій пессимизмъ генія. Эту смѣсь радости и скорби мы найдемъ и у Спииозы, и у Канта, и у Шопенгауэра, и у Ренана, какъ съ другой стороны найдемъ ее у геніевъ искусства. Я думаю, и геніи спеціальной науки—Дарвины, Лапласы, Галилеи, Ньютоны—не составляютъ исключенія ивъ этого правила, но они слишкомъ заняты своими изысканіями, и имъ некогда предаваться этимъ чувствамъ, и выражать ихъ.

При огромномъ разнообразіи натуръ, характеровъ, темпераментовъ, воспитанія, привычекъ и т. д. общій всёмъ геніямъ укладъ духа разнообразится и видоизмёняется въ различныхъ направленіяхъ. Особенности ума и разные виды дарованія также должны оказывать свое вліяніе на постановку въ душё идеи и чувства безконечнаго, на то, какъ психика реагируетъ на нихъ.

Теперь мы можемъ вернуться къ Гоголю.

III.

Изучать психологію генія намъ, простымъ смертнымъ, легче и удобнѣе по художникамъ, чѣмъ по философамъ и ученымъ: художники какъ-то ближе къ намъ, понятнѣе намъ, да и творчество ихъ обращено на насъ же и ограничивается человтическимъ. Если мы изучили и поняли творенія великаго поэта, то намъ уже не такъ трудно отчасти разобраться и въ его душѣ, дешифрировать нѣкоторые изъ ея гіероглифовъ.

Натура Гоголя, сама по себъ загадочная, исполненная противоръчій и странностей, была осложнена еще безспорною геніальностью, которую нужно отличать отъ его огромнаго художественнаго таланта. До сихъ поръ, изучая умъ, на-

туру, вообще душевный укладъ Гоголя, мы значительно упрощали задачу тъмъ, что разсматривали его такъ, какъ будто бы онъ не былъ геній. Мы только принимали въ соображеніе его художественный талантъ. Но мы уже согласились, что таланть—это одно, а геній—это другое. И вотъ именно у Гоголя независимо отъ таланта ясно различаются характерные признаки геніальности: исключительная оригинальность въ творчествъ, "даръ задумчивости", изумительная художественная интуиція, глубокое проникновеніе во все то, на что были направлены его созерцанія, наконецъ, столь характерная для генія смъсь скорби и мизантропіи съ радостью бытія и творчества.

Онъ отнюдь не быль только высоко даровитымъ художникомъ, который умѣетъ смотрѣть и видѣть, схватывать и рисовать. Онъ умѣль это дѣлать, но еще больше умѣль онъ вдумываться въ жизнь человѣческую, болѣть ею, претворять ее въ выстраданный внутренній опытъ, въ смѣхъ и слезы художника, въ созерцанія и скорбь мыслителя. И много было въ немъ той "глубины душевной", безъ которой нельзя "озарить картину, взятую изъ презрѣнной жизни, и возвести ее въ перлъ созданія". Съ однимъ талантомъ своимъ, какъ бы онъ ни былъ великъ, онъ не могъ бы "вызвать наружу все, что ежеминутно предъ очами и чего не зрятъ равнодушныя очи,—всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повседневныхъ характеровъ, которыми кишитъ наша земная, подчасъ горькая и скучная дорога"...

"Тина мелочей, опутавшихъ нашу жизнь", "раздробленіе характеровъ", пошлое въ повседневности, "дрязгъ жизни" — вотъ на что были по преимуществу направлены художественныя созерцанія Гоголя, надъ чёмъ чаще всего онъ задумывался и скорбёлъ и что наполняло его душу чувствами мизантропіи, тяготы существованія въ обществъ, среди людей. Оттуда у него періодически повторявшееся стихійное стремленіе бёжать отъ общества, глубокая потребность уедине-

нія, влеченіе къ своеобразному "отшельничеству". То, что выше мы назвали "антиобщественнымъ" настроеніемъ въ психикъ генія, проявлялось у Гоголя съ особливою силою и яркостью, почти съ властью инстинкта. И оно обнаруживалось темъ определительнее, что Гоголь, какъ мы старались показать это въ главъ III-ей, былъ по натуръ своей человъкъ съ особливо-сильно выраженнымъ стремленіемъ къ осуществленію своей общественной стоимости. Однимъ изъ главныхъ препятствій къ ея осуществленію и являлась, помимо всего прочаго, его геніальность, или, точнье, ть особенности геніальнаго уклада личности, которыя мішають человіку быть "хорошимъ обывателемъ", быть надлежащимъ двятелемъ жизни, сформироваться въ величину общественную, имѣющую свое опредъленное мъсто и значеніе въ соціальной средъ. У нъкоторыхъ другихъ (напр., у Байрона) этотъ стихійный, чисто-психологическій разладь между геніемь и соціальною средой заслоняется или преобразуется дійствіемъ положительныхъ идей, идеаловъ, общественныхъ или политическихъ ученій и т. д., усвоенныхъ геніальнымъ человъкомъ и идущихъ въ разръзъ съ данными, установившимися формами общественнаго строя и сознанія. Какъ изв'єстно, у Гоголя ничего подобнаго не было. Все, что отзывалось "политикой", освободительными идеями въка, общественною реформою, было ему чуждо и даже, наряду съ гегеліанствомъ и вообще движеніемъ философской мысли, внушало ему родъ суевърнаго страха. А его морально-религіозные интересы и стремленія были по существу консервативны и сами по себъ не могли привести къ конфликту съ общественной средой, взятой въ ея цъломъ. Такъ называемая "ссора съ соотечественниками" была только частнымъ недоразумвніемъ, неръдко возникающимъ между сатириками и публикой. И если бы его сатира основывалась только на талантв, комическаго писателя" и не имъла бы болъе глубокаго источника въ интуиціяхъ генія, она не могла бы привести къ тому внутреннему, психологическому разладу, о которомъ мы говоримъ.

Когда происходить открытая, болье или менье бурная, "ссора" генія съ обществомъ, тогда по всей справедливости виноватымъ приходится признать генія: онъ не долженъ давать слишкомъ яркаго и опредъленнаго выраженія своему анти-общественному настроенію, своей мизантропіи, чувствамъ отвращенія къ человъческой пошлости, шаблонности, стадности, — ко всему, что составляетъ неотъемлемую принадлежность всякой общественной среды, даже самой передовой и просвъщенной. Этотъ порядокъ чувствъ долженъ мирно спать въ глубинъ души генія. Законное выраженіе эти чувства могутъ имъть въ частной перепискъ, въ мемуарахъ, не подлежащихъ оглашенію при жизни,--но имъ не должно быть мъста въ самомъ творчествъ генія. Ибо ихъ по праву можно причислить къ тъмъ душевнымъ движеніямъ, о которыхъ въ главъ III мы сказали, что они имъють свой смыслъ и свою душевную правду, пока они скрыты, но становятся ложью, когда обнаружены. На этомъ основаніи мы считаемъ "ложью", напр., "Чернь" Пушкина, а также и его знаменитый сонеть "Ноэть, не дорожи любовію народной", аналогичныя заявленія Гейне въ стихахъ и прозв 1) и т. п., вообще всякаго рода откровенныя признанія генія на тему: "Odi profanum vulgus". Въ этомъ смыслъ весьма примѣнимо Тютчевское:

> Молчи, скрывайся и таи И чувства, и мечты свои...

Надо отдать справедливость Гоголю: его сатира, его смъхъ отнюдь не дышатъ презръніемъ къ роду человъческому. Его самомньніе, такъ часто дающее знать себя въ письмахъ, почти не находитъ выраженія въ его творчествъ, въ его работъ художника. Оно вытекало изъ его личнаго характера, изъ того эгоцентрическаго уклада его натуры, о которомъ мы говорили въ гл. III, оно не было внушеніемъ его генія.



^{1).} О чемъ см. въ моей книгъ "Вопросы психологіи творчества", въ статьъ о Гейне, стр. 171—175.

Эти внушенія были у него иныя: они выражались въ бъгствъ отъ людей, въ самоуглубленіи, въ пристрастіи къ соверцательной, отшельнической жизни, въ горделивыхъ замыслахъ нравственнаго проповъдничества, наконецъ, какъ частный случай, въ одной на первый взглядъ странной и "дикой" особенности его душевнаго склада, указаніемъ на которую мы и закончимъ нашъ посильный опытъ психологическаго изученія этого великаго загадочнаго человъка.

Я имъю въ виду тъ тайныя душевныя побужденія или стимулы, въ силу которыхъ Гоголь былъ въ своемъ родъ кочевникъ, а не осъдлый обыватель, — и которыя у него, въчнаго странника, являлись могучими пружинами его художественнаго творчества, необходимымъ условіемъ расцвъта его поэтическихъ думъ, кристаллизаціи его художественныхъ замысловъ.

IV.

"Въ дорогу, въ дорогу!"—таковъ живой лозунгъ Гоголя,— и глубокой, личной правдой, настоящимъ исповъданіемъ поэта звучатъ въ «Мертвыхъ душахъ» страницы, посвященныя описанію «дороги», ея освъжающихъ впечатльній, ея благотворнаго утомленія, ея поэзіи. Вспомнимъ знаменитое мъсто въ ХІ-ой главъ І-ой части «Мертвыхъ душъ», начинающееся такъ: "Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное въ словъ: дорога! И какъ чудна она сама, эта дорога!" Характерно и знаменательно окончаніе этой тирады: «Боже! какъ ты хороша подчасъ, далекая, далекая дорога! Сколько розъ, какъ погибающій и тонущій, я хватался за тебя, и ты всякій разъ меня великодушно выносила и спасала! А сколько родилось въ тебъ чудныхъ замысловъ, поэтическихъ грезъ, сколько перечувствовалось дивныхъ впечатлюній!..» 1)

¹⁾ Курсивъ мой.

Этотъ художественный мотивъ легко комментируется слъдующими выдержками изъ писемъ.

Собираясь за границу въ 1836 году послѣ неудачи профессорской карьеры и всякихъ непріятностей и нареканій, вызванныхъ появленіемъ «Ревизора», Гоголь, уже восходящая звѣзда русской литературы, писалъ Погодину (10 мая 1836 г. изъ Петербурга): «Вду за границу, тамъ размыкаю ту тоску, которую наносять мнѣ ежедневно мои соотечественники... Я не оттого ѣду за границу, чтобъ не умѣлъ перенести этихъ неудовольствій. Мнѣ хочется поправиться въ своемъ здоровьѣ, разсѣяться, развлечься и потомъ, избравши нѣсколько постоянное пребываніе, обдумать хорошенько труды будущіе. Пора уже мнѣ творить съ большимъ размышленіемъ»...

Здёсь сквозить стихійное влеченіе— «въ дорогу, въ дорогу». Здёсь ясно виденъ психологическій мотивъ, который можно назвать потребностью бёжать отъ своей общественной среды, окунуться въ другую, чужую, гдё можно быть одинокимъ, самимъ собой, гдё не будетъ общественныхъ связей и обязательствъ.

Но даже и въ чуждой средъ, гдъ онъ обыкновенно чувствовалъ себя достаточно хорошо и могъ творить, имъ овладъвало порою стихійное влеченіе «въ дорогу», которая дъйствовала благотворно даже на его физическое состояніе. Онъ лечился путешествіями. Такъ, въ 1840 г., послъ болъзненныхъ припадковъ, постигшихъ его въ Вънъ (на пути въ Римъ), онъ, прибывъ, наконецъ, въ въчный городъ, продолжалъ чувствовать себя нехорошо, и его опять потянуло «въ дорогу». Онъ писалъ Погодину (17 окт. 1840 г.): «Чъмъ далъе, какъ будто опять становится хуже; и леченіе, и медикаменты только растравляютъ. Ни Римъ, ни небо, ни то, что такъ бы причаровало меня, ничто не имъетъ теперь на меня вліянія. Я ихъ не вижу, не чувствую. Мню бы дорога теперь, да дорога въ дожедь, слякоть, черезъ люса, черезъ

степи, на край свыта! 1). Вчера и сегодня было скверное время—и въ это скверное время я какъ будто бы ожилъ. Такъ вото все мни хотпълось или броситься въ дилижансъ, или хоть на перекладную» 1)...

Въ письмѣ къ Плетневу отъ 30 окт. того же 1840 г., изъ Рима, онъ жалуется: «Геморроидъ мнѣ бросился въ грудь, и нервическое раздраженіе, котораго я въ жизнь никогда не зналъ, произошло во мнѣ такое, что я не могъ ни лежать, ни сидѣть, ни стоять» ...—Но, замѣтимъ, могъ отлично путешествовать.—«Уже медики,—продолжаетъ онъ,—было махнули рукой, но одно лекарство меня спасло неожиданно: я велѣлъ себя положить ветурину въ дорожную коляску,—дорога спасла меня 1). Три дня, которые я провелъ въ дорогѣ, меня нѣсколько возстановили»...

Въ письмъ къ Шевыреву (28 февр. 1843 г., изъ Рима) находимъ въ высокой степени характерныя строки: «Голова моя такъ странно устроена, что иногда мнъ вдругъ нужно пронестись нъсколько сотъ верстъ и пролетъть разстояние для того, чтобы мънять одно впечатлъние другимъ, уяснить духовный взоръ и быть въ силахъ обхватить и обратить въ одно то, что мнъ нужно» 1).

Столь же характерно и важно слѣдующее мѣсто въ письмѣ къ Плетневу (4 іюля 1846 г.): «Дорога дѣйствуетъ лучше (леченія холодной водой). Видно на то воля Божья, и мню нужно, болюе чюмь кому либо, считать свою жизнь безпрерывной дорогой и не останавливаться ни въ какомъ мюсть иначе, какъ на временный ночлегъ и минутное отдохновеніе. Головь моей и мыслямь лучше въ дорогь; даже я зябну меньше въ дорогъ, и сердце мое слышить, что Богъ мню поможеть совершить въ дорогь все то, для чего орудія и силы во мню досель созръвали». 2)



⁴⁾ Курсивъ мой.

³) Въ томъ-же 1846 году онъ писалъ Жуковскому: "Весь этотъ годъ я осуждаю себя на странствіе. Лівтомъ объеду всю Германію, заёду въ Англію, которой не знаю, и въ Голландію, которой тоже

По всему видно, что «дорога» двиствовала благотворно прежде всего на психику Гоголя, а потомъ уже, черезъ посредство психики и на его физическое здоровье. Мы, кажется, не ошибемся, если въ этомъ оздоровляющемъ двиствіи будемъ различать дві стороны: во-первыхъ, стихійное проявленіе слюпого инстинкта, глубоко заложеннаго въ натуры Гоголя, и, во-вторыхъ, утилизацію этого инстинкта въ интересахъ умственнаго и вообще душевнаго благосостоянія,—интересахъ, обусловленныхъ геніальностью Гоголя. Онъ, и не будучи геніемъ, все равно былъ бы «вічнымъ странникомъ»; но его геній, если можно такъ выразиться, воспользовался этою особенностью его натуры съ своихъ цъляхъ и интересахъ.

Постараемся нъсколько яснъе представить себъ психологію той и другой стороны.

Первая сторона, т.-е. самый инстинкть, побуждающій странствовать, обнаруживается въ приведенныхъ выдержкахъ довольно отчетливо. И мы имъемъ всв основанія отнести Гоголя къ числу техъ, которыхъ можно назвать «прирожденными путешественниками», «въчными странниками», не способными къ постоянной осъдлой жизни на одномъ мъстъ. Такія натуры душевно увядають, когда имъ приходится слишкомъ долго засиживаться на одномъ мъстъ, и душевно расцевтають въ странствованіяхъ. Въ народе сюда принадлежать неисправимые бродяги по призванію, разные «странники» и «паломники»; въ образованномъ обществъ-страстные путешественники, какъ ученые, такъ и не ученые, неугомонные туристы, которымъ не сидится на месте. Инстинкты этого рода должны быть разсматриваемы какъ перерожденное и оживленное психологическое наследіе отъ временъ отдаленныхъ. Таковъ же между прочимъ и инстинктъ охотника. Въ душевной экономіи современнаго человъка этого



не видълъ; осенью объъду Италію, зимою—берега Средиземнаго моря, Сирію, Грецію, Іерусалимъ"...

рода наследія старины получають своеобразную постановку, сочетаясь съ другими сторонами натуры, съ особенностями характера или ума. Въ этомъ видъ инстинктивное влеченіе, напр., къ охотъ, къ путешествіямъ является живою душевною потребностью, удовлетвореніе которой безусловно необходимо для поддержанія душевнаго равновісія человіка, для его, какъ физическаго, такъ и психическаго благополучія. Нерадко на такихъ инстинктахъ основывается и то, что мы называемъ «призваніемъ» человъка. Очень въроятно, что, напр., военное призвание Суворова, Наполеона I и т. д. было по преимуществу обосновано на соотвътственномъ инстинктъ. И любопытно въ разныхъ случаяхъ этого рода наблюдать заблаговременное, наивное, ребяческое выражение инстинктивныхъ влеченій въ играхъ ребенка, въ неясныхъ стремленіяхъ или мечтахъ юноши. Это мы видимъ у Гоголя, въ его первомъ литературномъ опытъ, въ пресловутой поэмъ «Гансъ Кюхельгартенъ», гдв неумвло и аляповато, дубовыми стихами, воспроизведено все то же стремленіе въ чужіе края, все та же страсть въ путешествіямъ. Первая поездка Гоголя за границу въ 1829 г. на деньги, которыя онъ долженъ былъ внести въ опекунскій советь, была какъ бы повтореніемъ или перенесеніемъ въ дъйствительность мотива, выраженнаго въ юношескомъ сочинении. Сочинение это Гоголь сжегъ, но не могь удержаться отъ соблазна самому разыграть роль своего героя.

Въ душевномъ состояніи Гоголя, выразившемся въ этой первой его поъздкъ за границу, очень и очень трудно разобраться, потому что важньйшій документъ, сюда относящійся (письмо къ матери отъ 24 іюля 1829 г.), исполненъ юношеской реторики и также разныхъ выдумокъ. Такъ, между прочимъ, онъ ссылается здъсь на несчастную любовь, въ силу которой будто бы ему необходимо было бъжать заграницу. Ничего подобнаго не было, и Гоголь сочинилъ всю эту исторію 1). Въ другомъ письмъ (изъ Любека, 13 авг. 1829 г).

^{1) &}quot;.... Я увидълъ, что миъ нужно бъжать отъ самого себя...

онъ уже выставляеть другой мотивъ-бользнь и необходимость дечиться водами, но и это оказывается ложью 1). Но есть одно, что можно распознать во всемъ этомъ сцепленіи реторики, выдуманныхъ мотивовъ и прямой лжи: это именно стихійное, безотчетное, фатальное стремленіе «въ дорогу», въ чужіе края, живая, настоятельная потребность «проъздиться», совершить путешествіе безъ опредъленной цъли, безъ ясно сознанной задачи. «Дорога» была сама по себъ цёлью, а въ такой безцёльности поступковъ и сказывается дъйствіе инстинкта. Но послушаемъ, какъ онъ, въ вышеуказанномъ письмъ (24 іюля 1829 г.) изображаетъ свое душевное состояніе, стараясь мотивировать свей поступокъ: «Теперь, собираясь съ силами писать къ вамъ, не могу понять, отъ чего перо дрожитъ въ рукъ моей; мысли тучами налегаютъ одна на другую, не давая одна другой мъста, и непонятная сила нудить и вмёстё отталкиваеть ихъ излиться предъ вами и высказать всю глубину истерзанной души...». Дъло въ томъ, что онъ разочаровался въ возможности для себя устроиться на службъ въ Петербургъ такъ, чтобы это доставляло ему должное внутреннее удовлетвореніе и отвъчало его честолюбивымъ помысламъ. Свои неудачи и разочарованія онъ приписываеть тому, что, стремясь устроиться въ Петербургъ, на службъ, онъ «воспротивился» нъкоторому внушенію свыше, стихійному влеченію въ чужіе края, вложенному въ его душу самимъ Богомъ. И вотъ теперь Господь наказываетъ его... Этимъ наказаніемъ и послужила «несчастная любовь». «Я чувствую, -- восклицаеть онъ, -- налегшую на меня справедливымъ наказаніемъ тяжкую десницу Всемогущаго. Но какъ ужасно это наказаніе! Безумный! Я хотыль было противиться этимъ вычно-неумолкаемымъ желаніямъ

Въ умиленіи я призналъ невидимую Десницу, пекущуюся о мнъ, и благословилъ такъ дивно назначаемый путь мнъ...".

¹⁾ Гоголь пишетъ, что у него обнаружилась сыпь. По свидътельству А. С. Данилевскаго, никакой сыпи не было, и Гоголь повкалъ не лечиться, а думалъ совсёмъ убхать въ Америку.

души 1), которыя одинъ Богъ вдвинулъ въ меня, претворивъ меня въ жажду, ненасытимую бездъйственною разсъянностью свёта. Оне указале мню путь во землю чуждую 1), чтобы воспиталь свои страсти въ тишинь, въ уединеніи, въ шумъ въчнаго труда и дъятельности, чтобы я самъ по нъсколькимъ ступенямъ поднялся на высшую, откуда бы былъ въ состояніи разсвивать благо и работать на пользу міра». Все это еще не ложь, а только реторика, по-своему правдиво воспроизводящая внутреннюю реторику приподнятыхъ душевныхъ состояній юноши, богатаго духовными силами, дающими чувствовать себя, и съ огромнымъ, но пока темнымъ, невъдомымъ призваніемъ. Если мысленно устранимъ это реторическое движение души, то въ ея глубинъ обнажится «голый» фактъ инстинктивнаго влеченія къ странствованіямъ, къ перемънъ мъста и впечатлъній, --- влеченія, въ силу особыхъ обстоятельствъ пробудившагося и заявившаго о себъ въ данное время съ необычайной силой.

Впослѣдствіи, въ "Авторской исповѣди" (1847 г.) онъ вспомнить объ этомъ эпизодѣ. Здѣсь мы находимъ слѣдующую попытку объяснить и осмыслить свое стихійное влеченіе къ странствованіямъ за предѣлами отечества. "Мое разстроившееся здоровье и вмѣстѣ съ нимъ маленькія непріятности, которыя я бы теперь перенесъ легко, заставили меня подняться въ чужіе края. Я никогда не имѣлъ влеченія и страсти къ чужимъ краямъ (?). Я не имѣлъ также того безотчетнаго любопытства, которымъ бываетъ снѣдаемъ юноша, жадный впечатлѣній"...

Это—неправда. Влеченіе перенестись въ чужіе края въ немъ несомнѣнно было, равно какъ и "безотчетное любо-пытство" юноши. Стоитъ только пробѣжать его письма, писанныя имъ во время первой поѣздки (изъ Любека, Гамбурга и другихъ мѣстъ), чтобы убѣдиться въэтомъ: очутившись за границей, онъ именно съ "безотчетнымъ любопыт-



¹⁾ Курсивъ мой.

ствомъ" осматриваетъ германскіе старинные города съ ихъ готическими храмами, узкими улицами, уносящими воображеніе въ средніе въка; его занимаютъ и нравы, и костюмы жителей, на все смотритъ онъ широко открытыми глазами юноши, "жаднаго впечатлѣній", и подробно описываетъ все видѣнное въ живыхъ и яркихъ очеркахъ. Письма эти вообще принадлежатъ къ числу лучшихъ, наиболѣе "свѣжихъ" и содержательныхъ въ огромной коллекціи писемъ Гоголя.

"Но, странное дѣло! даже въ дѣтствѣ, даже во время школьнаго ученія, даже въ то время, когда я помышляль только объ одной службѣ, а не о писательствѣ, мнѣ всегда казалось, что въ жизни моей мнѣ предстоитъ какое-то большое самопожертвованіе и что именно для службы моей отчизнѣ я долженъ буду воспитаться гдѣ-то вдали отъ нея. Я не зналъ, ни какъ это будетъ, ни почему это нужно; я даже не задумывался объ этомъ, но видълъ самого себя такъ живо въ какой-то чужой землю тоскующимъ по своей отчизнъ, картина эта такъ часто меня преслъдовала, что я чувствовалъ онъ нея грусть 1). Быть можетъ, это было просто то непонятное поэтическое влеченіе, которое тревожило иногда и Пушкина, ѣхать въ чужіе края единственно за тѣмъ, чтобы, по выраженію его,

Подъ небомъ Африки моей Вздыхать о сумрачной Россіи.

"Какъ бы то ни было, но это противовольное мит самому влечение было такъ сильно 1), что не прошло пяти мъсяцевъ по прибытии моемъ въ Петербургъ, какъ я сълъ уже на корабль, не будучи въ силахъ противиться чувству, мит самому непонятному" 1).

Какъ въ 1829 году истинный мотивъ—стихійное влеченіе къ странствованіямъ—пробивался сквозь реторику и выдумки, такъ и здёсь пробивается онъ наружу сквозь тъ толкованія, которыя были внушены Гоголю его теперешнимъ

⁴⁾ Курсивъ мой.

положеніемъ и всемъ ходомъ его творчества за истекшія послѣ повздки 1829 года 18 лѣтъ. На этотъ разъ инстинктъ въчнаго странника былъ заслоненъ и перетолкованъ не будущимъ неизвъстнымъ призваніемъ юноши, какъ тогда, а уже совершившимся и выяснившимся призваніемъ великаго національнаго поэта-сатирика. Теперь его первая повздка за границу явилась для него самого-въ новомъ свътъ: ему теперь казалось, что тогда онъ повхалъ въ чужіе края, движимый темъ стихійнымъ стремленіемъ художника—созерцателя Руси изъ прекраснаго далека, которое проявилось позже, въ его последующихъ странствованіяхъ. Такъ и въ нъкоторыхъ изъ вышеприведенныхъ выдержекъ изъ писемъ весьма опредёленно сказывается рядомъ съ "органическою" потребностью странствовать также и поэтическая потребность художника, которому необходимы новыя впечатлёнія и котораго умъ въ дорогъ пробуждается къ творчеству.

Но тотъ же инстинктъ "въчнаго странника" съ годами сочетался и съ другими душевными стремленіями и запросами, которыми и перетолковывался въ другую сторону. Въ письмахъ мы находимъ указанія на то, что "дорога" была нужна ему не только какъ художнику, но и какъ человъку, "своимъ душевнымъ дѣломъ"; она является однимъ изъ орудій его "самовоспитанія". "Странствованія" упоминаются рядомъ съ "уединеніемъ", "отлученіемъ отъ міра", самоуглубленіемъ, молитвами. Повидимому, "въ дорогъ", отвлекаясь отъ разсъянія будней, отъ "дрязга" жизни, онъ "собиралъ" свою душу,--и она настраивалась не только на высоко-поэтическій, но и на высоко-религіозный ладъ. Гоголь-непоседа, Гоголь-странствующій поэть, въ то же время быль и своеобразнымь религіознымь странникомь и, при все усиливающейся наклонности къ крайней мистикъ, уже готовъ быль превратиться въ настоящаго паломника. Его путешествіе въ Палестину было именно паломничествомъ въ тесномъ смысле слова, и въ этой повздке насъ поражаеть отсутствіе всякихь проявленій художественныхь силь

Гоголя,—точно въ немъ умеръ великій художникъ и даже притупилась его наблюдательность и впечатлительность туриста. По всему видно, что онъ весь былъ поглощенъ одной идеей, однимъ могучимъ порывомъ къ покаянію, къ исповъданію, къ очищенію души своей у Гроба Господня...

Такъ проявлялся, такъ дъйствовалъ, служа другимъ, высшимъ сторонамъ и стремленіямъ души, поэтическимъ религіознымъ, глубоко коренившійся въ душъ Гоголя слъпой инстинктъ "въчнаго странника".

Не менъе важныя услуги оказываль тотъ же инстинкть самому генію Гоголя. Постараемся очертить ихъ, какъ умъемъ.

٧.

Если бы, предположимъ, Гоголь лишенъ былъ возможности путешествовать и вель бы осёдлый образъ жизни въ Петербурга или Москва, то и въ такомъ случав его огромное художественное дарование не могло бы не проявиться такъ или иначе: онъ наблюдалъ бы жизнь, улавливалъ бы ея типическія черты и воплощаль бы ихъ въ художественные образы, нарисованные съ большимъ или меньшимъ искусствомъ. Но навърное можно утверждать, что это творчество не было бы отмичено печатью той изумительной геніальности, какою проникнуто величайшее твореніе Гоголя - "Мертвыя души". Геніальность этой безсмертной книги. т. е. необычайная вдумчивость, оригинальность интуицій, глубина созерцаній, въ ней проявившіяся, находились въ теснейшей психологической связи съ странствованіями Гоголя, съ благотворнымъ воздействіемъ "дороги". на его умъ и всю психику. Въ "дорогъ" онъ становился мыслителемъ, созерцателемъ, и непосредственныя впечатльнія действительности, отъ которыхъ онъ быжаль, перерабатывались въ глубинъ его безсознательной сферы силою его геніальной интунціи. Глубокою душевною правдою дышатъ тъ мъста его писемъ, гдъ онъ говоритъ, что ему, для того чтобы "оглянутъ" Россію со всъхъ сторонъ и понять ее, необходимо сперва изъъздить всю Европу.

Когда у него идетъ рвчь о его художественныхъ созерцаніяхъ, о томъ, что мы называемъ "задумчивостью" генія, онъ обыковенно рисуетъ картину странствованія. Такъ это въ VI-й главъ 1-й части "Мертвыхъ душъ". Вспомнимъ эту чудную страницу, начинающуся такъ: "Прежде, давно, въ лъта моей юности, въ лъта невозвратно мелькнувшаго моего дътства, мню было весело подъвзжать въ первый разъ къ незнакомому мюсту 1)..." Заканчивается это поэтическое отступленіе такъ: "Теперь равнодушно подъъзжаю ко всякой незнакомой деревнъ и равнодушно гляжу на ея пошлую наружность; моему охлажденному взору не пріютно, мнъ не смъшно, и то, что пробудило бы въ прежніе годы живое движеніе въ лицъ, смъхъ и немолчныя ръчи, то скользитъ теперь мимо, и безучастное молчаніе хранятъ мои недвижныя уста. О, моя юность! О, моя свъжесть"!

"Живое движеніе въ лицъ, смъхъ и немолчныя ръчи"— это проблески той геніальности, еще молодой, еще не созръвшей, которая въ первыхъ произведеніяхъ Гоголя только угадывается, только подозръвается. "Безучастное молчаніе недвижныхъ устъ"— это какъ бы намекъ на иную "задумчивость", на сокровенную работу мысли генія, уже богатаго опытомъ жизни, уже воспитавшагося въ сосредоточенномъ развитіи долгихъ, затаенныхъ думъ, которыя не спъшатъ проявиться въ "смъхъ" и "немолчныхъ ръчахъ", но которыхъ дъйствіе такъ ярко скажется въ послъдующемъ творчествъ...

Образъ "писателя-путника" былъ однимъ изъ любимыхъ оборотовъ у Гоголя,—и знаменитое лирическое отступленіе о двухъ писателяхъ въ началъ главы VII-й открывается этимъ сопоставленіемъ: "Счастливъ путникъ, который послъ

¹⁾ Курсивъ мой.

длинной, скучной дороги... видить, наконець, знакомую крышу"... Противопоставляя "двухь писателей" и ихъ различный "удвлъ", онъ такъ заканчиваетъ изображеніе участи поета пошлыхъ сторонъ жизни: "Безъ раздвленія, безъ отввта, безъ участія, какъ безсемейный путникъ, останется онъ одинъ посреди дороги"...

Засимъ, обращаясь къ себъ, онъ говоритъ: "И долго еще опредёлено мнв чудною властью идти объ руку съ моими странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный міру смёхъ и незримыя, невёдомыя ему слезы! И далеко еще то время, когда инымъ ключомъ грозная вьюга вдохновенія подымется изъ облеченной въ священный ужасъ и въ блистаніе главы, и почують трепеть величавый громъ другихъ рьвъ смущенномъ чей"...-Такъ заканчивается знаменитое "лирическое отстуиленіе", --и, возвращаясь къ прерванному разсказу о похожденіяхъ Чичикова, поэтъ намічаеть этоть переходъ къ обычному пути своего творчества характернымъ восклицаніемъ: "Въ дорогу! въ дорогу! Прочь набъжавшая на чело морщина и строгій сумракъ лица! Разомъ и вдругъ окунемся въ жизнь со всей ея беззвучной трескотней и бубенчиками и посмотримъ, что делаетъ Чичиковъ".

"Дорога" была однимъ изъ необходимыхъ условій созданія "Мертвыхъ душъ". Замыселъ, идею, типы, картины
великой ноэмы Гоголь возилъ съ собою по всей Европъ.
Начавъ въ Петербургъ, онъ продолжалъ работу надъ
"Мертвыми душами" въ Швейцаріи, въ Веве, потомъ въ
Парижъ, потомъ въ Римъ, гдъ, съ нъсколькими перерывами
для поъздокъ по Европъ и въ Россію, и была окончена въ
1841 году первая частъ "поэмы". Можно сказать, "Мертвыя
души" были созданы въ "дорогъ" и написаны "на бивуакахъ". Это ничуть не мъшало интенсивному труду разработки, отдълки, неоднократнымъ передълкамъ, тому сознательному методическому труду, который, какъ мы указали,
выше, пропорціоналенъ глубинъ и достоинству интуи-

тивныхъ идей генія. Краснорвчивымъ свидвтельствомъ этого труда являются рукописи Гоголя. Необычайная добросовъстность и трудолюбіе Гоголя, какъ художника, неоднократно передълывающаго каждую сцену, вникающаго во всъ подробности, служитъ нагляднымъ мёриломъ той другой. интуитивной работы его мысли, которая созидалась "въ дорогь", когда онъ удалялся отъ непосредственныхъ наблюденій надъ русскою дійствительностью и среди мимо бітущихъ, не раздражающихъ, не застаивающихся впечатлъній путника созерцалъ творческимъ воображениемъ русской жизни, вперяя задумчивый взоръ въ ея суть, въ ея характерную складку, въ смыслъ ея явленій, въ психологію русскихъ характеровъ, въ своебразную поэзію русской природы и жизни. Много, много "родилось" тутъ "чудныхъ замысловъ" и "поэтическихъ грезъ", которые потомъ кристаллизировались въ монументальные типы и художественныя картины "Мертвыхъ душъ".

"Дорога" и была для Гоголя той лабораторіей, гдъ совершались его художественные эксперименты.

Именно какъ художнику-экспериментатору, и необходима была өмү "дорога"—для осуществленія его художественныхъ интуицій.

Характерная, индивидуальная особенность художественныхъ интуицій Гоголя легко опредъляется его же собственными выраженіями: "Видный міру смъхъ и незримыя, невъдомыя ему слезы", сквозь которыя онъ "озиралъ" "громадно-несущуюся жизнь". И въ самомъ дѣлѣ: "смѣхъ" — налицо; онъ входитъ ограническимъ звеномъ въ самые образы—Чичикова, Манилова, Собакевича, Ноздрева, Коробочки, Плюшкина, прокурора, Селифана, Петрушки, дамъ, мужиковъ, Тентетникова, генерала Бетрищева, Пѣтуха... Всѣ эти фигуры обращены къ читателю своей смѣшной стороной. А сколько смѣху въ отдѣльныхъ картинахъ и картинкахъ, во вводныхълицахъ и сценахъ, въ миніатюрахъ, которыми такъщедро украшена "поэма", въ повѣсти о капитанѣ Копейкинѣ

въ мритчъ о Кафъ Мокіевичъ! Смъхъ повсюду, съ начала до конца: "громадно-несущаяся жизнъ" развертывается предъ нами—озаренная и объясненная "смъхомъ".

Но гдѣ же слезы?

Развѣ въ образахъ Чичикова, Манилова, Коробочки, Собакевича, Ноздрева и т. д. и т. д. замѣтны хоть малѣйшіе слѣды "слезъ" художника? Развѣ гдѣ-нибудь въ великой поэмѣ слышится скорбь художника-мыслителя? Гдѣ, на какой страницѣ "поэмы", скорбимъ и плачемъ мы вслѣдъ за художникомъ?

Нѣтъ такой страницы,—да и рѣчи не можетъ быть о скорби—по поводу Чичикова, Ноздрева, Коробочки и т. д. "Слезы", пролитыя надъ ними, имѣли бы неожиданнымъ результатомъ опять-таки смѣхъ, только на сей разъ ужъ не художественный.

Итакъ, въ самомъ дѣлѣ, "смѣхъ" виденъ, а слезы остаются "незримыми, невѣдомыми міру".

Вотъ именно въ этомъ-то, въ этой незримости, сокровенности слезъ и скорби и заключается характерная особенность геніальнаго творчества Гоголя. Въ "лабораторіи" его художественныхъ экспериментовъ "слезы" испарялись, "скорбь" переходила въ скрытое состояніе, а смъхъ комическаго писателя перерабатывался изъ обыкновеннаго въ тотъ "высшій восторженный смъхъ", который "достоипъ стать рядомъ съ высокимъ лирическимъ движеніемъ".

Но присутствіе "невримых слезъ" и скорби въ скрытомъ, потенціальномъ состояніи, какъ могучихъ пружинъ творчества, какъ необходимыхъ спутниковъ соверцаній Гоголя, явствуетъ, однако, изъ того, что "много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую изъ презрънной жизни, и возвести ее въ перлъ созданія", а эта глубина душевная, которой никто, конечно, не станетъ отрицать у Гоголя, должна была, по самому существу дъла, заключать въ себъ и "слезы" и "скорбь".

"Скорбь" накоплялась среди "прязга" жизни, осъдая

подъ гнетомъ непосредственныхъ впечатлёній русской действительности. Но это отнюдь не была идейная скорбь гражданина, та, которую испытывали Бълинскіе и Герцены. Гоголю этотъ родъ скорби быль чуждъ. Тягостныя душевныя состоянія, которыя онъ испытываль, живя въ Россіи, его "незримыя, невъдомыя міру слезы", были явленіемъ особаго порядка, ничего общаго не имъвшимъ съ "гражданскою скорбью". С. Т. Аксаковъ очень мътко охарактеризовалъ специфическую "скорбь" Гоголя, сказавъ, что, въроятно, у него мозгъ и нервы были устроены не такъ, какъ у другихъ, и "содрогались" отъ причинъ, намъ неизвъстныхъ. Именно такое "содроганіе" и нервовъ, и души я имълъ въ виду выше, говоря о той тягот в душевной, о той мизантропін, о томъ своеобразномъ пессимистическомъ и антиобщественномъ настроеніи, которыя представляются обычными признавами психологіи генія. И весьма віроятно, что суть дъла сводится здъсь въ концъ концовъ именно къ особому устройству нервно-мозговой системы, реагирующей на виечатленія съ особливою, и притомъ болезненною, чуткостью. И "скорбь", которая въ силу этого отлагается въ душъ, есть не идейная скорбь гражданина, а родъ психической боли-если можно такъ выразиться, родъ "душевной тошноты"...

Удалиться твиъ или другимъ способомъ или спрятаться отъ воздвиствій, вызывающихъ душевную боль и "тошноту", является у геніевъ глубокою душевною потребностью, и, какъ извъстно, всъ они удаляются или прячутся—кто въ философію, кто въ науку, кто въ искусство...

Для Гоголя лучшимъ способомъ удаленія отъ жизни являлась "дорога"; она же и была излюбленною "лабораторією" его творчества.

"Въ дорогъ" утихала его душевная боль, и тъ самыя впечатлънія, которыя вызывали "боль и тошноту", превращались въ безразличные, безобидные объекты творчества.

Здісь пробуждалось и дійствовало въ его душі то, что выше мы назвали идеею или чувствомъ безконечнаго. Въ искусствъ оно проявляется не такъ, какъ въ философіи и наукъ: въ послъднихъ оно-отвлеченно, оно-понятіе, чистая идея; въ первомъ оно пріурочивается къ конкретнымъ образамъ и картинамъ, которые, будучи типичными, обобщая неопределенное количество ("энное" число, сказаль бы математикь) явленій жизни человіческой, открывають созерцанію поэта обширныя перспективы, вдали, куда взоръ уже не проникаетъ. Вотъ Коробочка: это перспектива неопредъленно большого ряда таких натуръ, таких бытовых образовъ. Ихъ число въ концъ-концовъ, разумћется, ограничено, а не безконечно; но его нельзя учесть, его нельзя установить; нельзя указать, гдв именно оканчивается этотъ рядъ; ибо образъ, созданный Гоголемъ, такъ широкъ, такъ типичепъ, что объемлетъ не только современныхъ ему, дореформенныхъ Коробочекъ, но и пореформенныхъ, и не только-русскихъ, но и немецкихъ, и французскихъ, и т. д.; онъ простирается и на грядущихъ Коробочекъ, и не только на техъ, которыя въ самомъ деле явятся, но и на всёхъ воображаемых Коробочевъ, какихъ только мы можемъ представить себъ. Итакъ, рядъ уходито во безконечность, не космическую, конечно, а человъческую, психологическую: это —представление "неопредвленно —большого", которое психологически эквивалентно идет безконечности, потому что не видать конца этому "неопредъленно-большому". Эта психологическая, человъческая форма безконечнаго присуща всякому истинно-художественному образу.

Создатель образовъ Чичикова, Манилова, Собакевича, Ноздрева, Плюшкина, Коробочки и др. созерцалъ и чувствовалъ это "безконечное" въ цъломъ рядъ бытовыхъ и пси-кологическихъ перспективъ, соотвътствующихъ этимъ именамъ.

Получался эффектъ или иллюзія въ родѣ той, какая всегда необходима въ пейзажѣ, въ картинахъ степи, моря:

аллея, все суживающаяся и теряющаяся въ дали, море, сливающееся съ небомъ, степь, грани которой ускользаютъ отъ взора.

Все человъческое, психологическое, бытовое, историческое даетъ неисчерпаемый матеріалъ для созданія этихъ перспективъ, которыя мы можемъ назвать "художественными иллюзіями безконечнаго". Настоящій художеникъ это—тоть, кто созерцаетъ міръ человическій въ формахъ этихъ иллюзій. Иначе говоря: создавая образъ или картину, художникъ созерцаетъ ими неопредъленно огромный рядъ явленій, кажущійся безконечнымъ.

Весьма разнообразны у различныхъ художниковъ самые способы этого созерцанія, его психологическій характеръ п порядокъ сопутствующихъ чувствъ. Но, думается, можно было бы различать здёсь два типа художниковъ: одни созерцають, если можно такъ выразиться, архитектурно, другіе-музыкально. У первыхъ живее сказывается, въ ихъ созерцаніяхъ жизни сквозь призму образа, чувство стройности, архитектурности въ построеніи этого образа, въ его симметрическом отношения къ явлениямъ, которыя въ немъ находятъ свое обобщение и истолкование. У вторыхъ живъе проявляется, въ тъхъ же созерцаніяхъ, чувство движенія, къ которому примінимы выраженія Гоголя о "дорогь ": въ немъ есть что-то манящее и несущее, какъ есть оно-въ музыкт. Созердание обобщеннаго въ художественномъ образъ ряда явленій, кажущагося безконечнымъ, родить въ душъ представление и чувство чего-то въчно движущагося, каллейдоскопически міняющагося, какого-то чевъчнымъ прибоемъ ловвческаго океана, СЪ волнъ, въчно-колеблющеюся, разнообразно-искрящеюся поверх-

Гоголь безспорно принадлежалъ къ этому второму типу художниковъ.

Жизнь, которую онъ созерцаль сквозь призму своихъ образовъ, представлялась ему "громадно-несущеюся". И чув-

ства, которыми сопровождались его творческія созерцанія, могуть быть охарактеризованы тёми красками, которыми въ концё І-ой части "Мертвыхъ душъ" изображено пристрастіе "русскаго человіка" къ "быстрой іздів". Вспомнимъ: "Ея ли не любить, когда въ ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, невіздомая сила подхватила тебя на крыло къ себів, и самъ летишь, и все летить: летятъ версты, летять навстрічу купцы на облучкахъ своихъ кибитокъ, летить съ обізихъ сторонъ лість съ темными строями елей и сосенъ, съ топорнымъ стукомъ и вороньимъ крикомъ, летитъ вся дорога невізсть куда въ пропадающую даль; и что-то страшное заключено въ семъ быстромъ мельканіи, гдів не успіваетъ означиться пропадающій предметь: только небо надъ головою, да легкія тучи, да продирающійся місяць одни кажутся неподвижны. Эхъ, тройка, птица-тройка!.."

Въ этихъ строкахъ лирически сказалось то головокружительное *чувство движения*, которымъ сопровождалось творчество Гоголя.

Здёсь дано живое выраженіе тому, что Бёлинскій называль паеосому поэта.

Паносъ Гоголя—разгулъ воображенія, полетъ поэтической мысли, удаль художественныхъ замысловъ. И онъ ярко обнаруживается не только въ лирическихъ мѣстахъ, въ родѣ приведеннаго, но и въ самой работѣ художника, въ структурѣ образовъ, въ техникѣ рисунка, гдѣ такъ много движенія, въ быстрой смѣнѣ картинъ, въ быстрыхъ ударахъ кисти, во всѣхъ пріемахъ изображенія, не дающихъ читателю времени опомниться и влекущихъ его все дальше и дальше.

Въ безсмертной "поэмъ", можно сказать, все движется, все несется и исчезаетъ въ дали, оставляя впечатлъніе "громадно-несущейся жизни", чему нисколько не мъшаетъ сознаніе пошлости этой жизни,—жизни Чичиковыхъ, Маниловыхъ, Собакевичей, Коробочекъ...

VI.

Осложненная геніальностью, натура Гоголя, сама по себ'в противоръчивая и загадочная, являетъ картину особливо-сложной, причудливо-своеобразной душевной жизни.

Можно сказать, его геніальность находилась въ вопіющемъ противоръчіи съ важнъйшми, наисильнъе выраженными сторонами его натуры и особенностями его ума.

И въ самомъ дълъ, геніальный укладъ духа, по самому существу своему, плохо ладить съ твмъ крайнимъ эгоцентризмомъ натуры, какой мы видимъ у Гоголя. Геній всегда стремится, если можно такъ выразиться, выйти изъ предѣдовъ своей личности, онъ живетъ и дышитъ всеобщимъ, онъ ищеть широкихъ горизонтовъ, всеобъемлющихъ созерцаній, —и ему тъсно и душно въ узкой сферъ личной душевной жизни, какъ бы его психика ни была глубока и богата содержаніемъ. Быть замкнутымъ въ себъ, въчно носиться со своимъ "я", быть подъ его неусыпнымъ надзоромъ и гнетомъ-эта доля, тяжкая и бользнетворная для всякаго человека, вдвойне тяжела и мучительна для генія. Гоголь, какъ натура ръзко-эгоцентрическая, и Гоголь, какъ великій геній, это были двъ души, фатально связанныя между собой и въчно-стремившіяся оторваться другь отъ друга. И великій поэтъ могъ бы съ полнымъ правомъ сказать о себъ то, что говорить Фаусть у Гете:

> Zwei Seelen wohnen,—ach!—in meiner Brust, Die eine will sich von der andern trennen...

Столь же плохо ладила геніальность Гоголя съ его стремленіемъ и его живою потребностью осуществить свою общественную стоимость, о чемъ мы подробно говорили въ гл. III-ей. Геніальность съ ея антиобщественнымъ и мизантропическимъ настроеніемъ является весьма серьезнымъвнутреннимъ—препятствіемъ къ осуществленію общественной стоимости человѣка. Плохой обыватель, недисциплинированный рядовой соціальной жизни, неспособный идти въ ногу съ другими, ненавистникъ стадныхъ чувствъ и общественныхъ шаблоновъ, геній, въ своихъ стремленіяхъ къ осуществленію общественной стоимости, является прирожденнымъ кандидатомъ въ "неудачники". И если онъ всетаки занимаетъ свое мѣсто въ обществѣ, осуществляетъ такъ или иначе свою общественную стоимость, то это происходитъ—несмотря на геніальность, вопреки ей и благодаря либо счастливому случаю, либо какимъ-нибудь спеціальнымъ талантамъ или особымъ качествамъ его ума, которыя оказались нужными и полезными данной общественной средѣ.

Для Гоголя, какъ человѣка съ живыми общественными стремленіями, съ неугасимою жаждой—стать единицею въ своей средѣ, проявить свою личность въ ней, найти удовлетвореніе своему честолюбію,—его геніальность была лишнею обузой, крайне затруднявшею рѣшеніе и безъ того трудной личной задачи.

Наконецъ, коренныя черты ума Гоголя находились въ вопіющемъ противорѣчіи съ геніальностью этого ума. Геніальность мысли не уживается съ темното и отсталостью ума. Жажда умственнаго свѣта, радость познанія, стремленіе къ внутренней свободѣ, глубокая потребность мысли—стряхнуть старыя оковы, расправить крылья и унестись впередъ, въ неизвѣданную даль новыхъ стремленій, новыхъ дерзновеній ума человѣческаго—вотъ характерныя, бьющія въ глаза черты генія. Онѣ были и у Гоголя, поскольку онъ былъ геній. Но онъ, какъ умъ, въ то же время отличался и иными качествами: онъ боялся мысли, онъ отворачивался отъ свѣта, отъ радостей познанія, онъ быль люнивъ—учиться и совершенствоваться,—его умъ, огромный, проницательный и тонкій, страдалъ какою-то странною неподвижностью и свѣтобоязнью. Это внутреннее—психологи-

ческое—противоръчіе между указанными особенностями его ума и его геніальностью было причиной того умственнаго разлада съ самимъ собой, который составлялъ одну изъвидныхъ сторонъ сложной душевной драмы и общей неуравновъшенности этого великаго человъка. Крылья его генія были подръзаны...

Съ однимъ только необыкновеннымъ художественнымъ дарованіемъ Гоголя его геній находился въ полной гармоніи.

Мы рѣшительно отвергаемъ извѣстное воззрѣніе на геніальность, какъ на родъ душевной болѣзни; но мы думаемъ, что, при наличности разлада между геніальностью человѣка и другими сторонами его натуры, геніальность является какъ бы психическимъ бременемъ, иногда неудобоносимымъ, нарушаетъ внутреннее равновѣсіе и служитъ источникомъ особыхъ томленій и мукъ, которыя могутъ вредно отозваться на общемъ душевномъ здоровьѣ человѣка.

Такую именно картину мы и находимъ у Гоголя.

Изученіе душевной исторіи Гоголя съ этой стороны представляеть для психолога задачу, исполненную высокаго интереса. Мы здісь ограничиваемся только ея постановкой.

Въ заключение замътимъ, что разладъ геніальности съ другими сторонами натуры и ума, аналогичный тому, какой мы видимъ у Гоголя, долженъ быть признанъ явленіемъ далеко не исключительнымъ, не ръдкимъ. При общей нестройности духа человъческаго, всегда изобилующаго внутренними противоръчіями, характеризующагося борьбою противоположныхъ стремленій, разладомъ, напр., между умомъ и чувствами, было бы настоящимъ чудомъ, если бы геніи составляли исключеніе и отличались бы внутреннею гармоніей и особливою согласованностью, созвучностью душевныхъ силъ.

Геніальность сама по себъ-не бользнь, но она-за-

мътное "осложняющее обстоятельство" въ психикъ чело въка.

Осложненія, ею вносимыя, отражаются благопріятно на общемъ укладѣ психики лишь въ тѣхъ, кажется, сравнительно рѣдкихъ случаяхъ, когда между геніемъ человѣка и другими сторонами его натуры и ума есть внутреннее—психологическое—сродство, когда и помимо геніальности его духъ широко открытъ для всѣхъ "человѣческихъ стремленій", и его умъ, свѣтлый и пытливый, бодро и радостно глядитъ впередъ, а не назадъ, работая для грядущаго, по завѣту: "На поприщѣ ума нельзя намъ отступать"!

Такой примъръ гармоніи генія съ умомъ и нъкоторыми сторонами натуры являетъ Пушкинъ, котораго не разъ вспоминали мы въ этомъ опытъ, посвященномъ Гоголю.

ПРИЛОЖЕНІЕ.

Источники и важнъйшія пособія для изученія жизни и творчества Гоголя.

Нижеслѣдующія указанія и замѣтки предназначаются для лицъ, впервые приступающихъ къ систематическому изученію жизни и творчества Гоголя.

Въ основу такого изученія должно быть положено ознакомленіе съ текстомъ его произведеній въ томъ ихъ видъ, въ какомъ они изданы подъ редакціей *Н. С. Тихонравова* и (по смерти послъдняго) *В. И. Шенрока* 1).

Это изданіе по справедливости признается образцовымъ. Никто изъ нашихъ великихъ писателей, даже Пушкинъ, не изданъ съ такимъ совершенствомъ пріемовъ. Это—въ полномъ смыслѣ слова изданіе критическое, сдѣланное по всѣмъ правиламъ научнаго изслѣдованія текста по рукописямъ и предыдущимъ изданіямъ; въ немъ читатель найдетъ варіанты и черновые наброски и имѣетъ возможность прослѣдить исторію различныхъ произведеній Гоголя; весь трудъ, положенный имъ на переработку и усовершенствованіе формы, находится здѣсь, если можно такъ выразиться, мередъ глазами читателя. Въ приложеніяхъ помѣщены примѣчанія и даже цѣлыя изслѣдованія, освѣщающія процессъ творчества Гоголя



^{1) &}quot;Сочиненія Н. В. Гоголя", подъ редакціей Н. С. Тихонравова. Москва 1889—1896 г.г.

и нѣкоторыя стороны его личности. Авторъ этихъ примѣчаній и изслѣдованій, покойный профессоръ московскаго университета и академикъ Н. С. Тихонравовъ принадлежалъ къ числу нашихъ первоклассныхъ ученыхъ,—и этотъ трудъ онъ исполнилъ съ тѣмъ же совершенствомъ научныхъ пріемовъ изученія, какими всегда отличались его замѣчательныя работы по исторіи русской литературы и критическому изслѣдованію памятниковъ древней письменности.

Кром'в текста сочиненій Гоголя, сл'єдуеть внимательно прочитать его многочисленныя письма, изданныя почти полностью въ 4-хъ томахъ подъ редакціей В. И. Шенрока. Это—неоцівненный источникъ и для біографіи Гоголя, и для изученія его личности, какъ челов'єка и какъ писателя.

Для этихъ изученій важнымъ пособіемъ служатъ воспоминанія лицъ, близко знавшихъ Гоголя. Въ ряду такихъ воспоминаній на первомъ планѣ нужно поставить "Исторію моего знакомства съ Гоголемъ" С. Т. Аксакова, напечатанную въ полномъ видѣ впервые въ 1890 году въ "Русскомъ Архивѣ".—С. Т. Аксаковъ (отецъ знаменитыхъ славянофиловъ К. С. и И. С. Аксаковыхъ) былъ большой почитатель Гоголя. Онъ былъ въ числѣ первыхъ, оцѣнившихъ силу и значеніе Гоголя еще въ 30-хъ годахъ. Онъ очень скоро угадалъ въ великомъ поэтѣ необыкновеннаго человѣка, къ которому не приложима общая мѣрка. Гоголь былъ принятъ въ семъѣ Аксаковыхъ, какъ родной, и здѣсь ему прощали всѣ его странности, слабости и разныя выходки, которыя порою могли бы вызвать рѣзкое осужденіе.

Другимъ, очень важнымъ пособіемъ являются воспоминанія П. В. Анненкова, въ особенности статья "Гоголь въ Римъ". Анненковъ близко зналъ Гоголя, былъ въ перепискъ съ нимъ, проживалъ въ Римъ въ постоянномъ общеніи съ нимъ и подъ его диктовку писалъ набъло текстъ первой части "Мертвыхъ душъ" 1).

¹⁾ Воспоминанія Анненкова, написанныя еще въ 50-хъ гг., переизданы въ собраніи его статей ("Воспоминанія и критическіе

Укажемъ еще на извъстныя воспоминанія Арнольди ("Руск. Въстн.", 1862 г., № 1), Погодина, Я. Грота, Чижова и др., на статью доктора Тарасенкова "Послъдніе дни жизни Н. В. Гоголя" ("Отеч. Зап.", 1856 г., № 12; выдержки оттуда приведены въ 4-мъ томъ "Матеріаловъ" В. И. Шенрока, стр. 850 и сл.). Подробный перечень воспоминаній и статей о Гоголъ читатель найдетъ у Шенрока ("Матеріалы", т. І: "Краткій обзоръ литературы о Гоголъ").—Свъдънія, сообщаемыя А. О. Смирновой въ ея извъстныхъ "Запискахъ", требуютъ провърки, но изслъдователь не въ правъ ихъ обходить.

Надъ біографіею Гоголя трудились Кулишь (еще въ 50-хъ гг.: "Записки о жизни Гоголя") и въ особенности В. И. Шенрокъ (въ 80-хъ и 90-хъ гг.). Обширный трудъ последняго, озаглавленный "Матеріалы для біографіи Гоголя" (въ 4-хъ томахъ, 1892-1898), представляетъ собою сводку почти всёхъ дотолё извёстныхъ матеріаловъ, относящихся къ жизни и литературной дъятельности Гоголя, и надолго останется необходимымъ пособіемъ для изученія Гоголя, настольною книгою всякаго, кто такъ или иначе занимается этимъ писателемъ. Труда В. И. Шенрока не обойдетъ ни будущій біографъ Гоголя, ни историкъ литературы, ни изследователь психологіи личности и творчества Гоголя, ни, наконець, психіатрь, изучающій его "бользнь". Въ бую заслугу В. И. Шенроку должно быть поставлено разъясненіе некоторых спорных пунктовь, какъ напр., вопроса объ искренности Гоголя, какъ автора "Выбранныхъ мъстъ изъ переписки съ друзьями". - Недостатки, въ столь обширномъ трудъ неизбъжные, были указаны въ рецензіи покойнаго проф. А. И. Кириичникова.

Отдельные эпизоды изъ жизни и литературной деятельности Гоголя были предметомъ спеціальныхъ изысканій



очерки") и въ посмертномъ изданіи "П. В. Анненковъ и его друзья", С.-Петерб., 1892 г.

Н. С. Тихоправова ("Гоголь и Щепкинъ" въ журн. "Артистъ" 1890 г., № 1; экскурсы при "Сочиненіяхъ" Гоголя), А. И. Кирпичникова ("Гоголь и Погодинъ" въ "Русск. Стар." 1892 г. и др.), Лавровскаго ("Гимназія высшихъ наукъ кн. Безбородко въ Нѣжинъ"), Кояловича ("Дѣтство и юность Гоголя" въ "Московск. Сборникъ" 1887 г.), г-жи Некрасовой ("Гоголь и Ивановъ", "Вѣст. Евр.", 1883 г., дек. и др.), В. И. Шенрока ("Спорные вопросы въ біографіи Гоголя", "Вѣстн. Евр." 1904 г., сент.-окт.), проф. А. А. Кочубинскаго ("Будущимъ біографамъ Гоголя", "Вѣстн. Евр.", 1902 г.), проф. А. И. Маркевича ("Гоголь въ Одессъ") и др.

Особое мъсто въ литературъ о Гоголъ занимаютъ работы психіатровъ, — проф. Чижа ("Бользнь Н. В. Гоголя" въ "Вопрос. Философіи и Психологіи" 1903 г.), д-ра Баженова (въ "Русск. Мысли" 1902 г.) и др.—Эти изследованія имъютъ свое значеніе, подымая всегда важный вопросъ о невропатической или психопатической организаціи писателя, который, очевидно, не былъ натурою душевно-уравновъшенною. Невропатологи и психіатры въ этомъ случав могутъ дать намъ немало пънныхъ указаній и пролить свъть на нъкоторые темные пункты въ жизни, въ дъятельности и въ настроеніяхъ великаго поэта, а также содійствовать боліве раціональной постановкі вопроса о психопатологической сторонь геніальности въ тьхъ случаяхъ, когда такая сторона дъйствительно существуетъ, какъ это, несомнънно, было у Гоголя. - Но, какъ мнъ кажется, вопросъ о душевной бользни Гоголя, все еще остается открытымъ, — и, впредь до его окончательнаго решенія спеціалистами, мы имеемъ право изучать Гоголя, не подымая этого вопроса и только считаясь съ несомивниымъ фактомъ его невропатической организаціи, какъ съ фономъ, на которомъ возникали его душевныя страданія, его странности и причуды.

Начало историко-литературному изученію Гоголя было положено *Н. Г. Чернышевскимъ* въ его знаменитыхъ "Очер-

кахъ гоголевскаго періода русской литературы" (номъщенныхъ въ "Современникъ въ 1855—1856 гг. и потомъ переизданныхъ отдъльной книгой въ 1892 г.). — Эта книга, имъющая большое историческое значеніе, до сихъ поръ сохраняетъ свою цънность, какъ труда, освъщающаго цълую литературную эпоху, въ центръ которой стоялъ Гоголь. Мысли и мнънія Чернышевскаго въ существенномъ выдержали искусъ дальнъйшихъ изысканій и вошли въ составъ современныхъ намъ сужденій и выводовъ. Особенный интересъ представляетъ высокая одънка генія, значенія и самой личности Гоголя, сдъланная Чернышевскимъ и представляющая собою какъ бы наслъдіе того "культа Гоголя", которому отдавали дань лучшіе люди 40-хъ годовъ, и вмъстъ съ тъмъ — завъщаніе, оставленное Чернышевскимъ его преемникамъ.

Ту же высокую оцѣнку Гоголя находимъ мы у А. Н. Пыпина—въ "Характеристикахъ литературныхъмнъній" и въ главѣ о Гоголѣ въ IV томѣ "Исторіи русской литературы".—Ему же принадлежитъ и превосходная статья о Гоголѣ въ энциклопедическомъ словаръ Брокгауза и Ефрона. Всякій, изучающій Гоголя, не можетъ обойти работъ такого первостепеннаго ученаго, какимъ былъ покойный Пыпинъ. Его книги и статьи, относящіяся къ новой русской литературѣ (вышеупомянутыя "Характеристики", IV томъ "Исторіи русск. литер.", біографія Бѣлинскаго и др.) раскрываютъ на анализѣ литературныхъ идей и направленій картину роста общественнаго самосознанія въ Россіи. Нельзя изучать крупнаго писателя, не ознакомившись предварительно съ этой картиной, какъ она начертана Пыпинымъ.

Изъ отдёльныхъ произведеній Гоголя всего болье привлекало къ себь вниманіе изследователей его главное твореніе—"Мертвыя души". Объ этой великой "поэмь", кромь многочисленныхъ критическихъ статей 40-хъ годовъ и последующаго времени, мы имьемъ этюды проф. (нынь почетнаго академика) Алексъя Ник. Веселовскаго 1), который поста-

¹) "Вѣстн. Евр." 1891 г., № 3.

виль себу задачею—раскрыть весь плань этого произведенія, на половину сожженнаго, и г. М. Марковскаго ("Исторія возникновенія и созданія "Мертв. душь". Кіевъ 1902 г.).

"Мертвымъ душамъ" удълено много мъста и въ книгъ .Н. А. Котляревского ("Н. В. Гоголь"), первоначально поміщенной въ журн. "Міръ Божій" и вышедшей отдільнымъ изданіемъ въ 1903 г. - Эта книга, обнимающая не всю дъятельность Гоголя, а только до 1842 г., является безспорно однимъ изъ украшеній нашей ученой литературы о Гоголъ и его времени. Написанная съ обычнымъ для автора изяществомъ изложенія, книга проф. Котляревскаго даетъ рядъ цънныхъ изысканій о предшественникахъ Гоголя (гл. V-я: "Наша комедія до Гоголя"), о современных вему беллетристахъ (гл. XVII), о состояніи и направленіяхъ литературной критики 20-хъ, 30-хъ и 40-хъ годовъ. – Это почти полная исторія русской литературы (беллетристики и критики) отъ 20-хъ гг. до начала 40-хъ, но написанная такъ, что въ центръ поставленъ Гоголь, геній котораго ярко выступаетъ. на общемъ фонъ картины.

Важнымъ вкладомъ въ дело оценки Гоголя, какъ человъка и писателя, а равно и въ изучение процесса его творчества явилась статья С. А. Венгерова "Писатель-гражданинъ", помъщенная въ "Русск. Бог." 1902 г. Здъсь мы прежде всего находимъ весьма удачную попытку устранить ходячіе, закръпленные традиціей взгляды на профессорство Гоголя, на его критические опыты, на характеръ его творчества и на самую натуру поэта, въ которомъ авторъ видитъ "писателя-гражданина" по преимуществу. С. А. Венгеровъ реабилитируеть Гоголя-профессора, весьма убъдительно помвывая, что онъ по своимъ познаніямъ былъ не ниже многихъ, попадавшихъ тогда на университетскія канедры, и что неудача его профессуры объясняется не его "неспособностью" и "невъжествомъ", а тъмъ, что онъ ставилъ себъ слишкомъ трудную, даже неисполнимую задачу и къ тому же былъ отвлечень въ то время отъ научныхъ занятій интенсивною художественною работою.—Очень любопытны и убъдительны соображенія С. А. Венгерова, которыми онъ устанавливаетъ сознательное отношеніе Гоголя къ его художественным сатирическим замыслам ("Владиміръ 3-й степени", "Ревизоръ", "Мертвыя души") и къ самому ихъ исполненію, опровергая старое мнѣніе, идущее еще отъ Бѣлинскаго, будто Гоголь творилъ безсознательно, не отдавая себѣ отчета въ общественномъ значеніи своей сатиры.—Гоголь, какъ сатирикъ, хорошо знавшій, что именно и почему онъ осмѣиваетъ, выступаетъ ярко въ статьѣ С. А. Венгерова, гдѣ вмѣстѣ съ тѣмъ выясняется и подлинный характеръ общественнаго и политическаго "консерватизма" Гоголя.

Общія, болье или менье сжатыя характеристики генія и творчества Гоголя читатель найдетъ во многихъ книгахъ по новой русской литературь (напр.. въ "Исторіи новъйшей русск. литературы" Скабичевскаго и др.) и въ отдъльныхъ, монографическихъ работахъ (напр. "Очеркъ развитія творчества Гоголя" проф. П. В. Владимірова. Кіевъ, 1891 г.), а также-въ статьяхъ, появившихся въ журналахъ въ годовщину 50-лътія смерти Гоголя (т. е. въ 1902 г. ¹). Изъ числа этихъ последнихъ отметимъ мастерскую характеристику Гоголя, сдъланную Ю. Айхенвальдоми (перепечатана въ его книгь "Силуэты" 1906 г., стр. 50-71), въ которой, однако, найдется кое-что спорное, и изъ которой мы, между прочимъ, убъждаемся, что, въ противуположность другимъ нашимъ поэтамъ, великимъ и невеликимъ, Гоголь все еще не поддается сжатой характеристикь: такъ много въ немъ страннаго, загадочнаго, противоръчиваго, —и всякая попытка подвести эту натуру и этотъ геній подъ исчерпывающую психологическую формулу по необходимости окажется односторонней.

¹⁾ Обозръніе юбилейной литературы о Гоголь сдълано было Н. И. Коробкой въ "Журн. Мин. Народ. Просв.".

Начало чисто-филологическому изученію Гоголя, т. е. изслідованію его языка и стиля, положено книгою проф. І. Мандельштама "О характерів Гоголевскаго стиля" (1902 г.).—Обстоятельная рецензія на эту книгу написана А. Г. Горифельдомъ ("Книга о языків Гоголя" въ "Русск. Бог.", 1902 г., І.).

Цъннымъ пособіемъ для всякаго, занимающагося Гоголемъ, можетъ служить составленный покойнымъ профессоромъ А. И. Кирпичниковымъ "Опытъ кронологической канвы къ біографіи Н. В. Гоголя", помъщенный при "Полномъ собраніи сочиненій" Гоголя въ изданіи товарищества И. Д. Сытина, подъ редакціей проф. А. И. Кирпичникова.

Самую полную библіографію книгь и статей о Гоголь (начиная съ 1829 г. по 1899 г. включительно) даль C. A. Bенгеровъ въ книгѣ "Источники словаря русскихъ писателей", т. <math>I (С.-Петерб. 1900 г.).

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	CTP.
Предисловіе	I
Введеніе	1
Глава І. "Пушкинское" и "гоголевское". Художественный	
методъ Гоголя	39
» II. Гоголь какъ умъ	69
» III. Гоголь и Россія.— "Русь изъ прекраснаго далека".	105
» IV. "Душевное дъло".—Гоголь—моралистъ и мистикъ	149
» V. Гоголь - общеруссь на малорусской основь. Къ	
вопросу о національномъ — общерусскомъ зна-	
ченій его	174
> VI. Заключеніе: къ вопросу о геніальности Гоголя	186
Приложеніе. Источники и важнъйшія пособія для изученія	•
жизни и творчества Гоголя	224

БИВЛЮТЕКА "СВЪТОЧА"

подъ редажціей С. А. Венгерова.

Органъ литературы, исторіи и политики.

Библіотека "Свъточа" представляеть собою рядъ отдельныхъ сочиненій и небольшихъ произведеній, распредъленныхъ по слъдующимъ серіямъ: І. Избранныя произведенія политич. литературы. II. Матеріалы для исторіи русск. общественнаго движенія. III. Вожди русскаго сознанія. IV. Исторія религій. V. Исторія и теорія литературы. VI. Произведенія русскихъ писателей, не вошедшія въ собранія ихъ сочиненій. VII. Літопись текущихъ событій.

Вышедшіе №№ Библіотеки "Свѣточа".

№ 1. Мильтонъ, Рвчь о свободъ печати (Areopagitica). Ц. 20 к.

" 2. В. Г. Бълинскій, Письмо къ Гоголю. Ц. 10 к.

" 3. С. А. Венгеровъ, Эпоха Бълинскаго. Общій очеркъ Ц. 20 к. " 4. Самодержавіе и печать въ Россіи. Исторія петиціи 114 писат. и мартирологъ русск. печати. Ц. 25 к.

5. И. С. Тургеневъ, Неизд. стихотв. въ прозъ "Порогъ" Ц. 3 к. 6-9. С. Степнявъ, Подпольная Россія. 2-ое русск. изд. Ц. 80 к.

10—14. К. К. Арсеньевъ, Салтыкевъ-Щедринъ. Съ 5 фототипіями: Ц. 1 р. 50 к.

15. А. Г. Горифельдъ, Муки, Слова Ц. 20 к.

- 16—20. Ренанъ, Жизнь Іисуса. Полн. пер. подъ ред. и съ предис г. акад. Александра Веселовскаго. Съпортр. Ренана Ц. 1 р. 50 к.
- 21—25. Эдеинъ Арнольдъ, Свъть Азіи (Изложеніе въ поэтич. формъ буддизма). Перев. А. М. Осдорова, 2-е иллюстр. изд. съ пред. и примъч. академика С. Ф. Ольденбурга 1 р. 50 к.
- 26. M. É. Цебрикова, Письмо къ Александру III. Съ прибавленіемъ написанныхъ для настоящаго изданія воспоминаній Ц. 20 к.

" 27. М. К. Цебрикова, Каторга и ссылка Ц. 20 к.

28—32. Проф. Д.: Н. Овеннико-Куликовскій. Гоголь. 2-ое дополи. изданіе. Съ фототип. портр. Гоголя Ц. 1 р.

ПЕЧАТАЕТСЯ:

С. А. Венгеровъ. Очерки по исторіи русск. литературы. Ц. 2 р. Жанъ-Жавъ Руссо. О причинахъ неравенства. Перев. съ фр. подъ ред. и съ вступительною статьею С. Н. Южавова.

Н. А. Котляревскій. Литературныя направленія Александров-

ской эпохи.

Максъ Штирнеръ. Единственный и его собственность Изд. комментированное.

Стемнявъ-Кравчинскій.Собр. соч., дополн. по рукопис. Съ фо-

тотипич. портр. автора и предисл. П. А. Кропоткина. Ч. І-я.

Цъна за годовой комплектъ (50 №№)—10 р. Къждое сочененіе, входящее въ составъ Вибліотеки "Свъточа", продастся отдъльно. Иногородные обращаются въ редакцію: Сиб., Разъвзжая, 39, С. А. Венгерову. Городскіе—въ книжные склады: 1) "Обществ. Польза", В. Подъяч., 39 и 2) А. Э. Винеке, Екатерингофскій пр., 15.

Редакторъ-издатель С. А. Венгеровъ.

Digitized by Google





Digitized by Google